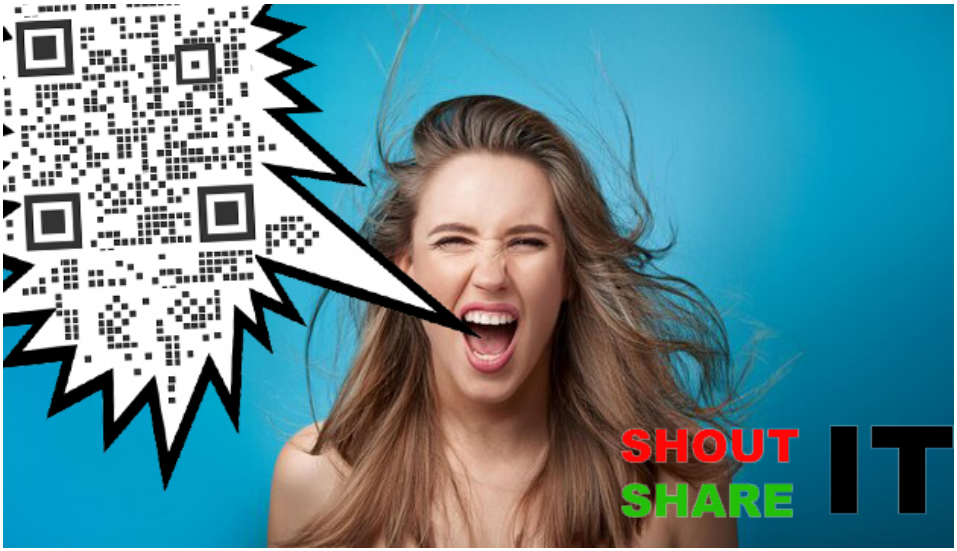
Я – СВЕТ, КОТОРЫЙ НАД ВСЕМИ

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

ДЕТЯМ МОИМ. ВОСПОМИНАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания Флоренского. Произведение, стоящее много выше обычной мемуарной прозы, – потому что прошлое ЛИЧНОЕ в нем накладывается на прошлое НАШЕЙ СТРАНЫ, а судьба России «страшных лет», в свою очередь, претерпевает удивительное философское и этическое переосмысление, позволяющее нам глубже и полнее осознать масштаб и истинность концепции этого великого русского философа…

- Павел Флоренский
  - <I. Раннее детство>
    - Уединенный остров[1]
    - Семья вашего деда
    - <Закавказская степь>
    - <Тифлис>
    - Обезьяна
    - Прогулки с папой
    - Мать
    - Тетя
    - Рождение Люси
    - Прививка оспы
    - Шалости
    - Соня тетя
    - Впечатления таинственного
  - <II.>Пристань и бульвар (Батум)
  - <III>. Природа
  - <IV. Религия >
  - <V.> Особенное
  - <VI. Наука>
  - <VII. Обвал >
  - Дополнения
    - Из первоначальных замыслов и планов
    - К главе I «Раннее детство»
    - К главе II «Пристань и бульвар (Батум)»
    - К главе III «Природа»
    - К главе IV «Религия»
    - К главе V «Особенное»
    - К главе VI «Наука»
    - К главе VII «Обвал»
  - Примечания
- notes
  - 1

○ 2

Павел Флоренский
Детям моим. Воспоминания прошлых лет

<I. Раннее детство>

Уединенный остров [1]

1916.IX. 7 Ночь. После подготовки к службе: канун Рождества Пресвятой Богородицы. Пишу на аналое, при лампаде. – В переработанном виде пишу 1916.IX.20.

Семья наша (– разумею родителей своих и живших с нами теток, а также и нас, детей —), семья наша представляла замкнутый мирок. И отец, и мать, в особенности мать, вели ее к уединенности ото всего внешнего. Исключительная привязанность родителей друг к другу; брезгливость к житейским сторонам общественной жизни у отца и горделивая боязнь жизни у матери; мировоззрение отца (да и у матери тоже, вероятно), если не отрицавшее, то бесконечно принижавшее все общественные отношения и все стороны человеческой деятельности пред семейным началом; может быть, недостаточная обеспеченность семьи в то время, когда она еще складывалась; отвращение ото всех условностей, от «мишуры» и фальшивого блеска, бывшее основным настроением отца и, вероятно, от него ставшее сильным у матери; какая-то малопонятная, но несомненная аристократическая гордость семьи, особенно у матери, и это при всем ее всегдашнем заявлении, что «мы – самые обыкновенные люди», в чем она, кажется, более хотела уверить себя, чем в самом деле верила; может быть, тонкая струя духовной прелести – на почве отрешенности от жизни и своеобразного, внецерковного и внерелигиозного, аскетизма – все это вместе вело к тому, что наша жизнь была жизнью на уединенном острове, если угодно – на необитаемом острове, ибо людей мы не особенно долюбливали и старались держаться в стороне. Люди были бы похитителями чистоты, невозмутимости и ригоризма этого островного **рая,** и потому они лишь терпелись, да и то до поры до времени. Я сказал слово **«рай»,** ибо так именно понимаю своего отца – на чистом поле семейной жизни возрастить рай, которому не была бы страшна ни внешняя непогода, ни холод и грязь общественных отношений, ни, кажется, сама смерть. Да, смерть, насколько я могу понять своего отца, никогда не входила в его расчеты, как не входил в его расчеты и грех, хотя он признавал, будучи пессимистом, что «люди – везде люди, со своими страстями и слабостями». Следовательно, задача этого эксперимента с жизнью, на который отец действительно потратил жизнь и много-много богатых и отличных дарований и усилий, была в возможно тщательном уединении семьи ото всего **иного,** ото всего, что

могло бы возмутить гладь этого безоблачного существования. Все тяготы жизни отец нес на себе, но вносить их в семью не хотел; и, не выдержав тяжести одинокого несения труда, и горя, и неприятностей жизни, ради того, чтобы семья была избавлена от них, он надломился и, когда увидел неосуществленность своей жизни, потерял равновесие и телесное, и духовное. Это была воистину драма: на глазах рушилось все то, что он пытался создать всю жизнь и ради чего принес себя в жертву. Да, в жертву, ибо семья была его идолом, его богом, а он – ее жрецом и ее жертвою.

Задача семьи была – изолироваться от окружающего. Наша жизнь была жизнью **«в себе»,** хотя едва ли **«для себя»,** – существованием, отрезанным от общественной среды и от прошлого. И в пространстве и во времени были мы «новым родом», новым поколением – сами по себе. Конечно, это зависело не только от желания родителей вести нас так именно, но и от многих сложившихся помимо намерений чьих бы то ни было обстоятельств. Но так или иначе, а мы, дети, почти не знали прошлого своей семьи, не говоря уже о нашем роде. На настоящее и, главным образом, на будущее смотрели глаза моих родителей. А прошлое… прошлое теоретически отрицалось, фактически не было известно или почти не было известно, а поскольку оно было пережито самими родителями – оно не было сладко. Обо всем этом я буду еще иметь случай говорить впоследствии. А теперь скажу лишь, что и отец мой, и мать моя выпали из своих родов; и понятно, что нить живого предания выпала из рук их, а отчасти и была просто выпущена. Мы же, дети, о ней почти ничего не знали. Потом я кое-что узнал. Но это уже впоследствии, да и то – путем расспросов, на которые, кстати сказать, никогда не получал от матери охотного и открытого ответа, путем разговоров с чужими, путем архивных и книжных разысканий. Эти знания мои не были знаниями, всосанными с молоком матери, не были жизненным, навек неотделимым от ума моего впечатлением, но были археологической реставрацией прошлого, научной работой, подобной всякой другой научной работе. Мне скорбно и тоскливо, что это так; но это – так. Молю Бога, мои милые, чтобы я сумел вас вырастить в более полнокровной, более почвенной жизни; дай Бог, чтобы все то, что я долгими усилиями и многими трудами сыскал для вас, пошло вам на пользу и чтобы вы не чувствовали той затрудненности дыхания в безысторической среде, какую испытывал ваш отец. Мои родители были по-своему подвижниками и праведными; но их мировоззрение, бывшее попыткою **семьею** преодолеть **нигилизм,** их окружавший в дни их юности, само таило в себе яды нигилизма. Не виню своих

родителей, ибо слишком много они сделали не только для нас, но и сами в себе, в смысле имманентного преодоления позитивизма чрез создание в недрах его позитивистической религии семьи. Но, повторяю, была такая ужасная полоса русской истории, и сколько душ искалечено ею, сколько чистых сердец сделалось несчастными и бесприютными! Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами – это значит не иметь себе точек опоры в истории. А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я и где именно находился я в каждый из исторических моментов нашей родины и всего мира, – я, конечно, в лице своих предков. Этого-то вот знания я лишен был, хотя всегда чувствовал, сам не знаю почему, что род наш очень древний и что возможность такого исторического самоопределения для нас, Флоренских, не исключена по существу.

Но как бы то ни было, а я рос без прошлого. Вот почему, располагаясь рассказывать вам, мои сынки, о своей жизни и о своих жизненных впечатлениях, я сознательно ограничиваю содержание своего рассказа тем кругом сведений, который был для меня родным и впитавшимся в мое сознание с детства. Другие сведения, полученные мною впоследствии, я изложу вам в особой работе, уже научного характера; а если здесь что-нибудь проскользнет из тех сведений, то лишь постольку, поскольку это безусловно необходимо для понимания моего рассказа. Так мне легче будет дать вам представление о духе нашей семьи, об укладе нашей жизни, о первоначальных интересах моих и о занятиях членов нашей семьи. И кроме того, только так я сумею изобразить вам уединенность нашего «острова».

Я все время твержу вам о нашей семье. Но пора, наконец, и более точно определить состав ее.

Семья вашего деда

1916.IX.20. Сергиев Посад

Семья наша состояла из моего отца (а вашего деда) Александра Ивановича Флоренского, моей матери (вашей бабушки, «бабы Оли», как называет ее Вася) Ольги Павловны, моей тетки, сестры моего отца, Юлии Ивановны Флоренской, нас, детей, появившихся последовательно в таком порядке: я (Павел, родился 9-го января 1882 г.), Люся (Юлия, родилась 1-го июля 1884 г.), Лиля (Елизавета, родилась 7 мая 1886 г.), Шура (Александр, родился 7 марта 1888 года), Валя (Ольга, родилась 19 февраля 1890 г.), Гося (Раиса, родилась 16 апреля 1894 года) и Андрей (родился 1-го декабря 1899 года), – и живших с нами подолгу или гостивших у нас сестер моей матери. Больше всего жила с нами тетя Ремсо (Раиса Павловна, как звал ее папа, или точнее – Репсимия Павловна Тавризова, а потом Коновалова, по второму мужу); тетя же Соня (София Павловна, впоследствии Карамьян), уехав от нас за границу, потом вышла замуж и бывала у нас довольно редко, живя в других городах. Тетя Лиза (Елизавета Павловна Мелик-Беглярова) и дети ее Маргарита и Давид иногда гостили у нас и были вообще близки к нашей семье, как и ее муж Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров, но постоянно с нами не жили. Что же касается до тети Вари (Варвара Павловна), то она, бедная, умерла рано, и я ее помню очень смутно. Вот и весь круг нашей семьи. Сюда можно еще добавить очень редко бывавшего у нас маминого брата Аркадия, или, точнее, Аршака Павловича Сапарова, которого мы звали «Аршак-дядя», и детей его – Элю, Тамару, Нину, Павла, Лялю и Марусю, иногда посещавших наш дом. Но, повторяю, все это были отношения не особенно близкие, и семья замыкалась тетками. Бывали у нас и знакомые. Из них семьи наиболее близкие – это Новомейских и Андросовых. Об них будет сказано на своем месте.

Теперь для лучшего понимания нашей семьи я сообщу вам, мои сыночки, несколько сведений о членах ее, чтобы не возвращаться к тому же впоследствии.

Отец мой, Александр Иванович Флоренский, был сын Ивана Андреевича Флоренского (и, как я впоследствии узнал – внуком Андрея Матвеевича) и жены его Анфисы Уаровны, Соловьевой по отцу своему, Уару Ефимовичу Соловьеву. Впрочем, отчество своей бабушки и тем более своего прадеда я узнал значительно позже. Добавлю кстати, что из моих разведок выяснились и имена моих прабабушек: Васса Тимофеевна, мать Ивана Андреевича, и

Катерина Афанасьевна, рожденная Иванова, мать Анфисы Уаровны. Отец мой родился 30 сентября 1850 года, «в 10 часов пополудни», как значится в записной книжке моего деда. Имянины его мы праздновали 23 ноября; а из записи деда я узнал, что они приходились на 22 октября. По моим расчетам, 30 сентября 1850 года приходится на субботу. Отец его был военным врачом. Но, мне думается, мой отец не успел ничего воспринять от своих родителей, так как мать его умерла, когда ему было немножко больше месяца, 7 ноября 1850 года, а отец – 11 ноября 1866 года, но с отцом своим мой отец жил очень мало, так как учился вне родного дома.

1916.X. 15. Сергиев Посад

А именно, он учился во Владикавказской классической гимназии, а потом перевелся в Тифлисскую 1-ую классическую гимназию, что на Головинском проспекте; учился он хорошо, первым учеником, но вследствие истории с директором Желиховским, которого он с товарищами по жребию были избраны исколотить, ему пришлось выйти из гимназии, и от волчьего билета он избавился только по заступничеству общественного мнения. Затем он держал экзамен экстерном и поступил в Институт Гражданских Инженеров в Санкт-Петербурге, каковой окончил в 1880-м году.

В этом же 1880-м году, 20 августа, он женился на матери моей, Ольге Павловне Сатаровой.

Настоящее имя ее – Саломия (Саломэ). Но тогда было принято заменять имена армянские равносильными или якобы равносильными именами русскими. И вот она оказалась Ольгою, и так прочно, что решительно никто из знакомых не подозревал о ее настоящем имени, и даже сама она, вероятно, вспоминала об этом только при преднамеренном ей о том напоминании. Родилась она 25-го марта 1859 года в городе Сигнахе. Отца ее звали Павлом Герасимовичем Сатаровым, а мать – Софией Григорьевной Паатовой. Впрочем, тут я не буду говорить о том, что узнал впоследствии. Напишу лишь суммарно, что в Петербург мать моя поехала в 1878-м или в 1879 г…

<Закавказская степь>

1916.X. 15. Сергиев Посад

Итак, в 1880-м году наша семья поселилась в Закавказской степи. Местом жительства нашего было избрано местечко Евлах Елисавет-польской губ[ернии], Джеваншарского уезда. В настоящее время там – станция Закавказской железной дороги с буфетом, построены домики, растут деревья. Тогда же это была чистая степь, в самом разбойничьем из мест Закавказья, среди татарских поселков, возле болотистого берега Куры. В ковыле, капетуве, лакрице и других травах этой степи водились в изобилии фазаны и – лучшая из дичи и редчайшая – турачи. Кура изобиловала лососями, осетрами и всякой рыбой, так что постоянно у наших была свежая рыба и дичь, и сами они готовили себе свежую икру. Но зато и опасностей всякого рода было достаточно: ядовитые змеи, скорпионы, фаланги и тарантулы, комары, москиты – всего этого в девственной степи было много-премного. Родители рассказывали мне, как однажды папа, ложась спать, поднял, чтобы перевернуть, подушку и нашел под подушкою змею, свернувшуюся кольцом. Змею, конечно, убили, но впечатление жути живо и до сих пор, даже у меня. Что же касается до скорпионов и ядовитых пауков, то они постоянно заползали в наше жилище. Ну, конечно, о черепахах, джейранах и других существах невинных и говорить нечего, – там их, мало пуганных еще людьми, было весьма много.

Я сказал – «в наше жилище». Да, потому, что сначала мои родители жили в товарном вагоне, или в товарных вагонах, обитых коврами, а потом был выстроен из волнистого железа барак, обитый внутри войлоком. Этот барак и послужил началом для позднейшей станции железной дороги. В нем было три комнаты и, кроме того, отдельная пристройка – кухня.

Причиною, почему поселились мы в Евлахе, было назначение моего отца на должность начальника соответствующего участка Закавказской ж. д. Этот участок строился моим отцом. А с другой стороны, это совпадало и с желанием наших быть поближе к имению Мелик-Бегляровых (тогда принадлежавшему отцу Сергея и Александра Теймуразовичей Теймуразу Фридоновичу Мелик-Беглярову) – **Карачинару.** Мамина сестра Елизавета была замужем за Сергеем Теймуразовичем, а Евлах был ближайшей к **Карачинару** станцией ж. д. Тетя Лиза часто бывала у нас вместе с другими сестрами; и наши бывали у нее, а потом и жили некоторое время, когда папа заболел лихорадкою.

Но, чтобы представить яснее место рождения своего отца, вы, мои мальчики, должны прочитать «Очерк Закавказской степи», написанный тетей Юлей. Я поместил его в число писем ее к Пекокам, потому что думаю, что она должна была написать им что-нибудь в этом роде. А кроме того, в другой редакции, он вошел в ее дневник. Юля тетя приехала в Евлах в конце 1880-го года или в январе 1881-го года, позже мамы и тем более позже папы.

И вот среди степи, в дикой местности, я родился 9-го января 1882-го года, вечером, часов около семи – в час, всегда бывший самым моим любимым.

Этот вечереющий час, между шестью и семью, всегда был моим часом, и по сей день нет для меня ничего сладостнее, милее и мистичнее, в хорошую сторону, чем этот час прозрачности, мира и наступающей прохлады. Зажигающаяся звезда Вечерняя, огонь в сумерки…

К моему рождению привезли из Тифлиса акушерку. Кроме того, приезжали к маме ее сестры – тетя Лиза и тетя Ремсо, которой было тогда лет 17, а м[ожет] б[ыть], и тетя Соня. Меня назвали Павлом, в честь св[ятого] апостола Павла – если только думали о св[ятом] Апостоле, и в память дедушки Павла Герасимовича Сапарова, незадолго перед тем умершего. Но назвали – домашним образом, без священника (да, впрочем, православного священника ближе, как в Тифлисе, и не было): крестили же очень нескоро, что отчасти соответствует кавказскому обычаю, а отчасти происходило, вероятно, от равнодушия родителей к таинствам.

О жизни в Евлахе я, разумеется, ничего не помню. Но и родители, и тетки мне почти ничего об этом времени не рассказывали, или если рассказывали, то у меня ничего не осталось в памяти. Один только случай помнится мне. Его рассказывала мне тетя Соня, спасшая меня от грозившей смерти захлебнуться в воде. Обстояло дело так. Мама и тетки купались в Куре, а берег был крутым откосом. Меня положили на краю берега, в уверенности, что я еще мал и потому не смогу сдвинуться с места. Но я как-то добрался до самого края и покатился по откосу. Уже у самой воды меня поймала тетя Соня.

Затем известно мне, что папа заболел малярией и вследствие этого пришлось ему взять отпуск. Вся семья поселилась в Карачинаре, где провела лето <1882> – го года. Осенью же мы переселились в Тифлис. Это было <осенью 1882> – го года.

В Евлахе мы прожили всего года **полтора:** одну зиму, лето и еще зиму.

<Тифлис>

От жизни в Тифлисе у меня остались хотя и очень отчетливые, но разрозненные впечатления. А т[ак] к[ак] первые детские впечатления определяют дальнейшую внутреннюю жизнь, то я попытаюсь записать возможно точнее все, что я могу припомнить из впечатлений того времени. Но запись эта едва ли будет соответствовать хронологическому порядку.

1916.XI.18. Серг[иев] Пос[ад]. Ночь

Мы жили в двух квартирах. В одной помещалась столовая, гостиная и еще какие-то спальни. В другой жил я с Юлей тетей – в другой, т. е. во флигеле. Сообщение между двумя помещениями было через двор, вымощенный камнями, сквозь которые прорастала трава. Обычно я ходил в сопровождении кого-нибудь из старших, а может быть, кое-когда решался пробежать и один. Но как-то раз, сидя в столовой, – это было днем, я соскучился по тете Юле или по маме, может быть, почему-то не приходившей из флигеля ко всем, – и побежал к ней или за ней. Как сейчас помню все, что было. Я отворил дверь и сразу, спустившись 2–3 ступеньки, очутился под слегка темным навесом, образуемым около дома. Помню, что навес этот держался на деревянных некрашеных столбах с ободранной корою, посеревших от дождя… Вероятно, дело было к вечеру, или погода была бессолнечная, но у меня осталось впечатление сумеречное. И вот на каменной мостовой двора, проросшей травой, б[ыть] м[ожет], осенней уже, – я вижу эту мостовую, как сейчас, – увидел я нечто. Скорее, сперва я услышал – какой-то неслыханный мною своеобразный звук. Его я уже испугался. Но любопытство и смелость победили. Я решил было прошмыгнуть мимо и добраться до своей цели. Но… побежав далее с почти зажмуренными глазами, я вдруг остолбенел. Предо много стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек, мне он показался темным силуэтом на небе, вероятно, вечереющем, – какой-то человек стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и **что-то** держал в руках…

Я стоял как очарованный взглядом чудовища. Предо мною разверзались ужасные таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть. Колеса Иезекииля? Огненные вихри Анаксимандра? Вечное вращение, ноуменальный огонь… Я остолбенел и пораженный ужасом, и захваченный дерзновенным любопытством, зная, что не должно мне видеть и слышать

видимого и слышимого. Но мне открывалась живая действенность таинственных сил естества, бёмовская первооснова, гётевские матери. И тот, кто стоял при таинственном искрометном снаряде, тот темный силуэт – это не был, конечно, человек, это не было одно из существ земли, это был дух земли, великое существо, несоизмеримое со мною. Оно меня не заметило, вероятно…

Не знаю, сколько времени длилось это откровение и столбняк. Секунду ли, несколько ли секунд; но, конечно, очень недолго. И только прошел упоительный и страшный миг **слияния** с этим огненным первоявлением природы, только явилось сознание себя, как панический ужас охватил меня. И вот характерная подробность: никогда мне не изменявшее самообладание в минуту **последнего ужаса** появилось у меня и тогда, и это первое из памятуемых мною таинственных потрясений души. Я не растерялся. Почти прыжком очутился я снова в столовой, откуда выбежал, и тут только, как это бывало и впоследствии в таких случаях, уже в надежной пристани, на коленях у кого-то из старших, я дал волю овладевшему мной ужасу. Со мною сделалось что-то вроде нервного припадка. Поили сахарной водой, успокаивали. «Ведь это точильщик точит ножи, Павлик, – твердили старшие. – Пойдем, посмотрим». Но я, разумеется, никого не слушал, но и не спорил со старшими. Я тогда уже понимал, что они не постигнут **таинства,** которое открылось мне и ужаснуло меня. Мне предлагали проводить меня через двор. Но и на это не сдавался я. И трудно сказать, только ли от страха пред потоком ноуменальных искр или и от другой боязни – не пережить вновь пережитого, увидеть то, о чем говорили мне взрослые, – что-то обыкновенное и в самом деле не внушающее ужаса… И долго после того боялся я один проходить по двору.

Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечения к ней было и есть, как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жизни.

Вглядываясь в себя еще пристальнее, я нахожу еще нечто, чему я научился от этого нашего обитания в двух квартирах, сообщающихся двором. Это именно твердое, органическое убеждение в **мистическом** «есть» при противоречии ему эмпирического «кажется».

1916.XI.23. Серг[иев] Пос[ад], утро. Щамятъ] Александра] Нееск[ого]

Две квартиры разделены между собой пространством, их – две; но духовно они **одно,** одна квартира – наша квартира, в двух

являющаяся. Дом, семья есть живое единство, и в мое детское сознание не вместилось бы, если бы и возникло, понимание семьи не как полного, неразрывного даже в отвлечении единства. Не «я», а «мы» – таково было отношение к внешнему, т. е. за пределами семьи существующему миру. Но эта слитная, неделимая, органически связная семья жила в двух помещениях. А т[ак] к[ак] помещение, форма бытия семьи, по единству семьи непременно должно быть едино, то тут я воспринимал таинственное единство двух квартир, разделенных двором. Я хорошо помню, что это не позже придумалось, а именно тогда было, именно тогда родилось во мне понимание того, что пространственная разделенность может лишь только **казаться** и что, вопреки казанию внешнего опыта, может быть внутреннее единство – не **объединенность,** а именно единство. Но, в связи с описанным выше случаем точильщика ножей, возникло и другое, не менее определенное убеждение, что для опытного опознания этого таинственного единства надо сойти в области, где – всякие страхи, где происходят таинства природы, куда хоть и влечет почти непреодолимое любопытство, но где подстерегают охраняющие эту таинственную область нечеловеческие ужасы. Не должно человеческому оку смотреть на тайны естества, хотя они и открывают мир совсем с иной стороны, со стороны внутреннего единства. Но это единство может открываться и не непосредственно, каким-то более тонким восприятием, **не** только прямым опытом, и **этого** достаточно. Вот что усвоилось в моей душе после того случая, – конечно, не столь отчетливо, но зато и более непреложно. И это усвоение осталось у меня на всю жизнь, хотя, разумеется, по непреодолимому своему исследовательству я не всегда исполнял эту заповедь о непознавании.

Обезьяна

Другой случай, тоже относящийся к мистическому восприятию природы, с ее страшными охранительными стражами, относится ко времени более давнему и потому, вероятно, помнится мною смутно. Хотя я знаю, что кое-что помню об этом случае из личного опыта, но разграничить памятуемое от узнанного из рассказов старших не умею. А обстояло дело так: тетя Лиза привезла из своего имения много отличного винограду. Мне дали полизать его, но больше дать побоялись. А чтобы я не просил, папа нарисовал – мне помнится, синим и красным карандашом – на большом листе обезьяну и, поставив за виноградом, сказал, что обезьяна не позволяет мне брать виноград. В детстве я был очень покорен и безусловно верил всякому слову старших. В запретах же таинственного характера способен был усумниться тем менее, да и сейчас едва ли способен. И вот, конечно зная, что обезьяна эта нарисованная, я умоляюще протягивал к ней руку и просил: «Базана, дай мне лангату», – т. е.: «Обезьяна, дай мне винограду». Эта просьба почему-то **всем** в доме очень запомнилась, и, может быть, потому, что ее мне многократно повторяли впоследствии, я твердо помню ее до сих пор.

Но груда зрелого винограда, золотисто-зеленая, полупрозрачная, словно флюоресцирующая в луче солнца, – мне помнится, и она – стоит, как сейчас, предо мною как живой образ неиссякаемого, сладостного изобилия природы. Может быть, мой вкус к золотисто-зеленому тону, и в особенности к флюоресценции стекла в круксовой, например, трубке или в трубках Гейсслера, тоже флюоресцирующих у катода зеленовато-желтым, виноградным или яблочным цветом, – этот мой почти всем существом трепет при виде такого свечения, при виде осенних полупрозрачных зелено-золотых орешников, при виде светлячков – зародышем своим имел именно то пленение грудою винограда. И – запрет: как сейчас, представляю наскоро набросанного синим карандашом, вероятно, орангутанга, по немецкому Conversations Lexikon Meyers[2] который, как я отчетливо понимал тогда, стоит безусловным стражем этого восхитительного изобилия, против которого не может быть возражений, на которого некому жаловаться, который выше даже внутреннего обсуждения. Нарисованный – и живой, более, мощнее, значительнее, неумолимее живого. Нет, я не путал его с просто обезьяной. Но я тогда-то и усвоил себе основную мысль позднейшего мировоззрения своего, что в имени – именуемое, в

символе – символизируемое, в изображении – реальность изображенного **присутствует,** и что потому символ **есть** символизируемое. Это-то символизируемое, эта охраняющая сила Природы стояла предо мною в рисунке моего отца, если не ошибаюсь – при мне же нарисованного. И я, пред непреодолимым, смирялся безропотно и без туги. Это был запрет усвоить себе бесконечную производительность природы, ибо идею винограда я воспринял как бесконечность. Впоследствии, когда я видел картины Сомова, где то же превышемерное, ломящее ветви, количество винограда в огромных, тяжелых зеленовато-желтых кистях, я полусознательно вспоминал это свое детское впечатление Природы как Артемиды Эфесской, как Матери Изобилия; и, не имеющийся у Сомова, **запрет** мгновенно вставал в душе. Много, бесконечно много… но не для меня; мне касаться до этого «не позволяет обезьяна».

Прогулки с папой

Отец часто брал меня с собою на прогулки, в город, и, конечно, всегда они заканчивались какими-нибудь занимательными для меня покупками, то сластей, то игрушек. Помнится мне смутно, как в одну из таких прогулок была подарена мне первая кукла. Смутно припоминаю, что ноги и руки ее болтались на жидко набитых тряпочках и что куклу эту я страстно любил.

Мы жили высоко, на половине Давидов-ской горы. Подъем туда и сейчас был бы не очень легким в тифлисскую жару; тогда же я, едва ходивший, от жары размаривался и раскисал. По Головинскому и Дворцовой я ходил с папой, а возвращался домой уже у него на руках или сидя на плече: папа любил носить нас, маленьких, именно на плече. Жгучее тифлисское солнце, дышащий в лицо жар от накаленных скал, стен и мостовой, душный воздух и тяжелые, словно злые, лучи, придавливающие долу своею тяжестью спину и голову, словно прижимающие к мостовой пыль, врезались в мое сознание, и с тех пор во мне живет чувство враждебности Солнца-Молоха, полуденного тифлисского солнца, готового пожрать все живое. В этих прогулках мне открылась еще таинственная и уже определенно враждебная сила природы.

Было ли папе очень трудно взносить меня на Давидовский подъем, я не знаю. Но у меня осталось за эти ношения на плече к нему наиболее благодарное чувство как к избавителю от враждебного и злого Солнца-Губителя. Отчасти, может быть, это так еще и потому, что Люся еще не рождалась или была совсем маленькой, у меня не было с ней столкновений, отец принадлежал мне всецело, и еще не было у меня с ним неприятностей из-за Люси, которые стали омрачать мое детство впоследствии и тем самым вносить несколько отчуждения от отца. Тогда единство сына и отца, в моем сознании, было безусловным, и самый отец был для меня безусловным отцом, а я – его безусловным сыном.

Мать

Этого чувства близости и нераздельности существования у меня никогда не было в отношении к матери. Прежде всего она мало возилась со мною, занятая Люсей и потом другими детьми. Сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств, преувеличенно-стыдливо прятавшаяся от меня уже с самого детства – когда кормила и вынашивала детей, она казалась мне с первых дней моего сознания существом особенным, как бы живым явлением природы, кормящей, рождающей, благодетельной, – и вместе далекой, недоступной.

Этому впечатлению от матери – как от Матери-Природы – способствовал и культ, которым отец мой, и по движению чувства, и по сознательному убеждению, чтил мою мать, полагая, что жена-женщина вообще есть существо особое, а его жена – и трижды особое, что, впрочем, было, вероятно, не несправедливо. В ней я не воспринимал лица; она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима. Я мог говорить об отце, о тете Юле, о братьях и сестрах, и тетках, и двоюродных братьях и сестрах, но едва ли что-нибудь мог раньше сказать о матери своей; да и сейчас я очень мало могу сказать о ней – лишь то, что говорили мне о ней другие, но не свое. Ибо сила моего анализа не может расчленить аморфного, хотя и очень сильного, впечатления от матери, не может объективироваться оно, не может выразиться в слове. С отцом я много, всегда разговаривал; с тетей Юлей, с тетками, со всеми – тоже. Но с матерью, кажется, никогда, или у меня сложилось впечатление, что я не разговаривал с нею. Отношения к ней мне представляются чувством одинокого путника в большой прохладной роще. Священный трепет и молчание, прохлада и робость… не страх, а…

Мать была для меня родными недрами бытия, но прижаться к ней как к родной – было странным, неподходящим. Конечно, я говорю об этом преувеличенно. Конечно, я прижимался к ней, целовал ее, но мне помнится, что она с каждым годом все не то холоднее, не то смущеннее встречала эти ласки, и я чувствовал, что нарушаю какие-то должные грани. А я, надо отметить, был ребенок очень ласковый, все время целовал то одного, то другого и жить без этих ласк не мог, как без воздуха, тепла и света. Мне вспоминается позднейший рассказ моей матери или тети Лизы – моей жене Анне, что исключительно легко меня отняли от груди: я даже не заметил этого. И какое-то смутное полувоспоминание подтверждает мне этот рассказ: я как-то не был пристрастен к

материнской груди, чтобы не сказать, что от нее отталкивался; и потому при первом поводе отпал от нее, как если бы высохла влага, склеивавшая две бумажки. Отпал от груди и не заметил, т. е. никогда связан с грудью не был. Как похоже это на мое непосредственное памятование этих первых событий моей жизни. И это тем более характерно, что я, повторяю, был ребенком ласковым чрезвычайно, привязчивым чрезвычайно и всем существом отдавался каждой любви. И если даже грудь материнская не тянула к себе мое сердце, если с грудью матери не вырывалась из души моей что-то самое любезное сердцу, с ним – и сама душа, это значит – тут я не могу не заявить этого решительно, – что с самого начала у меня не было той привязанности к матери, которая бывает у всякого ребенка, – привязанности сыновней.

Этою последнею всецело владела тетя Юля. По сказанным я не хочу сказать, что у меня не было никаких отношений к матери. Напротив, они были весьма могучи. Однако они были не личны, они были характера скорее пантеистического, чем нравственного.

В матери я любил Природу или в Природе – Мать, Naturam naturantem[1] Спинозы. Я знал, что мать очень любит меня; и в то же время у меня было всегда чувство таинственного величия ее. И мне казалось, что она же может встать во весь рост – и, не заметив меня, – раздавить. Я не боялся этого и не протестовал бы против этого. Но при этом не могло быть отдаления, какого и в помине не было в отношении отца или тети.

Тетя

Тетя, напротив, представляла обратный полюс моей детской жизни. В ней я не отрицал ноуменальной мощи, не удивлялся ей, но любил ее глубоко-личною любовью, был, вероятно, влюблен в нее со всем цельным чувством ребенка. Она была мне и другом, и товарищем, и учителем; с ней я делился своими горестями и радостями; от нее получал выговоры и наказания (хотя таковых бывало очень мало), вообще все человеческое было у нее. Она не подавляла меня своей отрешенностью от мелочей жизни; с нею можно было поболтать о нарядных платьях, кружевах, бантиках и шляпах, до чего я был большой охотник; с нею можно было собирать цветы и делать букеты; вообще с нею можно было жить. Матери же надо было поклоняться. И не потому, чтобы она **требовала** поклонения. Напротив, ничто, если брать сознание, убеждения, не было столь чуждо моей матери, как притязание на внимание и под [обное]. Напротив, она тяготилась всяким вниманием, усиливала свою скромность и свое стеснение до невозможности жить в человеческом обществе… И все же, а может быть, и тем более, около нее была атмосфера, требовавшая поклонения, а не жизни.

Рождение Люси

Сестра моя Люся родилась, когда мне было уже 2 1/2 года. Но ни рождение Люси, ни первые годы ее существования не оставили следа в моей памяти. Мне смутно припоминается, что однажды утром папа взял меня на руки и сообщил о рождении сестры. Очень смутное осталось впечатление, что он этому был доволен и сообщал мне семейную новость весело; как будто это произошло в столовой. Но ничего значительного в связи с этим я не пережил и Люси новорожденной не помню. Очень смутно припоминается, что меня повели к маме и что мама лежала среди всего белого. Но я не смею утверждать, что я не смешиваю тут рождение Люси с рождением следующих за ней детей. Кажется, ничего не осталось у меня и от крещения Люси, названной так (сокращение от Юлии) в честь тети Юли.

Прививка оспы

Но одно событие из нашей первоначальной жизни врезалось мне в память очень ярко. Это именно прививка мне и Люсе оспы. Отлично помню, что о необходимости прививки у нас неоднократно говорилось, но со дня на день самая прививка откладывалась, кажется, долго не получалась свежая лимфа. Я заранее трепетал от неведомого мне ужаса, но втайне надеялся, что будут откладывать-откладывать и авось забудут о ней. И действительно, о прививке перестали говорить, может быть заметив слишком сильное впечатление, этими разговорами на меня производимое. И я почти успокоился.

Но вот однажды я сидел на лавочке возле дома. Кто-то сидел рядом со мною, вероятно кто-нибудь из двоюродных братьев, или Датико (Давид Сергеевич Мелик-Бегляров), или Сандру (Александр Степанович Чрелаев). Вероятно, вечерело. Вот по улице идет какой-то человек. Мое сердце сразу екнуло, почувствовав **какую-то** беду, мне еще неведомую, но тем более страшную. Подойдя к нам, он спросил, здесь ли живут Флоренские, и, может быть, попросил сказать, что пришел фельдшер. Со всех ног, задыхаясь от волнения, я бросился домой, в полуоткрытый тут же подъезд, убегая не столько ради данного мне поручения, сколько от злого человека.

1916.XI.24

Сообщил ли родителям о нем я или, что мне припоминается смутно, двоюродный брат, не могу сказать твердо; но что я где-то в спальне забился в угол – это помню. Кажется, меня не сразу нашли, а искать торопились, – не желая задерживать фельдшера и вследствие близящегося наступления потемок. Пока искали меня, привили оспу Люсе. Меня привели в гостиную, полутемную по времени дня, – когда уже началась прививка. Надрез ей сделали сильный. Вид крови, увиденный мною едва ли не впервые, так поразил меня, что я даже не стал сопротивляться, когда принялись за меня, и застыл от ужаса. От ужаса же я не заметил ни боли, ни самой прививки, находясь в оцепенении, и волнение и, вероятно, слезы наступили значительно позже.

Эта первая прививка удалась, и даже чересчур. Может быть, я был слишком велик для нее и чесал свою руку, но все три шрама от прививки получились в виде трехкопеечных монет и даже до настоящего времени отчетливо видны на левой руке. Ими очень интересовался Васенька, сынок мой, а я ему объяснял, что это пуговицы, которыми застегнута на мне человечья кожа, и что

стоит их расстегнуть, как я скину кожу и в виде птицы выпорхну из кожи, разобью оконное стекло и улечу за дальние края…

Спрашивая себя, какую идею открыл мне описанный случай, и освещая сознанием нижайшие слои своей памяти, я нахожу, что этою идеею было **неизбежное.** Мне стало тут ясно, что есть **неизбежное,** которое выше меня, выше всех, даже взрослых, выше даже родителей, что оно не только внешне, но и внутренне необходимо, но что оно не соответствует нашим желаниям и вкусам. **Подчинение** высшей – не скажу воле, а неизбежности. Разуму мира, но безличному, неутомимому и не теплому, – подчинение этому пантеистическому провидению открылось мне как долг. Покорный по натуре, я тут согнал, что покорность **требуется,** а не есть **моя** уступчивость, **мое** нежелание бороться.

Шалости

Признание **закона** над собою определяло мое самочувствие с раннейшего детства. Проказя, я знал, что вслед за тем **должно** последовать и возмездие, – не потому, чтобы так **хотели** старшие, а по существу вещей. Но при таком сознании трудно расшаливаться, трудно часто шалить. Имея в душе большой запас резвости, я с детства был скован сознанием, что я не один и что есть Правда надо мною. А шалить можно, именно забывая обо всех и обо всем, **в упоении** своим внутренним движением… И то, что стало впоследствии: «не стоит» – не стоит бороться, не стоит полемизировать, не стоит даже спорить, – тогда было задержкою шалостей.

Как-то я в чем-то напроказил, меня поставили в угол. Через несколько времени, забывшись, я сделал ту же маленькую проказу. Но, памятуя закон возмездия, я сам подошел к недоумевающим старшим с вопросом: «В который?» – т. е. в который угол встать мне. Потом, когда мой вопрос разъяснился, двоюродный брат Датико часто подсмеивался надо мною, спрашивая: «В который?» Но обиды я не чувствовал, таким необходимым представлялся мне подобный вопрос, – я не понимал соли насмешки.

Соня тетя

С нами жила еще сестра матери, тетя Соня. Она была тогда молоденькой, почти девочкой, – и обучалась музыке. Мне смутно помнится ее музыкальный портфель, кажется, шоколадного цвета с золотою надписью – вероятно, «Muzique», с которым она бегала в музыкальное училище. Помнится также, что в каком-то отношении было к ней теплое молоко, которое в стакане носилось ей в комнату; может быть, когда она была больна или потому, что у нее начинался туберкулез. Молоко же, а теплое в особенности, с детства возбуждало во мне брезгливое чувство, – может быть, этим объясняется, что я так легко отстал от материнской груди, или, наоборот, молоко я невзлюбил потому, что к материнской груди не сумел привязаться всей душой: – и тетя Соня, которой относилось это теплое молоко, возбуждала во мне не то удивление, не то соболезнование. А все вместе казалось окруженным тайною и загадочным. Но, понятное дело, я не открывался взрослым. И не только потому, что свои глубочайшие восприятия дети никогда не открывают взрослым, но и еще более потому, что мои восприятия казались мне столь естественными, **общими** всем, обычными, что о них не стоило говорить; да и как найти, не говоря уж о том, – как **было** найти слова для выражения чувств и мыслей, охватывавших **все** поле внутренней жизни, а потому, при всей своей острой специфичности в силе, расплывчатых, неуловимых, невыразимых? В детстве же чувство **таинственности** было у меня господственным, это был **фон** моей внутренней жизни, на котором обрисовывалась нежность и ласка к родителям. Все окружающее, то, что обычно не кажется и не признается таинственным, очень многие привычные и повседневные предметы и явления имели какую-то **глубину** теней, словно по четвертому измерению, и выступали в рембрандтовских вещих тенях.

Еще один случай усилил во мне те же чувства. Однажды услыхал я разговоры взрослых, что у Сони тети – врощение ногтей на ноге и что надо сделать операцию. Я заранее волновался. Слово «операция» мне казалось ужасом, хотя я не понимал его. Помню отчетливо, как пришел кто-то, вероятно фельдшер, как все наши зашли в комнату тети Сони, оставив меня одного, как потребовалась тепловатая вода и как потом вынесли таз с водой, смешанной с кровью. Казалось мне, что таз полон дымящейся крови; вид ее поразил меня таинственностью и ужасом. Но на этот раз было объективное созерцание ужаса, я сознавал, что **не мне** на этот раз угрожают тайные **силы.**

Впечатления таинственного

1919. III. 5. Серг[иев] Пос[ад]

Искра. Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно – **не** просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это – то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз. Но в то время как иные явления всегда манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытиться, другие, напротив, открывали таинственную глубину свою лишь урывками, даже единично, раз только. Одним из таких восприятий были искры.

Мы тогда жили в Батуме, в доме Айвазова. Было же мне около <четырех-пяти> лет. Возбуждаясь к вечеру, я долго-долго не соглашался ложиться спать; а когда ложился, то все равно часами лежал, не засыпая, ворочаясь с боку на бок и в миллионный раз изучая рисунок обоев или одеяла. Это были часы почти что пытки, когда я вылеживал в постели без сна. И потому я очень не любил укладываться спать рано, несмотря на уговоры. Однажды я с тетей

Юлей сидели в спальной комнате, что выходила на двор. Сначала тетя занимала меня, читала, рассказывала, а потом стала посылать спать. Но я чем-то особенно заупрямился и не шел. Тетя говорила, что надо идти. На дворе было темно. Тетя говорила, что если я не пойду, то сон может улететь спать и тогда я уже не засну; не знаю, говорила ли она, ипостазируя сон, или я только – так ее понял. Но посмотрел в темное окно – дело было осенью – и вижу: летят искры; вероятно, развели таган или печурку на дворе, с углями. И одна за ним последняя, особенно яркая, летит как-то одиноко поодаль, отсталая. Я – к тете: «Смотри, что это?» А она: «Это улетает твой сон. Вот теперь ты не сумеешь заснуть». Я видел искры, как я, конечно, видывал не раз до того. Но я почувствовал, что тетя глубоко права, что это действительно летит мой сон, имеющий невидимую, но бесспорную форму ангелка, – и что, улетая, он делает что-то непоправимое. Я разрыдался. Почувствовал, что что-то свершилось. Поспешил лечь, но долго-долго не смыкались веки. Прошли с тех пор годы.

Как-то недавно (1919.III. 19) служил я всенощную в церкви Красного Креста. Химические угли у нас кончились, приходится разжигать кадило простыми, из плиты, и при каждении они иногда искрятся. Вот искра от кадила полетела, как-то одиноко, в темном пространстве алтаря. И мне сразу вспомнилось, как такою же искрою «улетел сон мой» в детстве. А та, детская, искра в свой черед будила воспоминание об огненном потоке искр из-под колеса точильщика, открывшем мне иной мир, полный таинственной жути и влекущий и волнующий ум. Искры перекликаются с искрами и подают весть друг о друге. Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум, как Юпитер Данаю:

Unda, fluens palmis,
Danaen eludere possit[2].

1919.VI.l.

Яды. С детства, самого глубокого, слово «яд» меня особенно манило, даже тогда, когда я не понимал его значения. Самый звук этого слова, «яд», самое написание

яд,

да и вообще буква «я», особенно в ее произношении

ja,

казались какими-то вкрадчивыми, сладковатыми, коварными, разрушительными, но разрушительными таинственно, без физических причин, словно магически. Да, яд я воспринимал как некую магию, естественную, м[ожет] б[ыть], но в своей определенности, в своей неизбежности, в неукоснительности и неотвратимости своего действия особенно таинственную и поэтому особенно льстивую, особенно манящую, обещающую особенные сладостно-жгучие волнения.

Это впечатление от слова «яд» связаны у меня со словом «Янкель». Может быть, в каких-нибудь подслушанных разговорах было упоминаемо имя Янкель – может быть, в каком-то жутком применении – не знаю почему, но **Янкель,** может быть, и по присутствию **Я** и сладкого **кель,** показалось знаменательно-зловещим, каким-то ядовитым, льстиво-коварным и губительным. Мне думается, что тут был отголосок от разговора о жидах-контрабандистах, живших в нашем дворе и потом внезапно и таинственно исчезнувших, оставив все таинственное имущество.

Однажды я с тетей Юлей были на балконе, окружавшем наш дом в Батуме. Это было в доме Айвазова. Как сейчас помню, мы были на внутреннем балконе, обращенном к внутренней стороне

двора. Тетя, кажется, сажала цветы, до которых и она, и я были большие охотники, в длинные ящики, заказанные по ее просьбе папою, вдоль перил нашего балкона. Я же – ничего не делал и от безделья взял и сунул в рот кусок зеленой, вроде папиросной, оберточной бумаги и, разжевав его, стал разминать комья, привлеченный яркостью зеленого цвета. Этот зеленый цвет, напоминающий зелень изумруда и зелень морской воды в пристани, воды, играющей жирным блеском и видимой сквозь щели пристани, меня притягивал своею яркостью и своею тайною, казалось мне, враждебностью. Тетя, увидев мое занятие, испуганно одернула меня: «Что ты делаешь! Скорей брось эту бумагу, – я бросил ее поспешно, – и никогда не бери в рот зеленой бумаги. Помни, она окрашена зеленой краской, которая называется **«Янкель»,** – эта краска «Янкель» очень ядовита, и от нее можно умереть».

«Янкель», – я вздрогнул. Так вот он, «Янкель», так я трепетал пред этим словом. Так, по крайней мере, услышал я. Теперь-то я думаю, что тетя сказала не «Янкель», а «мышьяк», ибо зеленая краска действительно мышьяковая, но я вместо незнакомого мне слова **мышьяк,** тоже с таинственным ьяк-ja, услышал более привычное **Янкель,** уже окрашенное ядовитостью. И с тех пор не могу видеть этой полупрозрачной, тонкой бумаги зеленого цвета, особенно если она прикасается к губам, так и кажется, вот сейчас отравится кто-нибудь. И, вероятно, по связи с нею, меня странно притягивают и манят изумруды, но кажутся ядовитыми и тайно-губительными, очень магичными. И чувствую, тут есть какой-то, опять, переклик с зеленостью винограда, мне когда-то не данного.

<II.> Пристань и бульвар (Батум)

<**Море.**> Тоны **около зелени,** то голубоватые, то желтоватые, напитали меня в детстве через **море.** Свои детские и отроческие годы я провел в постоянном и ненасытном, и всегда ненасытимом, созерцании моря. Редкий день проходил без того, чтобы мы, дети, т. е. я с Люсей, не побывали на берегу два, а то и три раза. И никогда море не наскучивало. Никогда впечатление от него не скользило по душе, всегда впивалось всем существом.

Мы шли утром, после чаю, захватив с собою на завтрак бутерброды с котлетами и с сыром, а иногда еще и свежие или сушеные фрукты, каштаны, орехи или монпасье, желтые или зеленые, – опять какие-то переклики с теми, волнующими цветами. Няня или тетя Юля в несколько минут приводили нас на бульвар. Тогда, лет тридцать пять тому назад, море еще было у первой аллеи бульвара; лишь впоследствии оно так отступило от насаждений – туй и кипарисов, – несмотря на почти каждодневное прибавление их, вдогонку за уходящим морем. Играли на песке аллеи или спускались по хрустящему гравию к самой воде. Гальки были гладкие, словно искусственно обточенные. Я знал от взрослых, что они действительно обточены морским прибоем, но верил этому наполовину: разве эти камушки не выросли в море, как раковины или кораллы? Разве они не образования живых существ?

Копались в мелком гравии, у самой воды, разыскивая цветные прозрачные камушки – опалесцирующие голубо и фиолетово халцедоны, таинственно светившиеся по всей массе внутренним мерцанием, словно налитые светом. Ленточные агаты, тонкослоистые оранжевые и красные сердолики с белыми прослойками, изредка аметисты, желтые и зеленые кварциты, а иногда – прозрачные топазы, как то монпасье, что приносили мы с собою, и многие другие, – редкий день мы приходили домой, не нагруженные добычей. Эти камни были похожи на художественно небрежные бусы ручной работы, рассыпавшиеся с подводного ожерелья; в моем сознании они роднились и почти непрерывно переходили в венецианские бусы, которые папа покупал нам в лавчонке на пристани. Таинственные наслоения сердоликов и агатов, их тончайшая слоистая структура настораживали мысль: я чувствовал тут какой-то сокровенный смысл природы, и, казалось, вот-вот он раскроется, объявится тайна. Иногда ходили на море с папой. Папа объяснял по поводу наших находок, что эти слои образовались от вековых осаждений в подземных скважинах и пещерах. А я видел в этих слоях осевшие века, окаменелое

время. Время никогда не мог я постигнуть как бесповоротно утекшее; всегда, насколько помню себя, жило во мне убеждение, что оно куда-то отходит, может быть, именно в эти самые скважины и пещеры стекает и там скрывается, засыпает; но когда-то и как-то к нему можно подойти вплотную – и оно тогда проснется и оживет. Прошлое – не прошло, это ощущение всегда стояло предо мною яснее ясного, а в раннейшем детстве еще более убедительно, нежели позже. Я ощущал вязкую реальность прошлого и рос с тем чувством, что на самом деле прикасаюсь к бывшему много веков тому назад и душою вхожу в него. То, что в истории действительно занимало меня – Египет, Греция, стояло отделенное от меня не временем, а лишь какою-то стеною, но сквозь эту стену я всем существом чувствовал, что оно и сейчас здесь. Слоистые камни представлялись мне прямым доказательством вечной действительности прошлого: вот они – слои времен – спят друг на друге, крепко прижавшись, в немом покое; но напрягусь я, и они заговорят со мною, – я уверен, – потекут ритмом времени, зашумят, как прибой веков. Впоследствии, едва ли не по этому издетскому нежному чувству к слоистости, я увлекся геологией – именно слоистыми образованиями, и приходил в дрожь и холодный восторг при виде четких геологических пластов. Ведь это буквально книга, как и книга – не есть ли осевшее время?

Занимали овальные плоские известняковые гальки, которыми набивали мы себе полные карманы. Иногда попадались такие гальки с естественною дырою; мы надевали странный камень на палку и восхищались им, отчасти суеверно преклонялись. Загадочное отверстие, с его гладкими, словно обсосанными, краями, манило ум и втягивало в себя всего. Отверстия вообще казались таинственными жилищами Неведомого и перекликались с вожделенными пещерами, подземельями, погребами и темными чердаками, с ямами, канавами, туннелями и длинными коридорами; за всеми или я признавал силы первичного мрака, в котором родилось все существующее, и мне хотелось проникнуть туда и навеки поселиться там. Но другие пустоты слишком опасны, чтобы позволить приближаться к себе безнаказанно; а **эти** отверстия в камнях, светленькие, чистенькие, гладенькие, теплые на солнце, вполне по силе мне. И я совал туда палец и заглядывал в них тысячи раз, все с тем же чувством их таинственности, которого не могли рассеять ни доступность этих отверстий, ни объяснения отца или тети. Уже взрослым я узнал о таких камнях, что они называются у крестьян «куричьими богами» и вешаются в курятниках как обереги кур от домового и всяких болезней. Как это ответило моим детским мыслям и как я узнал в этих

«куричьих богах» свои таинственные гальки!

На берегу, при помощи палок, строили морские заливы; или втыкали палки в песок и с тем же чувством тайны вглядывались в темную дыру, куда набиралась морская вода. Любо было видеть отжатый и посеревший песок словно набухающим и чернеющим от притока влаги. Иногда разгребали прибрежный гравий и находили слой мокрый, а ниже – подымающуюся и опускающуюся, живую, дышащую там воду. Выкопать яму, хотя бы маленькую, всегда казалось родом магического действия: само существо ямы таинственно. Что же? – В яме живая вода. Все на воде и в воде, да и не простой, понятной воде питьевой, а в воде таинственной, горько-соленой, привлекательной и недоступной. В Батуме эта мысль о воде была особенно естественная, потому что Батум действительно весь в воде и на воде. Исследовали эту воду в ямках – сосали палец, омоченный в ней, – удивлялись ее горько-соленому вкусу. Совсем слезы. И не значит ли это, что и сам я – из той же морской воды? Везде взаимные соответствия, за что ни возьмешься – все приводит опять и опять к морю.

Ловили медуз палками. Красивые цветы с опалесцирующими чашечками, налитые светом, колыхались в воде, нежно обведенные фиолетовою каймою. Мы знали, что они жгутся, но это принималось как должное: к таинственному нельзя подходить безнаказанно. А вытащишь их – растают на теплых камнях в бесцветную слизь, и ничего не останется. Кто-то говорил нам, будто, если сушить медуз между листами пропускной бумаги, часто меняя их, то все же останется красивая нежная сетка. Я не отрицал этого, но это казалось далекой сказкой, а ближайший опыт говорил попросту: медузы – порождения того же моря, та же вода и ничего более, и в воду потому расплываются. В земле – вода, во мне – вода, медузы – тоже вода… Различное по виду, однако едино по сущности.

Среди выбросов моря со всегдашним удивлением находили рогатые орехи чилим, почерневшие от пребывания в воде. Мы побаивались их, казалось несомненным их родство с морскими чертягами, и потому эти странные орехи мы старались не трогать руками, а когда подбирали, то – с опаскою и осторожно: кто его знает, что они на самом деле и как поведут себя. Бездна моря полна тайн и неожиданностей. Правда, взрослые говорят, что это – орехи, и взрослые, конечно, правы, но ведь взрослые вообще таинственной стороны всего окружающего не касаются, – не то не замечают ее, не то скрывают от нас, наверно, чтобы не пугать нас; ведь вот они никогда не говорят нам о таких заведомо существующих вещах, как черти, русалки, лешие, даже не говорят о милых эльфах. А мы-то, положительно не знаю откуда, как-то об

этом обо всем давно проведали, несмотря на все поставленные воспитательные преграды. Так вот и чилим: они, т. е. взрослые, думают, что мы будем не спать по ночам, и потому нарочно говорят, будто это просто орехи. А может быть, это только кажется орехами? Почему же они такие черные? Почему они с рогами?

Нередко море дарило нас белыми трубками. Папа говорил, что это корни камыша и что месторождение их, вероятно, река Чорох, устье которого недалеко от Батума. Но и тут такому упрощению дела и верилось и не верилось. Слишком уж ясно все милому папе. А почему же эти «корни» такие белые и жирные, словно черви? Почему они трубками? Что-то в объяснении взрослых не так: слишком уж явна странность этих «корней». Белые трубки, они живые – и будет, а дальше уж не следует углубляться и разоблачать их тайну, раз они хотят быть в неизвестности. Они прикинулись корнями – ну и сделаем вид, что этому верим, но только сделаем вид, чтобы их не обидеть и не рассердить. И казалось несомненным: неспроста валяются они на берегу, а нам, именно нам, принесены Морем. Много еще других удовольствий доставляло оно нам – радовало нас, зная, что мы придем к нему и что мы любим «сюрпризы», даже самое это слово. Осколки бутылочного стекла, обтертые прибоем в ласковые матовые кусочки, нагревавшиеся на солнце; тоже ласково выглаженные тем же движением волн палки и куски дерева, чистенькие, светлые, теплые; тоже приглаженные кочерыжки от початков кукурузы. Иногда, после бури, находилась на берегу какая-нибудь рыбка, водоросли или раковины – и радости тогда не было конца, я переполнялся волнением, сердце билось так сильно, что, казалось, готово выскочить. Помню, находили иногда, очень редко, морского конька, а мне даже попалась раз после очень сильной бури рыбка-игла, которая потом много лет хранилась в моей коллекции редкостей. Оглядывая теперь вспять свое детство, я вижу исключительную бедность батумского берега выбросами и отменную ничтожность наших находок;

кроме камешков, действительно приятных, мы не находили ничего ценного и занятного. Но тогда эти находки радовали бесконечно, хотя я и был избалованным ребенком, радовали как дары великого синего Моря, лично **мне** дары, знаки внимания, доверия и покровительства.

Оно жило пред нами своею жизнью, ежечасно меняло свой цвет, то покрывалось барашками или нахмуривалось, то, напротив, истомно покоилось, лениво, еле-еле плескаясь о берег. В **другом** месте находки наши ничего не стоили бы; но тут, на

морском берегу, это было **особенное.** Зелено-синие вдали и зелено-желтые вблизи цвета, влекшие мою душу и пленительно зазывавшие все существо с самых первых впечатлений детства, они собою **все** осмысливали и **все** украшали. Дары моря, как смычком, вели по душе и вызывали трепетное чувство – не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, – предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамариновых недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были загадочною разгадкою пещерного, явного мрака, родимые, родные до сжимания сердца. И деревяшки, обточенные морем, гладкие, теплые, как и теплые гладкие камни, все – солоноватое на вкус и все пахнущее чуть слышным йодистым запахом, – оно было мило сердцу, свое. Я **знал:** эти палки, эти камни, эти водоросли – ласковая весточка и ласковый подарочек моего, материнского, что ли, зеленого полумрака. Я смотрел – и припоминал, нюхал – и тоже припоминал, лизал – опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может.

Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче; шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубь, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивающая внутренним мерцанием, тоже рассыпчатым и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная – все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ таинственной жизнетворческой глуби; и с тех пор душа, душа и тело, тоскует по нему, ища и не находя, не видя вновь искомого – даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь, воспринимаемом море.

Того моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видать мне – разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, – в область ноуменов. Но этот ноумен **когда-то** воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое познание

истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, – ушло, а все-таки навеки со мною.

Но отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обнажится и приведет в трепет. Во флюоресцирующих веществах, особенно в яблочно-зеле-ном свечении круксовой трубки, я снова чуть-чуть вижу его, море моего детства; в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой тинктурой, обоняю то метафизическое море, как слышу его прибой в набегающих и отбегающих ритмах баховских фуг и прелюдий и в сухом звонком шуме размешиваемого жара. Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью – из которой все течет и в которую все возвращается.

Она звала меня, и я был с нею. // В душе же моей неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибоя, бесконечная самосветящаяся поверхность, в которой я различаю блестки, все более и более мелкие, до малейших частичек, но которая никогда не мажется. А тело мое просит морской солености, воздуха, соленого и провеянного йодом, тоже рассыпчатого воздуха, несущего мельчайшие кристаллики соли, и порою сладостно бывает приникнуть хотя бы к пузырьку с йодовой настойкой. Мучительно хочется именно морского вкуса, морской рыбы, омаров – томит голод по морской пище, и, кажется, попадись куча морских водорослей, я съел бы ее всю. А ведь «хочется» того, в чем есть потребность и чего не хватает организму. Мне-то и не хватает тех вкусовых и питательных веществ, которые, по эволюционистам, по Кентону, например, были первичными у жизни. Правда, я ничуть не верю эволюционистам; но, думается, сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а рассказывая себе сладостную сказку на основании морских впечатлений детства. Если бы ученики и последователи поняли, на чем, собственно, держатся теории их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы jurare in verba magistri[3], но вместе с тем глубже постигли бы затаенную, детски-гениальную личность этих учителей.

И еще: в математике мне внутренне, почти физически, говорят родное ряды Фурье и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родное непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки

запомнившиеся ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения чрез схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти – в свой черед – расчленяются ритмами третьего порядка, те – четвертого и т. д., и т. д., как бы далеко ни пошли мы, ухо не слышит **последней** расчлененности, уже далее нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающийся сознанию, но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны – еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и потому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, мне опять вспомнилось ритмическое построение морского прибоя и фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибоя слагается из шумов от падения отдельных капель морской воды. Лейбниц уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда, мы слышим их, слышим и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всегда сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная поверхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости, тончайшей зернистости своего свечения. Ропот моря – оркестр бесконечного множества инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержательности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия. Это – узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, когда падают капли – тоже капли – в пещерах, где сочится со сводов и стен вода. И там – в ритмах – слышны еще и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И, когда войдешь в мастерскую часовщика, то там опять слышен похожий шум от множества маятников, тоже родимый, тоже напоминающий земные недра и глубь морскую.

Пристань. По-другому, зазывнее, ближе, но таинственнее и притягательнее, втягивала эта глубь мое существо на пристани. Большие деревянные сваи и балки, вбитые в морское дно, словно иссечены таинственными иероглифами – выходами червей древоточцев. А я хорошо помнил, именно в таких отверстиях живут неведомые существа, бука, о чем мне как-то нянька, когда я

весь ушел в рассматривание темного хода в балконном столбе, так и сказала: «Здесь живет бука», – в ответ на мои чересчур настойчивые вопросы. Я отлично понимал, уже тогда понимал, что истину откроет мне лишь простой человек, и, узнав ее от няньки, сразу внутренне согласился, что это именно так, но, разумеется, чтобы не входить в лишние разговоры, скрыл от родителей свое открытие и только многозначительно молчал, когда мне говорили о червях. Так тут, на пристани, этих бук было без числа, и притом уже не скрывающихся и написавших на сваях весьма таинственные письмена. На этих сваях были настланы толстые доски, а между ними оставались широкие щели. Доски всегда чисты, как вообще всегда чисто все, что имеет отношение к морскому делу. Всегда стирается с них омертвевший, сгнивший и дряблый слой, но кое-где пролита смола, нефть, деготь. Пахнет дегтем, смолами, морем и разными экзотическими товарами, тюки которых сложены тут же. Рассыпаны странные коренья – марена, куркума, какие-то еще. В разных местах сложены целыми башнями – по тогдашней оценке – толстые-претолстые канаты, бодро пахнущие дегтем и смолою, – словно катушки великанов. Сквозь щели настилки видна под ногами темно-зеленая лоснящаяся вода, поверхность невозмущаемая, медлительно и лениво колыхаемая, маслянистая, и по ней – маслянистые, еле приметные движения, образующие крупную скользящую сетку зеленых змеек. Что такое эти золотисто-зеленые змейки? Откуда они? Этот вопрос всегда держался в моей голове, и, Боже мой, сколько я о нем думал! Много раз я задавал его вслух, но получал недоумевающий ответ, что это только кажется, – от движения воды. Но ответ меня глубоко не удовлетворял. Я чувствовал, что не понят самый вопрос, что на мой вопрос недоумевают. А не понят потому, что не увидено то, что я видел. Я же видел змей, игравших на поверхности, переливавших изумрудом и хризолитом, чарующе прекрасных и ласковых, добрых ласковых змеек, которым хочется вступить в общение со мною. Я видел их, я чувствовал их и знал, что они – ласковые, добрые и красивые змейки. Мне хотелось лишь получить подтверждение своему, услышать в подробностях, узнать, как ближе сойтись с ними, как их потрогать, поцеловать их и с ними объясниться. А мне просто отрицали их существование, да и не их только, но и вообще существование чего бы то ни было особенного, что я видел в игре воды. И тогда я надолго затаивал свой вопрос и то, что я видел, в себе самом. Потом, через некоторое время, я снова задавал его, но опять – то же непонимание. Нужный мне ответ о милых зеленых змейках и подтверждение своему знакомству с ними я услышал лишь значительно позже, уже студентом, от студента

Ансельмуса в «Золотом горшке» Гофмана.

Тут, у пристани, вода была особенно таинственна. Прозрачная, насыщенно-зеленая, как огромный изумруд: и вся светилась, напоенная светом, ядовитым и полным угрозы, но преисполненная и творческих сил. Медлительно по ее маслянистой поверхности скользили лоснящиеся, еле видные волны, лениво ластясь к сваям пристани и к борту парохода. Раскинув свою чашечку и щупальца, в воде нежились большие и малые медузы. Медленно проплывали, колыхаясь и покачиваясь в изумрудной влаге, их опалесцирующие голубоватым светом тела. Проплывали стаи мелких рыбешек, и изредка виднелся в глуби силуэт рыбы побольше. Кое-где поверхность воды переливала радужными нефтяными пятнами. С парохода выносили тюки, из которых сыпались таинственные коренья или семена; тащили клетки с попугаями, грозди бананов, кокосы, мешки американских треугольных орехов, земляных фисташек. Слышались всевозможные языки и говоры. На пристани можно было видеть людей самых различных национальностей – греки, турки, армяне, грузины, французы, англичане, бельгийцы, немцы, итальянцы и т. д. и т. д., даже негры, колония которых расположилась невдалеке от Батума, – кого тут не было! И все – в особых одеждах. Все было необычно, – все: и запахи, и звуки, и цвета – поддерживало одно другое, возбуждая чувство таинственного. И главное – всего много, много, много… Конца нет производительной мощи природы. И все это «много» приносится вот этой прозрачной, зеленой, флюоресцирующей поверхностью моря. В глубине его таятся бесчисленные жизни, странные и вместе прекрасные животные и растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моею личною жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признает в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизни.

Отец рассказывал нам о путешествиях по далеким странам и, кажется, сам увлекался картинами экзотической или далеко-северной природы. Рассказывала и тетя. Влажный, соленый и смолистый воздух вместе с манящими в даль рассказами обращали все внимание, всю душу к пароходам и счастливцам людям, плывущим по хребту моря в далекие страны, где высятся упругие пальмы, обремененные кокосами и финиками; где раскачиваются на ветвях необыкновенных дерев красные и зеленые попугаи, и щелкают таинственные, трехгранные и темные, американские орехи, и говорят, конечно, по-русски, странные изречения, полные таинственного смысла; где порхают

по огромным ярким и благоуханным цветам милые колибри; где жирафы тянутся своими шеями выше самых высоких деревьев, где растут гигантские раффлезии Арнольди и плавают на водах, как подушки, в полтора, два аршина поперечником пышные виктории регии, на которые мне так хотелось сесть и полежать. Широколистные бананы ломятся под тяжестью гроздьев. Пестрые и таинственные орхидеи восседают, как птицы, на суках дерев, спуская свои корни, подобные белым жирным червям. Обезьянки лакомятся бананами и швыряют шкурки в неуклюжих слонов. Пряные и теплые дуновения веют меж густых лиан: это бесчисленные благовонные деревья – гвоздичные, кардамонные, мускатные, бадьяновые, – я считал, что бадьян дерево, – и вьющиеся плети ванили растворяются в воздухе и наполняют его своими запахами. Самое слово **ароматы** казалось таким полнозвучным и многозначительным. Огромные колючие кактусы цветут белыми и красными венчиками.

А все эти звуки и запахи – на фоне прибоя синего-синего моря, жемчужными волнами набегающего на золотые пески плоского берега. В море же цветут чудные кораллы, плавают диковинные рыбы, ползают чудовищные лангусты и крабы. Конечно, тут же, но несколько поодаль, в тени сознания, как не очень-то приятное, – и киты, и кашалоты, и акулы, и в особенности рыба-молот, и рыба-пила, и нарвал. Тут, у нас в Батуме, все затаило в себе таинственную свою сущность; там же, в далеких заморских странах, она выступает в подавляющем блеске и величии.

И все это бесконечное богатство красок, цветов, запахов, заставлявшее цепенеть мой ум и спиравшее дух волнением, – вся эта полнота производится морем. Весь этот заморский мир представлялся в моем воображении как бы выросшим, как бы поднявшимся из синего, глубоко синего моря, этот мир омывающего и его питающего.

// Там, под лучами жгущего солнца, море откровеннее, там оно показывает свои приливы и отливы, увидеть которые хотелось мне почти до тошноты, до сердцебиения. Там по морю несутся водяные столбы – смерчи, там встают волны высокие, в пятиэтажные дома. Но ведь и здесь – это то же самое море, но сокрывающее свои силы и свою жизнь в тайне своих волн.

Я прислушивался к волнам. Истомно набегают, как вести далеких стран из неизвестности, волны – одна, другая, третья… Но потом неожиданно волна сильнее и, когда купаешься, – может сбить с ног. Потом – опять волны, ленивые, ластящиеся, несколько их, а то – опять сильнее. Я спрашивал, почему волны не одинаковые. Мне **что-то** отвечали, что – не помню. Но я и без

ответа знал, почему: когда кто раздражен и сдерживается, то говорит как будто спокойно, но неожиданно напрет на какое-нибудь слово, и раздражение обнаружится. Так и море. Оно хочет скрыть свою мощь, но время от времени проговаривается сильной волною.

Лежа на прогретых солнцем гальке и гравии, я часами смотрел на море. Его бороздили полосы сине-стальные, поверхность его не была однородна. Отчего же эти полосы и пятна? Мгновенно менялся цвет моря, лишь только набегало на солнце малейшее облачко: море нахмуривалось, явно недовольное. На морской поверхности вспыхивали, как золотые рыбки, искорки – разве можно было усумниться, что в море что-то происходит значительное? Мне, на вопросы мои, старшие что-то объясняли, но эти объяснения шли мимо вопросов, и я даже не считал нужным их оспаривать: старшие так любили меня и так мало, казалось мне, понимают истинный смысл моих вопросов. Всякий вопрос ведь уже предполагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое **направление** ответа. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос **о жизни Моря.**

Да, я видел, я ощущал, что море живет, и жизнь его я принимал как первичный факт, не нуждающийся в дальнейшем объяснении, – я принимал ее наравне с самоощущением собственной моей жизни. Когда же я спрашивал «почему?» о зеленых змейках, о переменчивости цвета морской поверхности, о ломающемся ритме прибоя, об обточенных морем палках и о множестве других подобных явлений, то я, во-первых, хотел получить подтверждение тому, что знал и сам в самой основе, – что море живет, что оно живое и таинственное существо; мне хотелось от окружающих услышать то же, некое аминь своему опыту. А во-вторых, уже по общему признанию этого **факта,** я добивался подробностей о смысле **отдельных** явлений его жизни, о вспышках света, об улыбках и угрозах моря. Мне отвечали в том духе, что привлекающего меня явления, как живого, собственно **нет:** это явление взрослые делали чем-то случайным и внешним, зависящим от случайных и внешних причин.

Мне отвечали, что это «просто отражение света», «просто течение на поверхности», «просто волны» и т. д. Мне хотелось углубиться в жизнь моря, которая, повторяю, была для меня фактом; мною доискивались те тайные силы внутренней жизни, которыми производится данное явление. А взрослые вытаскивали явление на поверхность, говорили, что оно очень просто и внешне. «Мне лучше знать, что оно не просто, что неспроста оно.

В этом-то я не раз убежусь. А я прошу сказать, какое **место** занимает **это** не простое среди различных частностей первичного факта, тоже не простого».

Переводя тогдашние свои мысли на язык более поздний, – а я знаю, что верно передаю суть моих ощущений и смутных дум, – я сказал бы примером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины, улыбнулся, а сейчас вот насупился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ: «Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс», – примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о **смысле** явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то вот воспринимались мною и ответы взрослых о **смысле** тех или иных явлений в жизни Моря. Конечно, я оставался при своем и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесток и цветов морской поверхности.

В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрестанно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо и рассмотреть его ближе. Но оно не давалось в руки, а на ладони оставались лишь какие-то незанимательные воздушные пузыри. Пена, как и медузы, не поддавалась исследованию и могла существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обратятся в ничто, извлеченные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их несуществовании. Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли сказать, они исчезают, вытащенные в бодрствование, как тают медузы и пена на воздухе.

Гостиница «Франция». Венецианские лавочки. Посещения пристани связались в моей памяти с креветками. Обычно после пристани папа заводил нас в набережную гостиницу, лучшую в городе; ее держал один француз и дал ей сладостное слуху моему имя «Франция». «Гостиница «Франция» – «Отель де Франс» – значилось на вывеске. Мне казалось, Франция есть предел утонченности и культурной остроты; во Франции все элегантно, все выдержано, и значительнее языка французского быть ничего не может, в противоположность немецкому, который я презирал,

и Германии, о которой слышать не хотел. Мещанство, безвкусица, педантизм, чудачество, скупость и скопидомство – Германия в моем сознании состояла только из этого. Правда, с раннейших лет я знал, и знал, и говорил наизусть «Фауста» по переводу Вронченки, а имена и музыка немецких классиков постоянно звучали в моих мыслях. Об этом, впрочем, после. Но этих явлений я не соотносил с Германией и считал их просто человеческими. Культура же – это Франция. И потому гостиница «Франция», хоть и не самая Франция, а лишь гостиница, тоже казалась чем-то достойным признания: тут много значило ощущение реальности имен и вера в имена.

Перед этой гостиницей, на широчайшей асфальтовой террасе, под парусиновым навесом, среди кадок с апельсинными деревьями и ящиков с вьющимися растениями, стояли столики, прямо на улице. Мы присаживались туда, а папа заказывал нам наших неизменно любимых креветок. Иногда мы брали их с собою домой в бумажных фунтиках, конечно, особо мне и особо Люсе. Главное ее удовольствие было – бесчинство, которого ни за что не допускала мама, но поощрял папа, – есть на улице. Это было так занимательно, в виду пристани и моря, грызть маленьких рачков, пахнущих тем же морем. Бесчинство наше, впрочем, было очень невинное, потому что Батум был не многим больше приличного села, а ходить по его улицам в те давние времена не очень много разнилось от загородной прогулки и пикника.

Иногда мы шли далее по той же набережной и, дойдя до конца ее, сворачивали в узенький переулок направо, а потом налево. Это был турецкий квартал. Тут стояли рыбацкие кабачки, лепились маленькие лавчонки в еле вмещающих пару посетителей будочках. На улице, вытянув длинные ноги, сидели на маленьких камушках аджарцы, турки и греки, играли в нарды или флегматично тянули кальян. Весь квартал считался опасным, потому что в те времена был населен контрабандистами. Но он был крайне своеобразен и прочно врезался в мою память. Кажется, и папа ходил сюда не совсем без опаски. Говорят, тут грабили средь бела дня, и ходить сюда в Батуме не рекомендовалось. Но зато тут была лавочка, цель наших стремлений, и в эту-то лавочку давнишними знакомыми входили мы. Ее содержал огрубевший на воздухе и покоричневевший не то венецианец, не то грек. Он торговал нитками красных кораллов, разными розово– и красно-коралловыми вещицами, раковинами, венецианскими бусами и заодно – толстейшими канатами, пропитанными дегтем, веревками, бечевками, рыболовными принадлежностями. Лавчонка была сказочно хороша. Наскоро

сколоченная из еле обтесанных досок, залитых дегтем, маленькая, так что там не пошевельнуться, вся пропахшая густым смолистым запахом и морем, водорослями и морскими продуктами, она в этой грубой скорлупе содержала столько прекрасных таинственных вещей – как занозистая раковина жемчужины. Впрочем, в этой лавочке и в самом деле имелись жемчужины. Кораллы манили меня яркостью своего отвлеченного цвета и странностью угловатых очертаний – словно натеки парафина на елочной красной свечке, говорили мы тогда с сестрой, и это сближение кораллов с елкой делало их особенно заманчивыми. В них чувствовалась таинственная жизнь и своя магия; я не любил красного цвета, но этому, по своей отвлеченности не липкому, не мог противиться. Продавец, – наверное, он был контрабандистом, – вытаскивал из-под прилавка, где были разложены вяленая и копченая рыба, огромные тридакны, и я вспоминал, что тридакна даже орла может захватить в свои тиски и он не вырвется, погибая с морским приливом. Ветвистые белые кораллы казались морскими растениями; хотя я знал, что это жилище мелких животных, но в душе не очень-то верил этому. Так прилично говорить, думалось мне, когда говоришь со взрослыми; как и многие другие естественнонаучные объяснения, мне казалось и это родом условной обходительности, эвфемизмом, чтобы не касаться тайн, а на самом деле не соответствующим делу.

Но лучше всего были венецианские бусы. // Они были все ручной работы. С тех пор как помню себя, я с безошибочною отчетливостью, сразу, почти не смотря, **различал** ручное производство от **машинного.** И хотя машины и их продукция весьма занимали мой ум, но непосредственно, не то эстетически, не то более нутром, машинные вещи мною презирались: весь мир был в моем восприятии пронизан разлитою в нем жизнью, его организующею, весь мир имел в себе внутреннюю игру глубины, а машинные вещи казались бездушными, плоскими какими-то, ничуть не таинственными, насквозь понятными и имели вид совершенно по Миллю и Бэну.

В произведении руки человеческой, каково бы оно ни было, в самом грубом, всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание в какой-нибудь раковине, камне, обточенном морскими волнами, в слоистости агата или сердолика, в тончайших сплетениях жилок листа. Машинная же вещь не мерцает, а блестит, лоснится мертво и нагло. И напрасно было бы думать, что дети этой разницы не подмечают; нет, они чувствуют ее в возрасте уже самом раннем. Что касается до меня, то в моем опыте была линия разделения

между ручным и машинным даже более глубокая, нежели впоследствии. Она была предельно разграничительная, как между **да** и **нет,** как между белым и черным. Так я привык думать с чувством полной уверенности с детства. Ясно помню, хотя и не всегда умел отчетливо сказать, но непосредственно, почти физиологически, – как состояние своего тела, – ощущал я с полною живостью качественную разницу ручного и машинного. Впоследствии на этом чувстве ручного появилась склонность к Рёскину, но, занятый физикой и математикой, я узнал о Рёскине очень поздно, когда уже произошел во мне важнейший духовный кризис, о котором будет речь далее. А теперь обращаюсь к венецианским бусам. Они были предельно **правдивы** и потому прекрасны; каждая являла именно то, что есть она в своей первичной сути, обработка же служила только к обнаружению этой сути, была разоблачением, а не облачением сути. Каждая из бус дышала жизнью и сливалась со всей природой, в своем роде превосходя природу.

Одни из пасты, четырехугольными брусочками, кубиками, а круглые или уплощенные – с вкраплениями пасты других цветов. Любо было, что они не окрашены, что поверхности их не придан особый вид, но что материал их виден в них подлинным. Любы и формы их, в очертаниях своих не имевшие ничего механически правильного, целестремительные – все, подходящие к известному типу постольку и в той мере, поскольку и в какой мере это требуется самим делом; у этих бус не было механически острых ребер, механически прямых линий, механически тождественных рисунков. Бусы давали почувствовать формующую их руку, были непосредственными запечатлениями творческой силы. И потому их хотелось трогать рукою, осязать и концами пальцев, и ладонью, хотелось подбрасывать на руке, хотелось пососать во рту.

Другие бусы были стеклянные, преимущественно темно-зеленые и темно-синие. И о них хочется сказать тоже. Их цвет воспринимался именно как цвет стеклянной массы, как существенное свойство материала, – не как что-то украшающее внешне, произвольно и случайно. Их неполированная поверхность с естественно образовавшимися параллельными неровностями в виде тончайших штрихов их внутренние, параллельные этим штрихам неровности цвета проявляли глубочайшее строение самого **вещества** бус; так и чувствовалось, как размягченное стеклянное тесто вязко тянулось при изготовлении этих бус, как действовали силы поверхностного натяжения, придавая полужидкой массе свою форму, – вообще чувствовалась запечатлевшаяся борьба и взаимодействие сил, бусы

образовавших.

Эти бусы запечатлелись в сознании как застывшие первоявления, как разоблаченная бесхитростным ремесленником глубокая правда вещества. Мне было ясно: бусы менее искусственны, нежели случайные куски вещества, ибо искусство тут вело не к сокрытию, а к раскрытию воли самого материала, помогло ему сделаться тем, что он сам хотел, тогда как машина насилует эту волю. Чрез эти бусы, посредством их, вещество мира научило любить себя и любоваться собою. И я полюбил его – не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а **самое** вещество, с его правдою и его красотою, с его нравственностью. Я чувствовал с трепетом, что бусы этого венецианца-контрабандиста не красивы, а воистину прекрасны, как вообще прекрасна усмотренная глубина бытия, как прекрасно все подлинное. Они были в моем детском сознании ноуменальны. И этот ноумен бус сливался с ноуменом моря, напоминая его камешки, его раковины, его то синюю, то сине-зеленую и зеленую воду. И теперь я спрашиваю себя: не это ли ощущение моря полуморскими насельниками Венеции внушило им искусство этих бус, таких родственных произведениям моря?

Изобилие. Я любил море за его тайну – тайну его наполняющего всю массу цвета, тайну его влекущего запаха и шума, тайну его горько-соленой воды, столь поразительно похожей на слезы, тайну странных существ, живущих в нем. Была внутренняя близость между ним и мною. Главное же, оно не подавляло изобилием. Тот, заморский, мир был и запредельным, он казался почти неземным. А в самом море, тут же у берега, не было чрезмерной производительности, и, скорее, его следовало бы назвать с Гомером «бесплодным». Качественно полное, оно не подавляло количеством своих дел. Я видел его творческую мощь, но сдержанная мощь эта была лишь возможностью, и не томила дух. Но **береговая** производительность стран тропических и тут, на побережье Черноморском, имела свои отличия.

<III>. Природа

1923.IV.8. У меня была нежная и горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим. Точнее сказать, нежная любовь и род влюбленности направлялись на тетю Юлю. Хотя и старшая меня, она по складу своего характера откликалась на многие мои чувства и, насколько я теперь могу понять, со мной жила тою жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых. Это она охотно рассказывала мне трогательные истории о каком-нибудь засохшем растении или умершей птичке и, как по крайней мере мне тогда казалось, оплакивала погибших вместе со мною. Мое ощущение – то, что пред нею мне не было надобности особенно скрывать мои мысли и чувства. Правда, она их формально не поддерживала, вероятно, по просьбе родителей и из боязни огорчить отца, бывшего предметом ее жгучей и единственной любви. Но я угадывал ее сочувствие и внутренне считал ее за единомышленницу. Сестры матери впоследствии мне говорили, что тетя Юля была сентиментальна. Но я хорошо знаю, что они имеют в виду, и знаю, как это неверно. Между тетей Юлей и другими тетками, несмотря на дружественные отношения, не могло быть настоящего понимания. Мне это ясно всем нутром. Им чужда природа, хотя они и привыкли жить в роскошных садах, им не интересен Кавказ, хотя корни их – там; в них – старость и вместе духовная одряхлелость прежних культур, достигнутая элементарность интересов, в каких-то веках далекими поколениями скопившаяся усталость ото всего возвышенного, полусознательное, в крови заложенное разочарование в героическом, пренебрежение стариков к широким планам юности. Это какая-то бескрылость, но, впрочем, до того случая, когда нужно проявить настоящую решимость и настоящий подвиг; тут они все, знаю примеры, оказывались твердыми и делали свой долг, как нечто само собою разумеющееся. // Все они добры, приветливы, стараются окружить теплотой и вниманием и умеют это делать. Однако это – именно теплота, в ней что-то слепое. Действие ее иссякает почти тут же, за пределами небольшого пространства, в ней нет звонкости, нет света. Когда из такого теплого гнезда видишь далекие горы, сверкающие на солнце, тогда не оторваться от этой теплоты. Но если гнездо, ради большего удобства, закрыто со всех сторон, тогда во имя света взбунтуешься против этого уюта. Тетя Юля понимала это влечение к свету. Может быть, если бы она дожила до более поздних моих лет, она перестала бы понимать мои желания, но тогда, в детстве, мы друг другу соответствовали.

Мое восприятие природы ею как-то одобрялось. И мое чувство к тете, вероятно, имело в себе сходство с тем ощущением, что отсутствуют какие-либо разделяющие преграды и происходит взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых.

Но, впрочем, я пишу что-то не о том, о чем хотел писать, даже как будто прямо противоположное.

Я позволял любить себя отцу, испытывал полумистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что ли, пред матерью, имел приязнь к теткам и вообще ко многим людям, любил же, нежно и страстно, лишь тетю Юлю, однако и ее – не как ее, т. е. без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимною любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я, в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа.

Может быть, мне повредили в детстве люди. Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное, сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма; всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних.

А со стороны окружающих – признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Посторонние мне говорили о благородстве, о великодушии, о щедрости, об уме, о честности отца. Няньки на бульваре нередко поднимали оживленный спор, чья барыня в городе красивее и лучше, и, после обсуждения всех кандидаток, первенство красоты и всех достоинств утверждалось хором нянек неизменно за барыней Флоренской. У папы нередко срывалось искреннее восхищение пред тетей Лизой, в частности пред самодержавным размахом ее характера и пред редкою красотою ее глаз, а в его поддразниваниях тети Сони, тогда еще совсем девочки, опять чувствовалось одобрение. Наудачу указаны здесь некоторые из элементов этой доброкачественности. На самом деле все было пропитано этим, или я так воспринимал это, в данном случае то и другое не составляет разницы. Но если бы и никто ничего не говорил в этом направлении нам, детям, не могли же мы не видеть особого отношения прислуги, особого признания знакомых, подчиненных, сослуживцев. Мне кажется, характер папы не был особенно легким, и времена мрачности в

нем сменялись веселостью и оживлением. Как мне кажется, он мог сказать и говорил как в ту, так и в другую полосу что-нибудь резкое, слишком правдивое, иногда дразнительное. Но признание его было настолько велико, что никогда из-за подобных излишеств в слове не происходило ссор, неприятностей, то же, в своем роде, относительно матери. Горделиво застенчивая и охваченная нравственной чистоплотностью до нелюдимства, она еле-еле выполняла обычные светские требования, в гостях почти не бывала, визиты отдавала так, что почти как не отдавала, словом, несмотря на светскую воспитанность, шла в жизни по острию. И все же разрывов, обид и ссор, которые естественно должны были возникнуть, тут не выходило, – несомненно силою личного признания.

Мы всё это видели. Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намек не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение вполне невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно, – что я говорю – услышать, несомненно, подумать никто ничего такого не мог. Опять повторяю, неважно, насколько правильно освещено здесь строение нашей семьи, а важно, что я-то, во всяком случае, воспринимал его так. Может быть, взрослые, оставаясь одни вечером и весело смеясь чему-то, причем особенно развеселялся папа, может быть, они говорили и что-нибудь в ином роде. Но до нас, до меня это не доходило. Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно исключен из домашнего словаря: служба, начальство, ордена, награды, губернаторы и министры, деньги, жалованье, женихи и невесты, мужья и жены, рождения и смерти, похороны и свадьбы, священники и всякие богословские термины, евреи и различные щекотливые национальные вопросы и т. д., и т. д., – всего и не перечислишь, – эти понятия, наравне со многими другими, были, по крайней мере, в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия – кроме только двух: деньги и жалованье, почитавшихся безусловно неприличными. Но и без такого запрета я из каких-то неуловимых семейных токов почувствовал с самых проблесков своего сознания полуприличность одних из этих слов и неприличность других. У детей есть абсолютно верный инстинкт, собачье чутье для расценки приличного и неприличного. Между плохим и хорошим нет глубокой разницы, и сделать плохое – это, конечно, нехорошо, потому что огорчит родителей; но, в сущности, – почему бы и не сделать его. А вот неприличное и приличное – это

деление абсолютное, и сделать неприличное – хуже чем умереть. А еще хуже, чем сделать неприличное, – сказать его. Плохое дело, плохая речь, неприличный поступок, неприличное слово – такова градация недопустимого; хуже неприличного слова, стыднее, уничтожающее, бесповоротнее – ничего не может быть, кроме одного: **мысли** о нем. В ночной темноте, закрывшись с головою одеялом, – и то не осмелишься подумать таковое, иначе будешь раздавлен каким-то нарушенным категорическим императивом, сгоришь и умрешь от стыда, даже мысль о том, что можешь нечаянно подумать такое слово, приводит в полное содрогание и на мгновение останавливает всякую жизнь.

Но, повторяю, неприличное – это не то чтобы плохое и не какое-либо особенное; у него, у этого неприличного, нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить ее. Скорее всего, оно сродни мистическим понятиям, оно – табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но, конечно, никакие силы в мире не подвигнули бы спросить взрослых, что прилично и что неприлично и почему это так. Правда, во мне с раннейшего детства были чрезвычайная застенчивость и еще большая стыдливость. Но я хорошо помню, это чувство неприличия оценивалось мною не как моя застенчивость, стыдливость, вообще не как мое личное свойство, а как правое и должное чувство, именно так, как обычно говорят о совести. Малейшее нарушение этого словесного табу, малейшее приоткрытие запретной области мною внутренне сурово осуждалось, ибо казалось бесстыдством, обнажением, хамством, если употребить это слово в его исходном значении. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та **поверхность** жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно поглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, – доходить до неведомого «каким-то незаконнорожденным рассуждением», как говорил о познании первичного мрака материи Платон, но никак не внятными, да еще вдобавок сообща, силлогизмами. Вот смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного. Я хорошо помню, он был именно таков, хотя я не мог бы сказать тогда этими словами, и мне кажется, это не индивидуально случайное мое чувство и не произвольно субъективный круг слов – табу, установившийся в моем сознании, а что-то несравненно более общечеловеческое. Мне кажется еще, не эти ли же слова табуируются у дикарей, психологию которых и по сей день я чувствую родною себе?

Во всяком случае, в нашей семье **были** какие-то объективные поводы, может быть не вполне сознаваемые и самими родителями, к установлению таких табу. Два-то рода мотивов тут были во всяком случае: один – нравственная pruderie[4], а другой – такое же, как у меня, ощущение тайн жизни, в особенности жизни семьи, и инстинктивная боязнь огрубить эти тайны, облекши их в слова и дозволив разговор о них. Но как бы ни было, в моем сознании строй семейной жизни был изысканен. И ничего другого я не знал.

Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло ее, но приняло как нечто подразумеваемое, естественное. Иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения – бескорыстными, честными и т. д. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными, немелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможна и т. д. и т. д. Никто не может сказать слова грубого, обнаженного, неприличного. Вообще, весь мир построен, как и наш островной рай. Правда, боковым слухом я откуда-то узнавал, что случаются нарушения райской тишины. Но такие нарушения мне не представлялись даже неприличными. Они были слишком далеки от наглядно воспринимаемого, и если я интересовался ими, правда очень слабо, то в порядке естественнонаучном: так взрослые могут интересоваться сиамскими близнецами или, скорее, боа констриктором. Человек невоспитанный, позволяющий себе заговорить о жаловании или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына, представлялся мне вроде Джэка-потрошителя или преступников, которым убить – все равно, что выпить стакан чаю. Таких людей, если бы кто о них мне сказал, я бы и осуждать не стал, как нечеловеков, хотя и в человеческом образе. Грубое обращение, пресловутые мачехи, невнимательные отцы – право, о них я вовсе не думал, а когда детская беллетристика заговаривала о них, я относился к этим мифическим образам с гораздо меньшим чувством реальности, чем большинство взрослых к шайтанам арабских сказок.

Все, что может быть неблагородного, невоспитанного, нравственно нечуткого, грубого в слове и в действиях, стало для меня как раз тем, что педагоги желают сделать для ребенка мир мистической фауны, т. е. **ничем,** практически ничем, словами и образами, лишенными какой бы то ни было реальности. Есть же, просто есть, само собою подразумевается именно то, что окружает меня, чего не быть кругом меня не может, – эти люди, эти отношения.

Я был привязан к этому бытию и к этим людям органически, как к своему телу, и отдаление от них, – разумею пространственное расстояние, – вызывало ощущение почти телесной болезненности, растяжение каких-то органических связей с ними. Это чувство, вероятно, правильнее всего сравнить с тем, как когда сильно тянут за руку: очень неприятно, но это не имеет ни малейшего отношения к нравственному чувству. Мое чувство своего тела так естественно присуще мне, что я замечаю его, лишь когда оно терпит ущерб. Я не благодарен своему телу за всю его жизненную службу, за его труды, его страдания, его старания, но малейшее недомогание его, когда оно выполняет мою волю; слабость, боль, собственные его потребности всегда возбуждают во мне и во всех досаду, недовольство, возмущение. Никто из нас не думает, что, коль скоро он не абсолютно отождествляет себя со своим телом и ставит себя в каком-то смысле выше тела, он и несет нравственную обязанность к этому своему слуге, помощнику, вообще чему-то реальному и живому, а не бездушной машине. Так вот, полное нравственное благополучие нашего уединенного острова воспитало во мне подобное описанному отношение к людям. Хорошие люди, воспитанность, деликатность, всяческая порядочность, ум и т. д. и т. д. – это подразумевается, об этом нечего говорить, нечего это и замечать, даже чудовищно, хотя бы в самом себе, сказать о человеке, что он такой-то, в хорошем смысле, как никто не констатирует, что глаза у человека именно два, а голова – одна. Но вот противное – оно не может не быть замеченным. Однако такой, о ком замечено, – это ведь уж почти что не человек, и внутренне считаться с ним было бы нелепым и претящим.

Итак, с одними почти не считаешься, потому что они подразумеваются, а с другими считаться, по меньшей мере, странно. И я, в теплом гнезде наилучших – так, по крайней мере, оценивал их – людей, пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываюсь предельно одиноким; только тетя Юля, с ее глухим страданием и с характером менее величественным, чем у отца и матери, протягивает мне нитку к Человеку.

Я не знаю, как объяснить свою мысль. Потом, в совсем другом смысле, уже не в отношении к семье, я расскажу о несколько родственном состоянии, от которого я оторвался с большою потерею крови: назову его несколько приблизительно **фарисейством. А** то, что мне хочется сказать о семье нашей, так названо быть не может. Кроме того, это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытость, и, наконец, менее всего сектантское чувство праведности. Все это совсем не то. Но в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своей

истерикою у нас осекся бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы все его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным, напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз и навсегда прегражден доступ на этот остров: его можно было разрушить, но – не возмутить скандалом.

Формальная светскость и холод внешних отношений были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыдания, вопли, восклицания – совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. **А** если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то, ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: «Подите побегайте во дворе, Федор Михайлович болен». Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам. Через четверть часа папа сказал бы маме или тете: «II faut lui donner un verre d'eau avec sucre»[5], – и послали бы тетю Соню, как младшую, тоже из деликатности, с подносом, на котором был бы на блюдечке чайный – непременно граненый – стакан с сахарною водой. Тетя Соня тихо ушла бы, а через несколько минут решили бы, что теперь все кончилось, папа маме, или наоборот, сказал бы: «Pauvre homme, il est tres nerveux»[6], – и, делая вид, что ничего не произошло, пошли бы объявлять: «Федор Михайлович, ужин уже на столе», – причем за ужином обязательно был бы шашлык из лососины или осетрины с ломтями помидор и луку, свежая икра и вино, а после ужина папа поднес [бы] Достоевскому какую-нибудь особенную гаванскую сигару и затеял бы разговор о последней книжке «Revue des deux Mon-des», «Deutsche Rundschau» или же о только что полученном новом томе «Histoire Universelle par Lavisse et Rambeau». Не сомневаюсь, что Достоевский не мог бы не почувствовать, что это ненарочно проделано, и так **есть** в семье, и, затаив конфуз, искренно осудил бы в себе истерику.

Так вот, Достоевскому не было места, и даже романы его, хотя и стояли в шкафу, но, открыто по крайней мере, никем не читались как что-то сомнительное – в противоположность настольным и провозглашаемым Диккенсу, Шекспиру, Гёте и Пушкину, каковые признавались вполне и насквозь приличными.

Достоевский, действительно, – истерика, и сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но, однако, есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и такие узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой – или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы

открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, не годен наш дом, не годен монастырь, по крайней мере, хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому нужен кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере, вокзал, – вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, излиться, не оскверняя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла, спасительность падения и благословенность греха, не какой-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамомделишнего греха и подлинного падения.

Достоевскому у нас нечего было бы делать. Но это укор не только ему, но и дому. Невысказанные жили в членах семьи чувства патетические, к которым на самом деле, как к подземному ветру, втайне прислушивались все, но каждый сам за свой страх и скрывая от других. Бетховенский стук судьбы в окно остро чувствовался, и смертельным ужасом сжималось сердце каждого из членов, начиная от отца и кончая не только нами, детьми, но и собакою, делавшеюся членом семьи. И каждый понимал, что этот стук услышан другими, но старался своим видом уверить всех прочих, что он ничего не слышал. Исключительно близкие между собою и в этой близости полагавшие цель жизни, члены семьи, именно ради этой близости, из деликатности и желания дать другим жизнь гармоничную, отделялись от близости и в самом важном, самом ответственном затаивались в себе. Я начал говорить о своем одиночестве, но, на разные лады, все были одинокими.

Но пока возвращаюсь к себе. Я не любил людей, т[о] е[сть] не испытывал враждебные чувства, а принимал хорошее, как дышат воздухом, и не удостоивал негодованием плохое, поскольку сталкивался с ним, скорее, отвлеченно, нежели жизненно. Даже к животным, млекопитающим я был довольно равнодушен – в них я чувствовал слишком близкое родство к человеку. А любил я воздух, ветер, облака, родными мне были скалы, близкими к себе духовно ощущал минералы, особенно кристаллические, любил птиц, а больше всего растения и море.

Это утверждение, конечно, нужно брать ограничительно:

везде бывали свои исключения, свои любимцы. Но общее направление моих привязанностей было именно таково.

Чтобы объяснить свои волнения около природы и чувства, меня пожиравшие, как яростная влюбленность, как страсть, непреодолимая и все собою захватывающая, я должен, во-первых, твердо сказать, что, пусть это кажется уродством, пусть в этом будут усматривать отсутствие нравственного чувства, но это было так, без злой воли, всею силой существа, – я не любил человека как такового и был влюблен в природу. А, во-вторых, самое царство природы делилось в моем сознании на два разряда: один – **изящное,** другой – **особенное.** Всякий предмет природы принадлежал к тому или другому классу, хотя основной характер этого класса мог быть выражен в нем с различной степенью определенности. Меня привлекали преимущественно предметы и существа либо пленительно-изящные, либо остроособенные.

Изящное как-то соотносилось с тетей Юлей, а особенное – с мамой.

1923. IV10. Изящное провеивалось воздухом и светом, было легким и заветно близким. Я любил его со всею полнотою нежности, восхищаясь до стесненного дыхания, до острой жалости, почему я не могу совсем и окончательно слиться с ним, почему не могу навеки вобрать его в себя и сам войти в него.

Насколько я понимаю себя, никогда я не был истеричным и психически был крепок. Но во мне была повышенная впечатлительность, никогда не смолкавшая внутренняя вибрация всего существа от заветных впечатлений. Это почти физическое ощущение себя струною или скорее хладниевой пластинкой, по которой природа ведет смычком: не в душе, а во всем организме, почти ухом слышимый, вибрирует высокий и упругий чистый звук, а в мыслях складываются схематические образы, ну просто – хладниевы фигуры как символы мировых явлений. Я пишу и почти уверен, что останусь непонятным. В этих словах захотят услышать сравнения и попытки на поэзию, я же хочу сказать – выдавить из себя – самое трезвое, самое буквальное описание, некую физиологическую картину. Она заключалась в том, что все во мне, каждая жилка, было наполнено экстатическим звуком, который и был **моим** познанием мира. Этот звук, это дрожание всего внутреннего порождало схемы, порядка скорее всего математического, и они были моими категориями познания. Не только теперь, задним числом, оценивая свои восприятия как повышенные, но и тогда я неоднократно слышал от взрослых указания в этом смысле. У меня была чрезвычайная острота зрения, и, как это нередко случается, именно вследствие

чрезмерной восприимчивости глаза, мое зрение потом сильно испортилось близорукостью. Я помню, как в дали морской или на горах я видел подробности, которые окружающим были доступны только с помощью сильного морского бинокля; и взрослые нередко пользовались мною, сами не страдая недостатком зрения, как глазами или биноклем. «Павлик, посмотри, кто там едет», «Сколько человек на той лодке?», «Не видишь ли птиц над морем?» – такие приглашения и по сей день звучат мне как постоянный мотив на прогулках. Когда терялась иголка или какая-нибудь маленькая вещица среди камней, в лесу, или в комнате, обязательно отряжался на поиски тот же Павлик: «У тебя глаза хорошие». Я не помню случая, чтобы потерянное, какой-нибудь маленький винтик, крючочек и т. д., избежало моих глаз. У меня была внутренняя уверенность, что, раз что-нибудь есть, я не могу не увидеть его. Наши прогулки были для меня непрерывным наблюдением и постоянными находками. Самые мелкие растения, камешки, жучки не могли остаться вне моего зрения. Постоянно я вылавливал в лесу, из камней, на улицах перочинные ножики, монеты, разные вещицы. Конечно, тут помимо оптической, так сказать, зоркости имело много силы постоянное внимание: мой ум никогда не бывал расслабленно вялым и праздным, всем интересовался, и потому пригвождался ко всему взор. И теперь, при сильной близорукости, на улицах и на прогулках я постоянно вижу многое, чего не видят мои спутники с хорошим зрением, хотя теперь мне это видимое далеко не всегда интересно. А тогда все и всегда было занимательно предельно, т. е. так, что больше уж переполненное сознание вместить в себя не может.

Эта зоркость не была аналитическая, она не выделяла преувеличенно отдельных элементов, и главным, что видел я, была форма. Какие-то неизъяснимые наклонения во мне производили тонкие, еле уловимые от рациональных схем формы предметов. Были такие формы, относительно которых казалось, что вот какая-то несказанная волнистость в мире, чуть предчувствуемый упругий изгиб близки душе так, что живут в ней, как душа души, и что скорее от себя самого можно оторваться, нежели эти инфлексии форм станут хотя и красивым, но внешним зрелищем. Внутренняя моя жизнь в таких формах и других подобных впечатлениях покоилась более прочно и собиралась в очаги более оплотневшие, нежели во мне самом.

Очень ярким было восприятие цветов, с тонким различением цветовых оттенков. Но вместе с тем мне помнится, что моим любимым изящным по преимуществу был цвет голубой, тогда как в зеленом, когда он утепляется желтизною, я ощущал полноту

всего особенного. Этот желто-зеленый цвет был для меня чем-то вроде инфракрасного, и за пределы его мой спектр в качестве красоты и мистики уже не простирался. Конечно, я видел и различал желтый; оранжевый и красный; но эти цвета относились к области неприличной. Любить их, восхищаться ими, углубляться в них, и даже замечать их, и говорить о них мне казалось грубым, невоспитанным, явным свидетельством дурного вкуса.

Я не думаю, чтобы причиною такого осуждения были какие-либо подслушанные суждения старших; во всяком случае, не только такие суждения имели силу. Да если бы я слушался в этом отношении старших, то в гораздо большей степени подвергся бы изгнанию цвет зеленый, относительно которого я твердо усвоил себе жизненное правило, что легче броситься в море и утонуть, нежели одеть зеленое платье.

Я знал, что приличен голубой цвет и синий, полуприличен розовый и совсем недопустим зеленый. Но в природе я признавал голубой и зеленый. Что же касается до обратного конца спектра, то там я предощущал связь и символику такого рода областей, аффектов, подъемов и волнений, которые разорвали бы небесную лазурь моего непрестанного экстаза. Сторонясь от красного конца спектра, бессознательно, но не бессмысленно я оберегал свою жизнь в первозданном Эдеме от угроз и опасностей. Не то ли же самосохранение заставило меня наложить жестокое табу на все слова и понятия, вполне невинные и даже как будто безразличные, но относительно которых я предчувствовал, смутно, но уверенно, что, спутавшись с ними, неминуемо поставишь себе и вопрос о каком-то познании добра и зла и об изгнании из рая? В самом деле, такое, например, слово, как **деньги** или **ордена** разве не приводит к вопросам о службе, служебной прозе, подчинению и унижению, к борьбе и интригам? **Похороны** – разве не сталкивают они со смертью, со старостью, со злом, с невыносимым страданием разрыва? И все так, все «неприличное» припечатывает кувшин со злыми джиннами, недаром же засаженными туда премудрым царем. «Неприличное» есть знамение губительных для Эдема, разрушающих безмятежную лазурь духов природы. Пусть никто не смеет думать, будто тогда, трех, четырех, пяти, шести лет, я не понимал всего этого. И я, и всякий другой в таком возрасте бесконечно мудрее премудрого царя, и все сложнейшие жизненные отношения понимают насквозь, и, понимая, – припечатывают и предусмотрительно возбраняют вход в свою невозмутимую и безоблачную лазурь – изгородью из табу. Конечно, с годами мы все, когда-то гении и святые, грубеем, глупеем и опошляемся. У

одного раньше, у другого позже появляется безразличие: пасть или не пасть – и змей-разрушитель оценивается просто как змея, хорошо, если не как уж. Грех, греховное отпадение от этой небесной земли – ну, так что ж, сделал – и ничего особенного. И мне хорошо представляется, Адам и Ева после грехопадения тоже, вероятно, сказали друг другу: «Ничего особенного», – сказали потому, что уже огрубели, уже утратили связь с тем Эдемом, который только что сиял перед ними неземной красотою. Но пока связь эта жива и пока зрение не померкло, панический ужас и инстинктивная брезгливость, исступленные и неудержимые, сотрясают душу и тело возле табу, предостерегающего об опасности. Каким-то задним зрением ребенок знает не только **об** опасностях, сторожащих по ту сторону ограды, но самые эти опасности; **существо** их он знает полнее и точнее, нежели самый искушенный жизнью закоснелый грешник. Никакое падение не открывает ему ничего нового, всегда оказываясь лишь убылью жизни, но не приростом ее. Ребенок владеет абсолютно точными метафизическими формулами всех запредельностей, и, чем острее его чувство эдемской жизни, тем определеннее и ведение этих формул. Про себя я, по крайней мере, могу сказать, что вся последующая жизнь мне не открыла ничего нового, кроме одного, – о чем будет сказано ниже, – но и то – открыла не познанию, а открыла смерти, после которой я уже стал не я. Все же знание жизни было предобразовано в опыте самом раннем, и, когда сознание осветило этот опыт, – оно нашло его уже вполне сформированным, почкою, полною жизни и ждущею лишь благоприятных условий распуститься. И я, как всякий ребенок, но, может быть, с большею цепкостью, оберегал свою непорочную землю от гибели и твердо знал, что допусти хотя бы одну-две трещины в изгороди, как весь сад погибнет. Задним зрением знал я все, но мудрость жизни была именно в разделении этого знания от прямого созерцания райской Красоты. Заботы родителей и детский инстинкт поддерживали друг друга, и, может быть, потому именно я даже преувеличиваю в своей памяти работу родителей в этом смысле и переношу на них часть собственных своих усилий.

В эти мысли пришлось взойти по поводу цветов. Но к тем же мыслям поводом могли бы быть и многие другие детские переживания. Как в цветах, одна их часть, пленительная и воздушная, вызывала восторг и то ощущение, которое испытываем мы во сне, летая, тогда как другая предоценивалась в качестве ядовитого огня и гибели, так же точно и в большинстве прочих ощущений: одни впивались мною жадно, упоенно, экстатично, на других лежала печать запрета. Но здоровый

организм не допускает запретному стать искусительным – он просто не замечает запретного, волит его не замечать и обходит стороною как безразличное, почти не существующее. Папа курит свои скверные сигары, а мама надевает смешной корсет и турнюр. Я понимаю насквозь, как это нелепо, и твердо убежден, что втайне так же думают и они сами, не находя ничего хорошего ни в том, ни в другом. Но на то они и взрослые, чтобы делать глупости и плохо понимать их нелепость. Я их не осуждаю, ибо снисходителен к взрослым, уже многого не понимающим. Но было бы странно толковать мое нежелание курить сигары и носить турнюр как победу над искушением. Просто они мне не нужны, а если бы я прикоснулся к ним, то потерпел бы большой урон. В сущности, и сигары и корсет гадки до ужаса и, затаенно, страшны.

Я же слишком ясно знаю, что они – вещи демонические (скажу теперешними своими словами), чтобы не понимать губительность их для меня, не покрытого корою, которою покрылись взрослые.

Да, впрочем, и сами взрослые не хотят губить меня: сигары не позволяют касаться, а корсета – даже поминать имя. Ясно, дело нечисто, и я вполне прав. У сигар, впрочем, есть два оправдания их бытия: первое – это ящик кипарисного дерева, достающийся, конечно, мне и идущий под морские камешки; второе же – дымовые кольца, которые ловко пускает папа, подражая паровозу. Ну а что касается корсета, то у него только и есть то оправдание, что иногда с помощью папы я выпрошу из него себе пластинку китового уса и, размягчив ее на свечке, гну в крючки. Правда, эти пластинки мне ни на что не нужны, но у них привлекательное происхождение – из кита.

Так и скверну мира обращал я в свою пользу; подобным же образом находилось полезное применение для сургуча и папиной казенной печати с двуглавым орлом, чертежных принадлежностей и геодезических инструментов, монет, обручального кольца и т. д. Но в глубине души я сознавал эти занятия как нечто неглубокое, ненастоящее. Истинным же делом представлялось мне созерцание природы.

Кроме зрения, у меня было очень развито обоняние и слух. Что касается первого, то, вероятно я унаследовал его от деда по матери. С детства запахи были для меня выражением глубочайшей сущности вещей, и я всегда ощущал, что чрез запах я сливаюсь с самою вещью. Цветы, эфирные масла и в особенности благовонные смолы воспринимались мною как несомненные прорывы в этом мире и проходы в иной. С самых ранних пор я пристрастился к парфюмерии. Сперва заготавливал

душистые цветки – главным образом розовые лепестки, просил старших купить мне фиалкового корня и делал из всего этого саше в подарок к именинам и к другим праздникам маме и тетям. Потом стал изготовлять курительные свечки, душистую бумагу, одеколон и духи (о добротности их уже не берусь судить, но взрослые от моих духов морщились, да и мне, по правде сказать, они нравились только во время приготовления). Иногда, наготовив каких-то снадобий, я выливал их, к неудовольствию мамы, в ванну с водой, в которой купался. Мне кажется, впрочем, что мама морщилась не столько от качества моих эссенций, как от мысли, не проявляется ли во мне наследственная от деда страсть к роскоши. Готовые духи, – хотя в доме у нас были очень хорошие, французские и английские духи, в частности, неизменные духи мамы «Lilas Ыапс» парижской фирмы «Viollet» с тонко выгравированной пчелкой на марке, – готовые духи менее привлекали меня. Кстати сказать, духами тети Лизы было «Ess bouquet», тети Юли – «Muquet», какие-то еще определенные – но я не помню их название – у других тетей. Но меня в области запахов, как и во всех других областях, действительно волновало всегда и потрясало корни моего существа лишь прикосновение к сырым материалам, к исходным веществам, к первоисточникам. Лишь не смешанное, но внутренне сложное флюктуирующее многокачественностью, далее неразложимою и неделимою, влекло меня. Как в чем я почуял механическую составленность, так сердце мое от него отходило. Это – не внушенная себе мысль, не рёскинианство и не толстовство, как склонны толковать узнающие меня взрослым, а собственная моя коренная воля, которая бывает иногда вынуждена уступать, но никогда не сдается. Весьма вероятно, тут есть нечто наследственное, ибо в этом отношении я узнаю в себе отца. Но каково бы ни было происхождение этого вкуса к первичной материи, он проявляется во всех областях и во всех областях ищет ощущений, которые можно охарактеризовать не иначе, как двумя-тремя прилагательными, сочетанными посредством черточек.

Из первичных веществ меня очень занимали в детстве пряности. И как только мама открывала большой провизионный шкаф для выдачи провизии повару, я унюхивал это обстоятельство, пролезал между мамой и поваром в самый шкаф и, несмотря на протесты мамы, правда вялые, хозяйничал в многочисленных стеклянных и жестяных банках с пряностями. Пока повар успевал получить нужное ему, мои карманы бывали уже набиты экзотическими товарами. Потом я шел рассматривать, обнюхивать и пробовать свою добычу. Когда я набирал ее, я объявлял, что хочу то-то и то-то готовить – духи,

курительные свечи и проч., и иногда в самом деле делал попытки в этом направлении. Но больше обследовал сырые вещества – грыз, жег на свечке, размачивал в воде. Тут бывал обыкновенно странный по виду и пряно-жгучий, гладенький и беленький имбирный корень, которого у нас в кушанья никогда не клали, но запас почему-то никогда не иссякал, несмотря на мои хищения. Был тут и желтый, как яйцо в мешочек, мускатный цвет, возбуждавший мое внимание плоскостностью своею и упругостью своей ткани. Непременно я натаскивал себе кардамона, привлекавшего меня своею трехгранностью и белизною тонковолокнистой своей шелухи; именно она волновала, меня, а черные зернышки я большею частью выбрасывал. Иногда перепадал мне наполовину стертый на терке мускатный орех, казавшийся мне похожим на мозг. Английский перец и лавровый лист тоже допускались в число пряностей, но уж для полноты и без волнения. Больше же всего я ценил хорошенькие, с кисловатым запахом звездочки бадьяна, – причем немалое значение в привлекательности имело звучное имя его, сближавшееся в моем уме с «индианкой», ну а последняя-то уж, конечно, fine fleur[7] изящества! – и кусочек ванили. В ванили меня все приводило в дрожь: и словно лакированная черная кожица, в которой чувствуется тончайшая, но чрезвычайно крепкая волокнистость; и почти микроскопические бесчисленные семена, которые я решительно отличал от бесструктурной мажущейся черной массы и, напротив, видел раздельными и зернистыми; и странная форма этого стручка, сближавшегося в моем сознании со стручками павлинии, висевшими у нас в Батуме на уличных насаждениях. И даже запах, томный и смуглый, я не ставил ванили в укор, потому что он смешивался с теплым батумским воздухом и уносил меня куда-то, не то в Бразилию, не то в иную страну, но с не менее звучным именем. Рассмотрев свою ваниль и слизав с нее хорошенько кристаллические иголочки ванилина, я затем выдавливал в рот ее семена, а после них съедал и самую кожу. Что касается до остальных пряностей, то частью сгрызал их, частью растеривал, но каждый раз они наполняли все мое существо теплою полнотою бытия и чувством реальности других миров, причем я сам ясно не знал, находятся ли эти миры по ту сторону океана, или по ту сторону форм рационального познания.

Благоухания наполняли меня теплотою. Напротив, от звуков мне становилось холодно, порою настолько холодно, что я дрожал весь, как в сильнейшем ознобе, и чувствовал, что еще слушать – выше моих сил и что-нибудь может случиться. Если при этом бывали взрослые, они иногда давали мне что-нибудь

успокоительное или прекращали музыку. Так памятно это ощущение спирально вьющегося по спинному мозгу холодного вихря, начинающегося с первыми тактами музыки и все ширящегося, так что он пронизывает все тело, и ноги, и туловище с руками, и голову, а потом начинает стремительно дуть, бороздя все пространство комнаты, провеивая сквозь меня, словно мое тело кисея, и холодит эфирным восторгом, вознося на себя к самозабвенному экстазу. Я музыку любил неистово, а ощущал почти до вражды; она слишком потрясла меня и слишком многого от меня требовала, чтобы можно было относиться к ней как к удовольствию.

В детстве у меня был тонкий и верный слух, как говорили люди музыкальные, посещавшие наш дом. Вероятно, лет с четырех я уже лез к пианино Блютнера в нашей гостиной, когда там никого не было, и одним пальцем подбирал слышанные мелодии, или же, напротив, пытался какими-то массами звуков, как я ощущаю, в том роде, который звучал Скрябину, выразить разрывавшие меня чувства. Но более мелодии я всегда чувствовал музыкальную ритмику, с одной стороны, а окраску звуков – с другой. Мне хотелось звуков иррационального тембра, шелестящих, скользящих. Сочность звука мне всегда была отвратительна. Звуки, сухие, как удары, звуки-трески, звуки-шумы, арфа, например, или звуки, которых я не знал в музыке, или которых в музыке и нет, их искало мое воображение. Напротив, пение, пение несдержанное и полным голосом, в особенности низкие голоса – около баритона, как у нас певал Василий Иванович Андросов, например, меня пугали, казались верхом непристойности и бесстыдства, я совершенно не понимал, как подобное безобразие можно терпеть в доме. Мне представлялось, что между непристойным горланением пьяных матросов, шатаясь, проходивших по улице, и подобными баритонами если и есть разница, то совсем не в пользу баритона. От этого пения, где бы оно ни было, я убегал и прятался в свои любимые места: за шкаф или под кровать. Сдержанное пение, и притом голосом высоким, я не осуждал, хотя оно мне никогда не казалось настоящей музыкой, а – лишь приправой к какому-нибудь домашнему делу. Но я признавал певиц, которых, впрочем, не слышал, за исключением Никита. На то было много причин: во-первых, они красиво одеты, и притом декольте, т. е. как-то приближаются к феям, царицам и невестам, а эти разряды женских существ были для меня категориями изящного; во-вторых, на них много драгоценных камней, а драгоценными камнями в моих глазах многое можно было сделать положительным. Третье – родственница тети Юли, Александра

Готлибовна Пекок, тетя Алина, как мы ее называли, была для нас полумифическим существом, известным нам по рассказам тети Юли. А эта тетя Алина пела на миланской сцене под псевдонимом Алины Марини и пользовалась в свое время большою известностью. Имя этой тети протягивало от нас нити в Москву, в Милан, и вообще в Италию, и даже на оперную сцену. К тому же личность тети Алины была повита загадочностью, о ней таинственно не могли ничего толком узнать, и чувствовалось – это неспроста. Уж ради одной Алины Марини я должен был признавать певиц. Главное же, мужчины, когда поют, то уподобляются каким-то ревущим бегемотам, и трудно поверить, чтобы подобное безобразие кому-нибудь могло нравиться. А певицы, – певица настоящая была для меня, конечно, сопрано и притом сопрано колоратурное, – они возглавляются царицею всех певиц Аделаидою Патти, о которой я слышал от тети. Она – не бегемот, а соловей и жаворонок. Она растворяется в воздухе чистейшими трелями, и сама уже почти что не человек, а птичка. Все прочие певицы в моих глазах блистали ее отраженным светом. Я так ясно представлял себе в воображении неземную свежесть и эфирную чистоту голоса Патти, и, в частности, алябьевского «Соловья», что испугался бы даже, если бы мне представился случай услышать ее на самом деле: это было бы слишком грубым, слишком вещественным прикосновением к полубогине птиц, как я мечтал об ней в детстве.

Вообще моя музыкальная фантазия была настолько захватывающей и живой, что я почти не нуждался в физическом звуке. Вспоминая свое детство, я много раз думал, что музыка, и именно композиция, но ни в коем случае не личное исполнение, может быть, деятельность дирижера, была моим истинным призванием и что все остальные мои занятия были для меня лишь суррогатами того, музыкального. Я всегда был полон звуков и разыгрывал в воображении сложные оркестровые вещи в симфоническом роде, причем потоки звуков просились в мою душу непрестанно, днем и ночью, и стоило мне остаться без очень ярко выраженного интереса в другой области, как мои оркестры начинали услаждать меня, а я им дирижировал. Иногда достаточно было самой бедной ритмики – стука пальцев по столу, падения капель, ритмического шума, тикания часов, даже биения собственного сердца, чтобы этот ритмический остров подвергся непроизвольной оркестровке и сам собою обратился в симфонию.

В одной из комнат нашего дома тетя Соня штудировала немецких классиков, преимущественно Гайдна, Моцарта и Бетховена; Бах тогда еще, кажется, не был возвеличен в музыкальном мире. Эти звуки, в особенности Моцарта и

Бетховена, были восприняты мною вплотную, не как хорошая музыка, даже не как очень хорошая, но как единственная. «Только это и есть настоящая музыка» – закрепилось во мне с раннейшего детства. То, что играл я сам себе в воображении, принадлежало к этому роду, но было еще пустыннее, еще объективнее, еще дальше от сырости переживаний. «Почти что окончательное то, что играет тетя Соня, – а все не совсем. Еще какой-то шаг – и будет достигнут предел, последняя глубина звука», – так, но, конечно, не в таких словах думалось мне. И я делал для себя этот шаг и освобождал музыку от последнего привкуса психологизма; она звучала в моем сознании как музыка сфер, как формула мировой жизни. Материалом же ее были экстатические звуки внутри меня. Когда много лет спустя, уже окончив Университет и Академию, я прикоснулся к Баху, я понял, чего искал я в детстве и в какую сторону представлялся мне необходимым еще один шаг музыкального развития. В Бахе я узнал приблизительно то, что звучало в моем существе все детство, – приблизительно то, но все-таки не совсем. Может быть, той, экстатической музыки вообще не выразить звуками инструментов и слишком рационализированной ритмикой нашей культуры. Я же проводил свои дни в непрестанном экстазе.

1923.IV. 15. Но и самый дом был наполнен звуками. Мама и сестры ее, особенно тетя Соня, имели очень чистые и чрезвычайно приятного тембра голоса, в которых было что-то хрустальное и отсутствовал оттенок томности и страстности. В свое время мама училась пению, равно как и тетя Соня, впоследствии поступившая в Лейпцигскую консерваторию по классам пения и фортепиано. Ее музыкальная карьера, равно как и музыкальное образование матери, была внезапно прервана запретом врачей, угрожавших скоротечной чахоткой. Вообще это соединение большой музыкальности, хорошего голоса и туберкулеза присуще всему роду моей матери, и потому многие блестящие выступления, музыкальные и вокальные, подрезывались в самом корне, если не предписанием врача, то словом судьбы. Мне хочется тут, кстати, вспомнить мою двоюродную сестру Нину Сапарову, учившуюся в Москве, которая поражала всех совершенно исключительной, какой-то неземной хрустальностью своего голоса и умерла после первого или второго выступления. Две другие сестры, дочери тети Сони, тоже начинали петь и тоже погибли тою же судьбою. С другой стороны – с отцовской – музыкальные склонности были двойственными. Как все предельно порядочные и нравственного строя люди, отец мой не обладал никаким слухом. Тетя Юля очень любила музыку, часто играла, но, мне думается, не

отличалась ни особенными способностями, ни слухом. Однако в отцовском роде музыкальная наследственность, несомненно, тянулась от матери отца, Анфисы Уаровны Соловьевой, которая была хорошей музыкантшей. И с отцовской, и с материнской стороны она должна была быть музыкальной и вращалась в музыкальных кругах; между прочим, к дому ее родителей были очень близки оба Гурилева, и отец, и сын. Да и в смысле сопутствующего музыкальности признака – стихийности – она получила, вероятно, достаточно данных: Соловьевы отличались бурным темпераментом вместе с талантливостью, а род матери ее – клинские помещики Ивановы – произвели много заметных людей, но отличались распущенностью. Но как бы там ни было, а собственно в наш дом музыкальные склонности проникли после каких-то фильтраций, оставив за его стенами все элементы страстные и наполнив дом звуками прозрачными, отчасти родственными внутренним звукам моим.

Из инструментальных произведений в доме слышались лишь наиболее строгие, салонная же музыка всегда вызывала легкое изменение лица, выражавшее неудовольствие, а то и пренебрежительно-брезгливое слово. Что касается вокальной, то мне помнятся сравнительно немногочисленные, но прижившиеся в доме романсы Шуберта и Глинки – кстати сказать, и теперь мне представляющиеся наиболее совершенными из всего, что знаю, произведениями в этом роде. Мама никогда не пела при всех, и голос ее доносился обыкновенно из спальной, когда она возилась с кем-нибудь из маленьких или работала рукоделие. Я мало понимал слова, к тому же доходившие не полностью, а то, что понимал словесно, то не доходило до сознания. Но слова и фразы и по музыке, и своим собственным звуком мне говорили что-то совсем иное, чем они значат логически, и это иное было несравненно больше логического смысла. Не то чтобы не мог, я, скорее, не хотел вникать в этот логический смысл и разрушить им не сказанный смысл первозданного звука, доходивший до меня чрез это пение. Впоследствии, уже взрослым, когда я слышал те же вещи, я бывал разочарован: да, хорошо, мой детский вкус меня не обманывал, но ведь это совсем не то, что запомнилось мне с детства и что, очень глубоко где-то, звучит и сейчас во мне, хотя и приглушенное. В отдельных выражениях слышалась особая многозначительность, какое-то личное, ко мне именно, к сокровенному существу моему обращенное слово; и слово это шло не от матери, хотя и чрез нее, даже не от автора произведения, а из ноуменального мира, от бытия, которое открывал я в себе самом, по ту сторону себя самого.

«Отчего так светит месяц?» – ро-о-обко он меня спросил». Это

«робко спросил» из каких-то бездн мне говорило обо мне самом. Это словно **я** спросил, и казалось странным проникновением в меня возможность сказать обо мне так определенно. Вдруг появлялось сознание неловкости, как это вслух звучит такое словесное обнажение меня. В других случаях это проникновение касалось других. Когда из спальной журчали серебряные звуки: «Горный поток в чаще лесной», ясно я знал, что это сказано о самой маме, что горный поток в чаще лесной – это сама она, но, конечно, она не стала бы петь так откровенно о себе, если бы знала, что поет, а я – знаю. Часто, понимая все слова, я не умел или не хотел понять всю песню, чтобы не рационализировать ее. Так было, например, с известным в то время романсом «О Матерь Святая, возьми Ты меня: все счастье земное изведала я». Логический смысл его вполне исключался из моего сознания, может быть, как неприличный, поскольку заключал в себе нечто религиозное; но какой-то **иной** смысл был чрезвычайно ясен, и я всегда внутренне конфузился за маму, когда она пела этот романс. Наиболее достойным внимания и наиболее привлекательным было для меня явно иррациональное – то, чего я действительно не понимал и что вставало предо мною загадочным иероглифом таинственного мира. Таковым был любимый мною романс Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье». В нем я ничего не понимал, но зато остро ощущал, что тут-то и есть фокус всего изящества, что это полюс средоточия тех проявлений изящества, которые восхищали меня разрозненно в окружающем мире. Особенно знаменательным представлялось слово, в котором я не без основания предугадывал самую вершину всего пленяющего: «Как мимолетное виденье, **кагёни** чистой красоты». Что это значит, это «кагени», я не только не знал, но и не старался узнать, ибо чувствовал, что никаким пояснением не увеличится **мое** понимание этого иероглифа превосходящей всякую земную меру и всякое земное понимание красоты. **«Кагени»** было символом бесконечности красоты, и, как я прекрасно понимал, любое разъяснение лишь ослабит энергию этого слова. И в самом деле, не в том ли художественное совершенство стихов, музыки и всего прочего, что сверх-логическое их содержание, не уничтожая логического, однако, превосходит его безмерно и, как язык духов, детскому, вообще не рационализирующему, восприятию доступно даже более, нежели взрослому. В частности, этот романс мне когда-то пришлось взрослым слышать в исполнении Олениной д'Альгейм, уже совсем взрослым. И во мне всколыхнулось то же чувство, но теперь уже сознательно. Мне думалось: Пушкин с музыкой Глинки в исполнении Олениной – тройное творчество

величайших представителей каждой из областей русской культуры, возносящейся помощью и силою другого. Да и у них, этих представителей, не одно из творческих деяний, а чистейшая сущность всего их творчества. Какой уплотненный фокус культуры, в коротком романсе замкнувший целый век расцвета русского искусства. Не без причины таким огромным и духовно веским казалось мне «чудное мгновенье» с пеленок.

Музыкальные склонности направлялись у меня в детстве также по руслу стихов. Сравнительно в меньшей степени меня занимал смысл стихов, а преимущественно влекло их звучание и их ритмика. Обладая почти абсолютной памятью, все привлекательное для меня я запоминал с одного раза в точности; в особенности это относилось к стихам. Пушкин, отчасти Лермонтов – только их я признавал в раннем детстве, остальное же не доходило до моего слуха.

Впрочем, Тютчева я просто не знал, и в доме у нас его почему-то не было. Сказки Пушкина, многие поэмы, стихи и другое я мог говорить наизусть часами, хотя читали мне их не особенно много. Напротив, стихи других поэтов я определенно ощущал не как худшие, а как качественно иное нечто. Со стихами произошло то же, что с музыкой: есть настоящее, настоящая музыка, настоящие стихи, и хвалить это настоящее неуместно, ибо само собою разумеется, что они – благо. Кроме того, есть и еще что-то, притязающее быть музыкой и поэзией, но притязает бессильно, порицать его – недостойно, ибо это дало бы повод к обсуждению, тогда как оно не музыка и не поэзия, а просто какая-то дрянь, о которой и говорить не стоит. Детское суждение онтологично. Поэтому для меня не было искусства хорошего и плохого, а было просто искусство и неискусство, и я знаю, то мое суждение было честным и не лукавым. Нет – и нет. Впоследствии же, когда мы все научаемся лукавить, мы стараемся усладить прискорбную истину разными извинениями и найти нечто хорошее в побочных обстоятельствах. А в результате мы сами запутываемся в этой казуистике и перестаем чутьем угадывать и ценить самую суть произведений, обманываясь мастерством техники, сюжетом, чувственною вкусностью материала и т. д. и вводя в обман окружающих. К тому же мы боимся быть жестокими, может быть, из опасения быть судимыми тем же судом. Но детство не знает опасений, не боится суда, судит незаинтересованно и неподкупно; оно изрекает свой приговор с жестокостью истины.

Для него – **есть** или **не есть.** Так вот, о Пушкине я говорил себе **есть,** ну, а о большинстве других – обратное. Это не значит, чтобы их нельзя было послушать. Но я их слушал сравнительно с

Пушкиным так же, как оперную музыку, например, сравнительно с Моцартом, т. е. ясно сознавал, что это только пустое провождение времени, внешнее щекотание, какое-то «слово праздное», которое отщепляет от вечности. Этого рода искусство я оценивал так же, как и семечки, безусловно воспрещенные в нашем доме и все же откуда-то иной раз, на негодование мамы, в дом просачивавшиеся.

Но я начал говорить о звучании стихов. Звуковая сторона слова всегда имела стремление к самостоятельности в моем сознании и порывалась вырваться из оков логического смысла. Этого было особенно легко и добиться в именах и в словах иностранных. С жадностью подхватывал я географические и исторические имена, звучавшие, на мой слух, музыкально или знаменательно, преимущественно италианские и испанские, – они мне казались особенно изящными и изысканными, – и сочетал их, сдабривая известными французскими или италианскими словами, в полнозвучные стихи, которые привели бы в ужас всех сторонников смысла. Эти стихи приводили меня совершенно определенно в состояние исступления, и я удивляюсь, как родители не останавливали моих радений. Правда, чаще я делал это наедине. Но я любил также, присевши на сундук в полутемной маленькой комнате, когда мама с няней купала одну из моих сестер, завести – сперва нечто вроде разговора на странном языке из звучных слов, пересыпанных бессмысленными, но звучными сочетаниями слогов, потом, воодушевясь, начать этого рода мелодекламацию и, наконец, в полном самозабвении, перейти к глоссолалии, с чувством уверенности, что самый звук, мною издаваемый, сам по себе выражает прикосновение мое к далекому, изысканно-изящному экзотическому миру и что все присутствующие не могут этого не чувствовать. Я кончал свои речи вместе с окончанием купанья, но обессиленный бывшим подъемом. Звуки опьяняли меня.

Но возвращаюсь к начатой мысли: при психической и нервной крепости, я все же был всегда впечатляем до самозабвения, всегда был упоен цветами, запахами, звуками и, главное, – формами и соотношениями их, так что не выходил из состояния экстаза. Радость бытия, полнота бытия и острый интерес переполняли все мое существо, я всегда кипел и ни минуты не оставался невозбужденным. Это происходило, повторяю, от силы впечатлений и от повышенное™ внимания к ним. Для меня не было спокойных восприятий – таковые вовсе не доходили до моего сознания, всегда занятого чем-нибудь чрезвычайно интересным. Каждое восприятие связывается с другими, и само собою в уме строится какая-то система, где

разнородное по малым, но глубоким, на мою оценку, признакам соотнесено друг с другом. Растения, камни, птицы, животные (– мне было совершенно ясно, что невозможно объединять милых птичек в одну группу с другими существами, «животными», по моей терминологии, и что птицы, скорее, родственны растениям —), атмосферные явления, цвета, запахи, вкусы, небесные светила и события в подземном мире сплетаются между собою многообразными связями, образуют ткань всемирного соответствия. Человекообразные скалы и корни не случайно имеют свой вид: тут есть таинственное родство. Во дворе у нас или по полотну железной дороги расцвел подорожник. Я смотрю, как гордо и упруго несут свои головки эти подорожники, и соображаю: да разве это не стадо моих любимых венценосных журавлей, на изображение которых я не могу насмотреться в «Природе»? С деревьев свисают сережки; разве я не понимаю, что они, заигрывая со мною, притворяются расслабленными? Божья коровка, поджав ножки, лежит на спине, как мертвая; но ведь это она хочет привлечь к себе мое внимание, чтобы я играл с нею. И фиалка, спрятавшаяся под куст, она играет в прятки и была бы весьма обижена, если бы я не стал искать ее.

1923.IV. 17. Весь мир **жил,** и я понимал его жизнь. Но это понимание было крайне ошибочно толковать как простое антропоморфизирование – приделывание к вещам и существам природы человеческих органов, человеческих мыслей, чувств и желаний. Крайне ошибочно думать, будто я, вместе со всеми детьми, просто утрачивал чувство границы между собой и природою, смешивал две области, заведомо раздельные в сознании взрослого.

Ничего похожего на такую спутанность понятий мое мировосприятие не содержало, и границы разделения проходили там же, где и теперь они проходят для меня и где они проходят для всякого человека. Если уж говорить о различии тогдашнего и теперешнего, то оно имело как раз обратный смысл: эти границы между отдельными вещами, существами и явлениями были несравненно глубже, чем теперь, и сознавались острее и непроходимее. Ведь, в самом деле, детское восприятие – более эстетического характера, нежели восприятие взрослого, научное или хотя бы наукообразное. И потому каждый отдельный объект в детском восприятии, как созерцаемый эстетически, целостно замкнут в себе, и от единства его **нет** никаких переходов к самозамкнутому же единству другого объекта. Преобладание в детском восприятии вещей над пространством делает мир несравненно более прочно расчлененным, нежели в восприятии

взрослого. Научное познание устанавливает общность, где ее раньше не было видно, разыскивает промежуточные явления между крайностями, мостит мосты для перехода чрез дотоле непроходимые бездны, вообще смазывает четкую раздельность мира, притупляет пафос различия. В критическом и последовательном научном миропонимании непосредственное чувство невозможности каких бы то ни было сближений, переходов, превращений должно быть задерживаемо, и в этом – дух науки. «Celui qui en dehors des mathematiques prononce le mot «impossible», manque de prudence»[8] – отчеканено славным Ампером, и притом в расцвете рационализма, когда верилось, что все в основе известно и круг знания почти замкнут.

Итак, не по нечувствию естественных границ между явлениями воспринимал я жизнь

мира. Научное миропонимание ослабляет внешнее различие между явлениями, оставляя самые явления, даже когда они по качеству своему тождественны, чуждыми друг другу, и мир, лишенный яркого многообразия, – не только не объединяется, а, напротив, рассыпается. Детское восприятие преодолевает раздробленность мира **изнутри.** Тут утверждается существенное единство мира, не мотивируемое тем или другим общим признаком, а непосредственно ощущаемое, когда сливаешься душою с воспринимаемыми явлениями. Это есть мировосприятие мистическое.

Конечно, я отлично сознавал, что фиалка не имеет ничего общего со мною, и прекрасно знал о несуществовании у нее глаз (увы, теперь я этого не знаю, и потому взор фиалки, для разговора, могу и доказывать: и по ботанике, растения имеют глаза). Но непосредственно я приникал к самому существу скромного цветка, ощущал его жизнь, столь близкую мне внутренне и столь далекую по внешне учитываемым проявлениям, и вот эту, постигнутую мною, внутреннюю жизнь рассказывал себе в словах, как говорится, метафорических. Какой-нибудь малый и даже трудно формулируемый признак мог **тогда,** но только тогда, т. е. когда изнутри существо было уже познано, стать свидетельством, что я правильно уразумел существо дела. Но он был для меня не внешним доказательством, обязательным для других, и я бы даже постеснялся сказать о нем кому бы то ни было: это было знамение, некоторое природное чудо, – когда сокровенная сущность приподымала завесу своей тайны и бросала оттуда лукавый взгляд. Я хорошо помню это внезапное и далеко не повседневное ощущение, что взор встретился со взором, глаз уперся в глаз – мелькнет острое, и прекратится, да и не выдержать бы длительно этого прямого созерцания лица

Природы. Но и мгновенное, это ощущение давало абсолютную уверенность в подлинности этой встречи: мы друг друга увидели и насквозь друг друга понимаем, не только я его, но и, еще острее, он меня. И я знаю, что он меня знает еще глубже и видит еще определеннее, чем я его, а главное – меня всецело любит.

Однажды, уже много лет спустя, я пережил ту же встречу перекрестными взорами и ощущение, что меня взор проницает насквозь, до самых сокровенных тайников моего существа. И это был взор приблизительно двухмесячного ребенка, моего сына Васи. Я взял его ранним утром побаюкать полусонного. Он открыл глаза и смотрел некоторое время прямо мне в глаза сознательно, как ни он, ни кто другой никогда не смотрел в моей памяти; правильнее сказать, это был взгляд сверхсознательный, ибо Васиными глазами смотрело на меня не его маленькое, несформировавшееся сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и передо мною снова были глаза двухмесячного ребенка. Вот этот-то опыт постоянно направлял курс моего отношения к природе. Ничего, ничего; а вдруг – и метнется взгляд, то нежный и глубокий, полный какого-то ожидания от меня, то лукавовеселый, говорящий, что мы-то с природою знаем, что другие не знают и знать не должны. Природа, как верил я и ощущал, скрывает себя от людей; но я – любимец ее, и мне себя она хочет показать в своей подлинной сути, впрочем, так, чтобы не стать явной пред другими. И она посылает мне свои знамения, говорит мне знаменательными формами, мне одному доступными, чтобы я знал, где надо насторожить свое внимание. Молодые животные, некоторые птички, малые ящерицы с прекрасными карими глазами, иногда маленькие зеленые лягушата, ну, и конечно, многие цветы так общались со мною. Минералы, различные природные явления в особенности многие цвета, запахи и вкусы были пронизаны глубинной энергией природы несравненно более животных и птиц, даже цветов, но в них эта напряженная и клокочущая мощь немотствовала, лишенная органа выражения. Она набухала, стремясь ко мне, как и во мне набухала по направлению к ней, но между нами всегда оставался прозрачный слой тонкой, но непробиваемой изоляции, и стремление к мистическому разряду никогда не удовлетворялось до конца. Всегда я чувствовал себя несытым своим зеленым цветом, своими искрами, своим запахом и шумом моря.

Знаменательными и потому особливо таинственными бывали разные, полууловимые признаки. Но были, кроме того, и целые классы природных форм, волнующие, всегда желанные, всегда

вызывавшие стремление охватить их изнутри, проникнуться ими и самому им уподобиться, конечно, не внешне, а в каких-то недрах глубинной воли. «Ах, почему я не та форма?» Или: «Ведь та форма – это я», – между двумя этими формулировками неустойчиво колебалось тогда мое чувство.

Многие из форм мне нравились в природе, многими я любовался, но брало за сердце и волновало до глубины далеко не все, и мне думается, не только сейчас, задним числом, но и тогда я достаточно точно устанавливал в слове свою внутреннюю потребность.

Вот что я говорил себе.

Внутренне приковывают меня к себе формы определенные, ограниченные упругими поверхностями, упругими линиями. Я ищу проработанности форм, но черствость их и засушенность отчуждают их от меня, как отчуждает их и слишком большая нежность, ухищренность, сложность. В растениях мне наиболее привлекательны прямые линии или незаметно, мало изогнутые, но и те, и другие должны быть упругими; малейший перехват либо в сторону черствости и механической правильности – как палка, либо, напротив, – в мягкость, одрябление или кокетливое склонение – и все очарование прямой бесповоротно исчезло, сделав ее в одном случае – скучной и мертвой, а в другом – какой-то липкой и гадкой. Естественно, эта упругость прямизны должна держаться и выражаться соответственным строением, в котором явно преобладает направление по самой линии, так что линия представляется плотно связанным пучком продольных волокон. В растениях вообще меня волновала эта их волокнистость, особенно когда она и на поверхности выражалась тончайшими каннелюрами стебля, как, например, хвоща, у некоторых водяных растений, у лилий, или же зримой структурой продольно-вытянутых клеточек с серебрящимися между ними продольными же воздушными пузырьками, как у стеблей водяных лилий, многих луковичных и других. Эта же упругая вытянутость определяла чаще всего и мои влечения к птицам и животным.

Тоненький и длинный, упругий клюв вальдшнепа, еще более тонкие и еще более вытянутые клювы колибри, такие же клювы и ноги аистов, журавлей, куликов, вообще голенастых, едва ли не были главною причиною моей духовной близости к ним. Поэтому же я любил джейранов, газелей, оленей, ланей – за их тонкие ножки и упругую шею. Когда я чувствовал в поверхности, ограничивающей некоторое тело, естественную поверхность равновесия упругих сил всего организма, когда внутренним взором видел, как ее, упругую, выпячивают внутренние силы и она, скажу теперешними словами, решает задачу на минимум,

тогда и во мне что-то набухало ответно, и я ощущал ее как свою поверхность и себя – как ее содержимое: такова была, например, поверхность некоторых раковин. Меня волновала сдержанная мощь природных форм, когда за явным предвкушается беспредельно больше – сокровенное. В упругости форм я улавливал turgor vitalis[9], жизнь, которая могла бы проявиться, но сдерживает себя и лишь дрожит полнотою. Упругий стебель водяного растения, упругие лепестки белых лилий, упругие темно-синие бубенцы полевых гиацинтов, упругие капли росы, собравшиеся на волосистых листьях манжеток, упругие выпуклости раковин, упругая шея джейрана и карабахской лошади и бесчисленное множество других, гибких и вместе исполненных внутренней силы форм волновали меня до щекотания в сердце именно как откровение самой творческой мощи природы. Вещь как таковая, уже всецело выразившаяся, мало трогала меня, раз только я не чувствовал, что в ней нераскрытого гораздо больше, чем ставшего явным: меня волновало лишь тайное. Я чрезвычайно любил бутоны и почки, но роскошная красота на своей вершине принималась мною несколько с таким оттенком, с каким относятся взрослые к тряпичным цветам. Да, роза прекрасна, но она вся тут, она не волнует неразгаданностью, и жизнь, ее произведшая, дошла в ней до вершины и теперь иссякает. Роза явна и потому не таинственна. Так и всякая другая вещь – волнует, пока в ней чувствуешь бутон другого бытия; а когда она – сама по себе, чувственно данная, она слишком понятна и потому не приковывает к себе.

У меня всегда было определенное ощущение, что подлинно знаменательное скромно и прячется, тогда как в откровенной красоте великолепных магнолий, роз, тюльпанов и т. д. есть что-то такое, от чего приходится конфузиться за них. И я предпочитал фиалку, скромный, хотя и священно пурпурный цветок, спрятавшийся под кустами среди собственной зелени, опять-таки скромную и малодоступную незабудку. Верхом же привлекательности был, почти мифически, в моем сознании, ландыш, который я знал больше из рассказов тети Юли и рисунков и позже – по садовым его экземплярам. Иногда находил я в лесу ландышевые листья и, в восторге от тончайшего строения их жилок, всех параллельных между собою, целовал их. Моею мечтою было найти растение в цвету; но в окрестностях Батума цветение ландыша происходит, вероятно, так рано, что мои поиски никогда не достигали цели.

Впоследствии мои чувства к розе и другим растениям роскошного вида изменились; но не потому, чтобы изменился

характер внутренних моих требований, а – в связи с открывшейся мне незавершенностью и розы. Может быть, самые восприятия мои стали менее сильными, так что эта преизбыточная роскошь красок и запахов и утомительная красота обеднели в моих глазах и сделались скромнее. Но, во всяком случае, она потеряла свою пышную самодовлеемость и стала бутоном иных возможностей и иной полноты.

Точно так же и в других областях: мои восприятия и сами по себе были слишком яркими для того, чтобы яркое и преизобильно роскошное давало мне удовлетворение. Конечно, многое может быть занимательным, многое хочется узнать и увидеть, но совсем вплотную мило лишь скромное. Птичка, может быть несуществующая, светло-коричневого цвета, как кофе с молоком, с голубою головкой прыгала передо мною в воображении как образ этой заветной скромности.

Моему сердцу мила была незаметность, тихость, смирение. А вместе с тем и вопреки тому душою влекся тут же я к экзотическому, хотя и тут с чем-то соответствующим этой скромности. Мне всегда хотелось жить среди возможно простой обстановки, окруженным скромною природой, но имея где-то поодаль природу тропическую. Отчасти в этой двойственности отражается горный пейзаж, где суровая и пустынная нелюдимость высот почти касается субтропической флоры. Не таково ли и место моего рождения Евлах, где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскошной жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами? Но, скорее, в этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг, через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению.

Так вот, в то время, как передо мною скакала та коричневая с голубым птичка, я страстно и почти болезненно мечтал о колибри, и мне казалось, может ли быть лучше удел, как поцеловать живого колибри, – больше всего я любил эльфа, как за малость его и несколько смешной нахохленный вид, так и за самое название, – и умереть. Я жадно выспрашивал у всех малейшие подробности об этих очаровательных птичках, бесчисленное множество раз смотрел имевшиеся изображения их и с горечью помнил, что их держать в неволе не удавалось, что сироп, которым их кормили, засахаривался в их маленьком желудочке и убивал их и что поэтому нет надежды увидеть мне их живыми. Тогда я умолял поверенную моих желаний, тетю

Юлю, приобрести чучело колибри. А для того, чтобы мотивировать это приобретение, я просил ее посадить колибри на шляпу, – чего, впрочем, мне и на самом деле хотелось по моему увлечению нарядами. Долго приставал я, всячески доказывая необходимость такого украшения на шляпе. Наконец папа сказал, чтобы выполнили мое желание. Было уже довольно поздно и несколько холодно, т. е. по батумскому климату, когда мы с тетей отправились за вожделенной покупкой. Кажется, это была поздняя осень или зима. В Батуми было тогда еще порто-франко, и потому в убогих батумских магазинах продавались весьма изящные и добротные заграничные товары. Среди большого выбора шляпных чучел колибри глаза мои разбежались, я выбирал то ту, то другую птичку, потом откладывал обратно и снова выбирал, пока, наконец, не стало темнеть и пришло время запирать магазин. Несколько недовольная моей нерешительностью тетя Юля, наконец, помогла мне сделать выбор и расплатилась за довольно дорого стоящую покупку. Птичку завернули, слегка загнув с обеих сторон бумагу, чтобы не смять ее. Покупки тетя мне не хотела давать, опасаясь, что я сомну ее, но я так умолял дать ее нести мне, что тетя уступила, предупредив лишь еще раз о том же и показав, как надо нести воздушный пакет за один край, чтобы не повредить колибри. Я вцепился в этот край и добросовестно выполнил все предписания. Но когда, пройдя некоторое расстояние, тетя захотела проверить, не мну ли я птички, оказалось, пакет развернулся снизу, птичка выпала, а я старательно нес пустую бумагу. Я так огорчился этой потерей, что даже не заплакал, а тетя огорчилась за меня. Мы пошли обратно, но было темно и сыро, птички, конечно, не нашлось. Этот случай нанес душе моей рану, одну из тех, что не заживают никогда, хотя бы о них сознательно и забыли мы. Мне уже больше не хотелось даже покупать нового колибри, и предложение в этом смысле мною было отклонено, даже говорить о колибри было мне тягостно.

Несколько лет спустя папа прочел где-то объявление о вышедшем в Париже роскошном цветном альбоме колибри и, вспомнив, как замирал я, расспрашивая об этих птичках, ничего не сказав, выписал этот альбом и подарил мне. Альбом был, действительно, замечательный. Но моя полузабытая рана в сердце была так болезненна, что альбом оставил меня холодным и я запрятал его куда-то подальше. Еще через несколько лет, в третьем или четвертом классе гимназии, одноклассник мой, Володя Эрн, как-то попросил у меня какую-нибудь книгу с картинами для срисовывания. Я дал ему тогда альбом колибри, но уже обратно его не получил, несмотря на просьбы.

Подозреваю, что, страстно увлеченный тогда курами, Эрн превратил моих колибри в кур. Тогда я даже не жалел об этом альбоме, и только теперь, когда с каждым днем возвращаются впечатления детства, снова он стал вспоминаться. Но так уж мне в жизни не повезло с этими птичками, в которых было для меня самое острие изящного.

У меня осталось такое ощущение от детства, что я, собственно, никогда, или почти никогда, не приходил в состояние спокойное; целый день меня не оставляла экстатическая приподнятость, когда я либо говорил без умолку, за что у Лизы тети в деревне крестьянские девушки называли меня по-армянски «цицернак», т. е. ласточка, либо во мне все пелось и распускалось в экстатических звуках. Едва ли эти состояния были заурядною живостью всякого ребенка. По-видимому, в моем мозгу происходило что-то, если и не неладное, то, во всяком случае, необыкновенное, что причиняло мне немало страданий. Я хорошо помню с раннейшего детства начавшиеся и прекратившиеся лишь лет десяти, если не ошибаюсь, головные боли, которые можно отчасти сравнить с сильной мозговой усталостью в конце длительной и напряженной умственной работы. Вероятно, это были сильные притоки крови, притом именно к задней, нижней части головы, и я старался найти себе облегчение от этой боли и тяжести довольно частым запрокидыванием головы и прижиманием на мгновение затылка к шее; мне кажется, это мое движение несколько напоминало характерный рефлекс при менингите.

Нелегко ходить с такой головою, и, если бы не мой всегдашний восторг и интерес к бытию до самозабвения, вероятно, я бы непрестанно хныкал от своей боли. Бедного папу всегда беспокоило мое здоровье, и по многу раз в день он ощупывал мой лоб, нет ли у меня жару, и неизменно спрашивал: «Не болит ли головка?» Но и его ощупывание, и его вопрос были излишними: голова у меня болела, и я старался только забыть об ней, а жар тоже был почти всегда, от малярии, которой страдало все семейство, начиная от папы. Я уже не знаю, были ли у меня приливы крови к голове от моей всегдашней внутренней взволнованности или, наоборот, самое возбуждение усиливалось притоками крови. К тому же мы все, не только наше семейство, но и все знакомые, сидели в Батуме на хинине, поглощая его банками, и едва ли это могло не отражаться на общем самочувствии.

Но от чего бы то ни было, а все из области природы меня интересовало, не давая уму ни минуты отдыха. Сколько раз в день, бывало, влезу я на перила балкона, и, держась за

деревянный столб, исследую снова и снова хорошо уже рассмотренное лавровишневое дерево возле балкона и в тысячный раз глажу и прикладываю к лицу его словно лакированные темно-зеленые листы, жую их, думаю о том, как из его черных ягод делаются капли, нюхаю цветочные кисти и нахожу в их запахе сходство с горьким миндалем. Потом такому же обследованию подвергаются растущие у нас на балконе в ящиках большие апельсиновые и лимонные деревья с недозрелыми еще плодами и белыми, любезными мне цветами. В подобных занятиях проходит, как мне кажется, много времени. Потом я принимаюсь за исследование привлекательное, как и рискованное: внимательный осмотр зияющих черными эллиптическими отверстиями червоточин в балконных столбах. Уже давно сообразил я, что эти темные отверстия имеют тайный смысл, и потому мимо ушей пропускал разъяснение взрослых, будто их выедают какие-то червяки. Одна из нянюшек (впрочем, вспоминаю, это была Люсина няня, пожилая вдова, по имени Софья, а по фамилии Романова; она сказала нам, что муж ее, как Романов, был царем, и мой полускептический вопрос, почему же она живет в няньках, не изгладил во мне впечатления от ее слов), – так вот эта самая нянька, желая отвлечь меня от червоточины, сообщила, что там живет бука. Конечно, я ей сразу поверил, ибо и сам пришел к такому заключению, только не знал имени таинственного существа, но, конечно, лишь усилил свою внимательность к обиталищу этого буки.

Иногда выходила на балкон тетя Юля пересаживать растения или насаждать их в длинных ящиках, устроенных по распоряжению папы кругом всего дома, по перилам балкона. Тетя любила копаться в земле с цветами, а я – ей помогать: меня интересовали корни растений, молодые побеги, прячущиеся в земле, прорастающие семена, и приводила в ужас, хотя и без позднее развившейся брезгливости, копавшаяся в земле медведка. Но это отдельные впечатления. Они умножались и обострялись, когда я попадал за город. Папа любил и считал полезным устраивать нам целодневные прогулки по окрестностям Батума. Нанимался фаэтон, иногда два, делался запас провизии и, главное, столовых принадлежностей, и мы с волнением катили по одному из шоссе. Наиболее любимым и наиболее часто посещаемым местом таких прогулок была первая станция строившейся отцом моим Батумо-Ахалцыхской шоссейной дороги – Аджарис-Цхали. // Дорога идет сперва неподалеку от морского берега, плоского, пустынного – это хорошая подготовка к последующему богатству и отвесным скалам Аджарского ущелья. Но и этот пустынный кусочек в 2–3 версты не лишен

занимательности для нас. Вот невдалеке от дороги виднеются хижины, крытые сухими кукурузными стеблями, и из тех же стеблей на деревьях целые стога округлой формы, словно гнезда исполинских ос. Эти хижины и эти скирды кукурузы принадлежат негрской колонии, расположившейся около Батума. К нашему удовольствию, рослый негр, почти великан, или женщина-негритянка с младенцем у черной груди и другим негритенком, цепляющимся за руку или за подол, пересечет дорогу и с любопытством остановится возле нас. В них мне чувствуется кротость богатырей и открытость в природу, которая впоследствии стала мучительно искаться мною. Черный цвет их меня нисколько не смущает, я только соображаю про себя, ваксой ли или тушью мне придется краситься, если я поселюсь среди них. Как странно: в детстве мне чуждо ощущение близости к людям чужим, кроме очень немногих. Но при таких встречах протягиваются нити симпатии.

Едем дальше. Вот речка, с которой начинается дорога под управлением папы и первый на этой дороге им построенный мост. Мы гордимся, что папа строит мосты, и на этом основании считаем их своею собственностью, и потому вместе с папой должны осмотреть его хозяйственным взглядом, все ли там благополучно. Папа останавливает фаэтонщика, упирая ему в спину палкой, – почему-то все уверены, несмотря на гуманные идеи, что иначе фаэтонщик не услышит. Мы бросаемся под мост поплескаться в прозрачной, текущей по песку воде, – хотя пить ее нам строго воспрещается, вылавливаем лягушечью икру или головастиков, смотря по времени года, и, конечно, это во всякое время, подбираем со дна хорошенькие витые черные ракушки. Мы бы остались с охотой и еще, но нас торопят, садимся в экипаж и затеваем с Люсей ссору, если не успели ее устроить при выезде, кому сидеть на неудобной, передней скамеечке, которая представляется нам местом почетным и самостоятельным, а кроме того, имеет преимущество обсервационного пункта. Папа рассказывает нам о развитии лягушечьей икры или о выплавке меди из медного колчедана, по поводу огромных куч, расположенных вдоль дороги. В этих курганах из колчедана, распространяющих запах сернистого газа, – я давно уже усвоил всю эту химию, – выгорает сера, а образующаяся медная окись, как я узнал, будет впоследствии восстановлена углем. От папы я научился тоже сожалеть о разлетающемся сернистом газе, из которого можно было бы сделать занимающую меня серную кислоту и без огня сжечь ею тряпку. Я знаю также, что добыча колчедана производится тут же неподалеку, и внутренне горжусь, что наш, я бы хотел сказать, **мой** Батум не лишен настоящей

руды, т. е. какой-то связи с подземным миром. Втайне я вывожу отсюда и дальнейшие последствия, что раз есть руда, то есть или могут быть подземные шахты и коридоры, вводящие в самую преисподнюю, а затем и сталактитовые пещеры; на заднем же фоне всего этого виднеется и несколько туманная пока возможность встречи с гномами. И еще более волнует меня рассказ папы о золотоносном песке. Я, конечно, хорошо помню поход аргонавтов к устьям Фазиса в Колхиду за золотым руном. И давно также я твердо себе усвоил, что эти «мифические места» – именно те, где мы живем, и что, следовательно, миф столь же реален, как и сам я, и наша Колхида. Фазис – это нынешний Рион, и знал я также, что доселе стоит скала в Рионском ущелии, на которой был распят Прометей. Кстати сказать, родители мои тут, кажется, дали маху, изолировав меня от церковного учения и сказок, как еще живущих, они легко относились к античной мифологии, вероятно, считая ее безнадежно умершей. Последствием же такой оплошности было то, что я чувствовал себя древним эллином яснее, нежели русским, и фавнов, и нимф любил и знал больше, нежели леших и русалок.

Итак, греческий миф мне был близок, а земля, по которой я ходил, пропитана испарениями античности. Относительно золотого руна я знал от папы, что в древности (а это слово казалось мне наполненным тем же таинственным мраком, что и пещеры, и потому было так же волнительно) пески колхидских рек, в том числе Риона и Чороха, были золотоносны и остаются такими доныне, т. е. до меня; а добыча золота производилась промывкою золотоносного песка над овечьей шкурой. Когда кудрявая подстилка напитается застрявшими в ней золотыми крупинками, ее сжигают, а золото остается. Вот за этим-то золотым руном и приезжал к **нам** некогда такой герой, как царь Ясон. Как же **было** не гордиться своей страной? – приезжал ведь почти что прямо ко мне. Правда, было тут и некоторое преткновение в виде злой волшебницы Медеи, которою наградила в придачу к руну тоже наша Колхида. Но Медея внушала мне неприязненное чувство за обман отца и расправу со своими детьми, и в своих мыслях я старался миновать ее образ. Так говорил нам папа, около Артвина, то есть верстах в тридцати от Батума по течению Чороха, добывается золото с помощью такой шкуры, однако содержание золота в песке весьма незначительно. Как раз около этого времени золотоносные реки Чороха подали мысль каким-то двум ловкачам сделать дельце: они привезли из Сибири золотоносный песок, отчасти уже промытый, т. е. с очень высоким содержанием золота, и подсыпали его в определенном месте к песку Чороха. Была назначена их происками комиссия,

которая должна была поверить в чорохские золотые прииски и, следовательно, способствовать продаже их по соответственным ценам. Но обман был легко обнаружен, потому что песок, насыпанный в какую-то яму, был явно сибирский и не находился на берегах Чороха. Как-то был причастен к этой комиссии и папа. После расследования он привез мне с этого места подсыпанного магнитного железняка с мелкими блестками золота. Мне очень нравился этот угольно-черный песочек, из которого я извлекал булавкой крупицы золота и сам блистал в своих собственных глазах заимствованным блеском золотопромышленности. Хранился он у меня в деревянном футляре от термометра, откуда я по временам высыпал его на лист бумаги и смотрел, как он притягивается магнитом. Разоблачение описанного обмана мне не нравилось. Во-первых, моя мысль не вмещала мошеннических проделок, я не понимал корыстной стороны всего этого дела, и оно представлялось каким-то недоразумением. А во-вторых, огорчительно было, что папа сомневается в настоящей золотоносности нашего Чороха, конечно, несомненной, раз издалека к нам приезжал Ясон. Миновав это все еще остававшееся для меня под вопросом место неудавшихся приисков, дорога поворачивает в узкое ущелие Чороха и идет над отвесным, скалистым его берегом, тогда как с другой стороны дороги высятся скалы и лесистые горы. Такие же горы подымаются на другом берегу Чороха. Любо было видеть, как туманно-голубые во влажной батумской атмосфере Аджарские горы на наших глазах, по мере приближения к ним, синели, затем начинали чернеть и, наконец, оказывались зелеными или черно-зелеными, если это не была зима, тогда как на вершинах их долго держались сверкающие снега и почти всегда по утрам и по вечерам клубились туманы. Отвесные скалы во многих местах прикрыты чистейшими белыми вуалями водяных брызог и пены от бесчисленных ручьев, падающих сверху и разбивающихся с такою силою, что воды не остается и в помине.

Я особенно любил великолепные базальты с их вертикально стоящими шестигранными призмами, черные и еще более чернеющие от влаги. Высоко, так высоко, что и голову не закинешь, подымается почти отвесная широкогрудая лестница базальтовых столбов, с четко срезанными вертикальными гранями и точно горизонтальными шестиугольными площадками. И вся эта огромная поверхность во всю свою высоту и ширину задернута прозрачной нежно-белой водяной тканью и дышит прохладой и чистотою.

1923.IV.21. Столбчатая отдельность базальтов проявляла мне,

как я чувствовал, внутреннее строение скал и перекликалась с моими любимыми кристаллами. Когда не удавалось добраться до строения и какой-либо материал стоял пред глазами слитной массой, чувствовалась стена, отделяющая от природы, каменная стена тайны. Напротив, всевозможные отдельности, слоистости, порядок и ритм показывали доверие природы и радовали – не рациональностью, ибо что ж тут рационального, когда их самих нужно объяснять, а именно доверием, открытым пульсом жизни природы. На Аджарском шоссе я с детства приучился видеть землю не только с поверхности, айв разрезе, даже преимущественно в разрезе, и потому на самое **время** смотрел сбоку. Тут дело совсем не в отвлеченных понятиях, и до всего, указываемого мною, чрезвычайно легко подойти, руководясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся спервоначала и по-своему сложивших всю мысль привычках ума: известные понятия, вообще представляющиеся отвлеченно возможными, сделались во мне необходимыми приемами мышления, и мои позднейшие религиозно-философские убеждения вышли не из философских книг, которых я, за редкими исключениями, читал всегда мало и притом весьма неохотно, а из детских наблюдений и, может быть, более всего – из характера привычного мне пейзажа. Эти напластования горных пород и отдельности, эти слои почвы, постепенно меняющиеся, пронизанные корнями, этот слой дерновины, их покрывающей, кусты и деревья над ними – я узнал о них не из геологических атласов, а из разрезов и обнажений в природе, к которым привык, как к родным. В строении моего восприятия план представляется внутренне далеким, а поперечный разрез – близким; единовременность говорит и склонна распасться на отдельные группы предметов, последовательно обозреваемые, тогда как последовательность – это **мой** способ мышления, причем она воспринимается как единовременная. Четвертая координата – времени – стала настолько живой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось уютным и замкнутым, приблизилось к вечности. Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила основной характер его – стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали.

Отвесная скала слева, отвесная крутизна справа над стремительно несущимся Чорохом. Узкая дорога идет, как по полочке, и мое сердце то сжимается ужасом, что вот немножко повернут лошади в сторону и мы окажемся в Чорохе или что я как-нибудь упаду в эту пропасть, – то расширяется жадным рассматриванием теплых скал, усеянных шустрыми ящерицами.

Помню, один раз я зазевался на них и вывалился из экипажа, да так незаметно, что старшие не обратили на это внимания и отъехали некоторое расстояние, прежде чем хватились меня. А я лежал на дороге и, несмотря на порядочный ушиб ноги, наблюдал своих ящериц. Ради этих ящериц папа довольно часто останавливал экипаж или экипажи, и мы вылезали ловить милых зверьков. Но чаще всего эта ловля кончалась для них плохо, потому что ящерица, освободив себя от схваченного нами хвоста, убегала. Хвост же делался нам вдруг противным вследствие наших угрызений совести, хотя было занятно, но неудивительно, смотреть, как бьется он, сгибаясь кольцом то в одну, то в другую сторону. Твердо запомнились мне слова старших, что он будет биться до захода солнца, и мы уезжали далее, оглядываясь назад на бьющийся хвост.

Пропасть Чороха сама по себе должна была быть занятной. Уж одно то, что в дальнейшем своем течении Чорох был русско-турецкой границей, должно было привлекать к нему внимание. Быстрым течением этой реки стремительно несло плоты и многочисленные фелюги, нагруженные фруктами, маслинами, маслом, медом. Даже страшно смотреть было: длинная фелюга почти падает прямо на обломок скалы в реке, и гибель узенькой, как стручок, скорлупки кажется неизбежной; но в роковой момент столкновения фелюгщик отталкивается от скалы шестом и, только что был на волосок от смерти, проносится мимо. И маленький, я понимал, в каком напряжении и готовности к смерти надо быть часами, чтобы сплавить свой груз до устья. Назад же предстоит томительный путь, столь же медленный, сколь тот был быстр, и столь же требующий терпения, сколь тот нуждался в бдительности; пробираясь среди побережных скал и по камням, волоком тащит на шерстяной веревке свою фелюгу владелец. Наяву я сам не сознавал, как сжималось от этого Чороха и его грозного по звукам имени мое сердце. Но зато во сне, может быть в связи с каким-то мозговым процессом моей головы, каждую или почти каждую ночь просыпался я от мучительного видения. Наглядным материалом сонной фантазии послужили в нем впечатления от Чороха, а исходным ядром образования – душевная рана, полученная в самом раннем младенчестве от моего падения с высокого берега Куры, где внизу купались мама и тетя. Крик мамы при виде того, как я качусь по откосу, причем подхватила меня только у самой воды тетя Ремсо, самое падение – все это врезано в мой организм, и мне безразлично, будут ли или нет верить, что я помню это, – настолько ярко и мучительно напоминал о себе этот случай в течение всего моего детства. Видел же я вот что: мы с папой и

тетей Юлей едем по Аджарской дороге, или, чаще, я один, совсем маленький, плетусь по шоссе. Все залито знойным светом, и душно. Слева – высокая шоколад-но-бурая скала, раскаленная солнцем, она вся заткана тончайшей паутиной и почти сплошь покрыта бесчисленными, только что вылупившимися паучками, немного поболее булавочной головки; большинство их ярко-красного цвета, как артериальная кровь на сильном солнце, а есть также ярко-желтые и ярко-изумрудно-зеленые. Паучки эти бегают взад и вперед, а у меня ощущение, что **как-то** они у меня в голове. Теперь, вчувствываясь в этот доселе стоящий пред моими глазами сон, я определенно знаю, что красные паучки были какой-то проэкцией притока крови в мозговые капилляры, а желтые и зеленые – имели отношение к каким-то мозговым клеточкам или центрам;

наконец, горячая, шоколадного цвета скала проэцирует во сне внутреннюю сторону моего черепного свода. Говорю же это я, не рационально толкуя сновидение, а по непосредственному ощущению, ибо я сейчас вижу каким-то другим зрением внутреннюю картину своей анатомии и вижу, как она облекается символическими образами, витающими предо мною в пространстве ином, нежели пространство чувственных восприятий. Однако все описанное доселе есть только обстановка. Суть же сновидения в том, что по правую руку от дороги, по которой я иду, – отвесный берег реки, в которой тонет мама и кричит не своим голосом, а иногда сюда присоединяется еще и тетя Юля, тоже тонующая. Мне смертельно жаль маму, я силюсь помочь ей, но не в силах двинуться – словно связан, спеленут по рукам и по ногам, а кого-нибудь другого тут нет или же они не слышат ни криков мамы, ни моих порывов, – говорю, порывов, потому что и сказать им я ничего не могу. Маму я, собственно, не вижу, а только слышу ее, главное же – непосредственно знаю, что она там внизу. На этом мучительном чувстве беспомощности и полной невозможности помочь, обливаясь слезами, я каждый раз просыпался. Почему-то этого сна в детстве я никогда никому не рассказывал, несмотря на упорное старание взрослых добиться, о чем я, собственно, плачу и чего я испугался. **Я** ощущал виденное во сне настолько в каком-то **своем** смысле реальным, что, казалось, одно слово о виденном – и та реальность прорвется сюда, в эту жизнь, угрожая маме. **Я знал** про себя, что от малейшего моего намека должно произойти что-то бесповоротное и губительное, притом именно в отношении мамы, и потому держал на запоре – своим молчанием – сонную угрозу.

Так фаэтон катил над грозным обрывом, а на другой стороне дороги со скал били холодные ключи и свисали яркие цветы.

Правая сторона дороги была защищена каменной стенкой. Вдоль стенки, на правильных между собою расстояниях, стояли пологими конусами кучи щебня. Иногда попадались рабочие, греки или персы, разбивавшие молотами булыжник. Иногда папа останавливал палкой фаэтонщика, чтобы осмотреть заготовленный щебень. Куча промерялась особым наугольником, затем разметывалась с целью проверки, не содержит ли она в себе земли. При этом разметывании кучи я тоже бросался осматривать щебень, разыскивая интересных минералов, и нередко находил жеоды агата или сердолика, искрящиеся друзы горного хрусталя, дымчатого топаза или бледных аметистов в кварцитах, занимавшие меня куски фосфорита, при трении друг о друга издававшие фосфорный запах и светившиеся в темноте, включения колчеданов. Затем мы бросались испить от холодного хрустального ключа, бьющего из скалы, и нарвать цветов, за которыми приходилось лезть на скалы. Но нас уговаривали оставить это до обратного пути, чтобы цветы не повяли. Следовали дальше.

Уже с нетерпением считаем версты на столбах. Вдруг ущелие расширяется – ощущение, как если бы пробку проталкивал в бутылку, и вдруг она провалилась. Это станция Аджарис-Цхали, узел двух ущелий и место впадения в Чорох реки Аджарис-Цхали. Отсюда одна дорога, по мосту переходя Чорох, идет по ущелию Чороха – на Артвин, а другая, по Аджарскому ущелию, – на Ахалцых. Папа, собственно, строил Батумо-Ахалцыхскую дорогу, а Артвинскую – наш знакомый инженер Пассек. Но мост через Чорох – папиной постройки. Я помню, раньше тут был паром на каюках, и, приезжая в Аджарис-Цхали, мы обязательно совершали паромную переправу на другой берег – жуткое удовольствие ощущать, как паром, увлекаемый стремительно-мощным течением, кажется, вот-вот сорвется с каната. Потом, на моей памяти, стали свозить в Аджарис-Цхали большие железные трубы, фермы, бочки цемента, лебедки и краны, а к одному из приездов появился и мост; но он отнял **что-то** от дикости нашего Аджарис-Цхали и лишил нас парома.

Мы прочно считаем Аджарис-Цхали **своим** поместьем, гораздо более своим, нежели батумскую квартиру. Тут все уже поделено между мною и Люсей. Речка при въезде в Аджарис-Цхали – **моя,** и взрослыми называется не иначе, как Павлина речка. Она стала моею, когда Люся была еще совсем мала и не стремилась к собственности. Но в одну из поездок, услышав о Павлиной речке, Люся вдруг сообразила усмотреть здесь обиду для себя, раскапризничалась, как она вообще умела капризничать. Ее еле успокоили, сделав компенсацию из ручья,

протекавшего несколько далее, за Аджарис-Цхали. Правда, этот Люсин ручей был менее Павлиной речки; но, я помню, у него оказались какие-то свои достоинства, так что мне стало завидно.

Оба этих горных потока впадают в реку Аджарис-Цхали, протекая по сравнительно небольшим ущелиям. А между ними, на пригорке, стояла каменная двухэтажная инженерная сторожка для остановки проезжающих. В нижнем этаже жил чрезвычайно преданный папе, как и все папины подчиненные, сторож Ахмет, а в верхнем – было две или три комнаты, разделенные коридором. Мы считали эту сторожку собственным нашим домом, т. е. не отца своего, а нашим, детским, и одна комната была моя, другая – Люсина. Приехав, располагались в этих комнатах гораздо свободнее, чем дома: ведь дома нужно было соблюдать порядок, не разводить грязи, а тут, в почти пустых комнатах, можно было делать все, что угодно. Раз или два за все время какой-то проезжающий инженер остановился в одной из этих комнат. Хотя он весьма скоро уехал, но нашему внутреннему негодованию и ревности не было конца. Мы не могли понять, как смеет «какой-то чужой человек» располагаться в нашей сторожке и почему папа, столь внимательный ко всем нашим прихотям, не примет мер, чтобы удалить незваного гостя. Мое негодование смягчалось только тем, что занята была Люсина комната, а не моя.

Нас встречал приветливый к нам Ахмет, которого мы очень любили. Он был аджарец. Это – народ картвельской группы, весьма близкой к грузинам, населяющий долины Чорох и Аджарис-Цхали. Находясь то в пределах Турции, то на границах ее, это племя, когда-то христианское, издавна перешло в магометанство, но не стало, как случается с ренегатами, фанатиками новой веры. Почти поголовно разбойники, они в то же время скрытны, умеренны и, как все разбойники, знают чувство преданности. По Батумо-Ахалцыхской дороге редко кому удавалось проехать в то время, не будучи ограбленным, несмотря на сопровождение стражи и на оружие. Даже поездка в Аджарис-Цхали в те времена, т. е. в восьмидесятых годах, считалась далеко не безопасной, и многим такой пикник не проходил без большой неприятности. Но я, по крайней мере внутренне, радовался, что мои аджарцы защищают мои владения от непрошеных гостей. Несомненно, я, хотя и не зная этого названия, чувствовал себя феодалом, а со стороны аджарцев действительно не видел ничего, кроме знаков верноподданства. Это не было детским самообольщением; но это не было и столь само собою разумеющимся, как представлялось мне, ибо происходило в силу совершенно исключительных отношений этих аджарцев к моему отцу.

С ним на этой дороге ни разу ничего не случилось, даже встречи неприятной не было, и вещей с задка фаэтона у него никогда не отрезали. Между тем отец всегда отказывался от стражников, предлагавшихся ему властями ввиду опасности подобных разъездов, и не только не возил с собою, но и дома не имел никакого оружия: единственное, с чем он ездил, – была палка. Мало того, он не давал поблажек и требовал от служащих «добросовестного», как он обычно говорил, отношения к делу, и если усматривал противное, то по вспыльчивости мог сильно накричать.

// Он требовал абсолютной чистоты, и малейший признак неряшливости, грязи и беспорядка мог вызвать в нем приступ гнева, правда, очень кратковременного, но – до самозабвения. В частности, абсолютная чистота требовалась им и на всем протяжении шоссе. Он выходил из себя, заметив на шоссе сколько-нибудь пыли, немного земли, бумажку или щепки. Когда он еще кричал, рабочие претерпевали гнев, принимая его как должное; но высшей мерой гнева – уже нам непереносной – было другое – это молчание папы: выхватив метлу у ближайшего из рабочих, папа начинал усиленно мести сам и делал это довольно долго. Возможность этого знали и чрезвычайно боялись ее, рассматривая как свой позор. Однако, несмотря на все эти вспышки, все служащие были очень преданы папе за его справедливость, благожелательность и щедрость. По тесной клановой сплоченности всех аджарцев, преданность одних, служащих, обязывала к тому же и всех прочих. Сам того не зная, папа всегда окружен был стражей, готовой отстаивать его от малейшей неприятности, и даже те, посторонние, кого поручал папа кому-нибудь из служащих как своих гостей, пользовались тою же безопасностью. По-видимому, папа даже не вполне сознавал, под какою угрозою находился бы он, если бы не был признан горцами законным главою аджарского ущелья. Уже после кончины его, один из служащих приехал в Тифлис искать у отца места себе и, узнав, что его уже нет в живых, расплакался и стал восхвалять его. А затем он рассказал об этой охране его в Аджарии самими горцами и, в частности, вспомнил один случай, отцу моему оставшийся неизвестным: однажды он ночевал в сторожке на станции Хуло. Прослышав, что кто-то остановился на ночевку, окрестные разбойники явились шайкой сделать свое дело. Но их встретили бывшие тут служащие и объявили, что они не допустят даже разговоров, которые могли бы взволновать их начальника, и разбойники мирно разошлись по своим аулам. Рассказчик говорил мне, что без такого вмешательства отец тогда же не остался бы в живых.

Вот эта-то преданность отцу распространилась и на нас, и я ясно чувствовал себя владетельным князьком Аджарских гор.

Вышедший навстречу Ахмет вносил меня на руках по лестнице, а Люсю, если она тоже приезжала, нес сам папа. Умывшись холодной водой из ключа, мы, больше я, бежали в ущелие моей реки. В это время ставился самовар, варились крутые яйца и жарились на вертеле куры, неизменная принадлежность Аджарис-Цхали, и иногда – варилась в соленой воде аджарис-цхальская форель с красными пятнышками по бокам. Кроме того, неизменно же подавался Ахметом кукурузный хлеб – **чад,** мацони, т. е. особого вида кислое молоко, в глиняной чашке и лепешка местного сыру, весьма странного и до сих пор мне непонятного по своему сложению: он состоял из длинных упругих волокон, наподобие туго спрессованной кокосовой мочалки для мытья, и стоило схватиться за конец этих волокон, как сырная спираль разматывалась. Все это было очень свежее, а после поездки, двухчасовой или более, елось с большим аппетитом. Но мирность нашего завтрака каждый раз нарушалась делением адажарис-цхальской курицы. Большинство частей ее были именные, и нарушить права собственности представлялось нам почти в том масштабе, как теперь представляется нарушение международного равновесия. Малейшая невнимательность со стороны тети Юли или кого-либо еще из старших – и возникала угроза основам мировой справедливости. Это – не преувеличенный способ выражения: правовые понятия мои были абсолютными и, несомненно, были священными нормами. Тут дело – не в любимых кусках, а именно в сознании вековечных устоев священного права; уступить – я уступал охотно, но я не мог допустить невнимательности к порядку, который, казалось мне, коренится в существе вещей. Я – хозяин Аджарис-Цхали (остальные участвуют в этом только из-за меня), и было бы порухой моему владетельному достоинству легкое отношение к древним ритуалам, – а я ощущал себя незапамятные годы владеющим этим феодом, другого владетеля, казалось мне, у этих мест никогда не было, и, хотя я знал, что некогда родился и даже любил считать себя и называть маленьким, но в вопросах, подобных владению Аджарис-Цхали, отношению к родителям и т. д., определенно ощущал себя над-временным. Знаком моей вечной власти была аджарис-цхальская курица или куры. Некоторые части я и не любил, и, главное, считал невозвышенными. Но их как раз ценила Люся. Поэтому, когда ей давались куриные ноги, я нисколько не возражал, да и не посягнул бы на часть, принадлежавшую ей по праву; моими же были крылья, высушенные и поджаренные в пламени до полной

твердости. Я с удовольствием грыз их, особенно копчики, причем мне нравился запах подгорелого мяса и возвышенность названия: в моем делении вещей и явлений полет и крылья относились к разряду благородного и поэтического, о чем я никогда не мог подумать без трепета, тогда как ходьба и ноги – к житейскому и прозаическому. Владетелю Аджарис-Цхали, конечно, приличествовала хотя и тощая, но благородная часть, а вульгарная мясистость ног не делала их достойной пищей. Далее, Люсе принадлежала печенка, а мне желудок. В дряблом сложении печени и в ее жирности я ощущал нечто низменное, и даже когда за отсутствием Люси мне предлагалась и печенка, я отказывался от нее, как от чего-то ниже моего достоинства. Напротив, напряженная упругость желудка и определенность структуры его ткани свидетельствовали мне о достоинстве этой части. Конечно, тут значил нечто и вкус; но главными все же были соображения о достоинстве, может быть, и смутные, но метафизического порядка. Белого мяса мне хотелось, и, при случае, я ел его. Но так как ценил его я лишь в порядке вкусовом, метафизически же его достоинство не было мне ясным, то настаивать на грудинке я никогда себе не позволял: требовать метафизически безразличного и, следовательно, обнаружить свое стремление к еде как чувственному вкусовому предмету значило в моих глазах утратить свое священное достоинство и лишиться какого-то сана. Наконец, самый трудный вопрос дележа были яйца, не вареные яйца в скорлупе, а – из курицы. Мои интересы тут сталкивались с Люсиными. Правда, в обыкновенных крутых яйцах желток, как желтый, жирный и слишком материальный – рассыпается и мажется, – представлялся мне не из числа возвышенных предметов, не в пример белому, таинственно голубеющему и упругому белку. Ценил я лишь этот последний, тогда как у Люси был взгляд обратный, и потому мы обменивались нелюбимыми частями яйца. Но яичные желтки непосредственно из курицы, во-первых, – таинственны по самому происхождению. Эти яйца надо было разделить, начиная с наибольшего, одно мне, другое Люсе, одно мне, другое Люсе. Но трудность – кому первое. Конечно, я считал, что первое приличествует мне; но тут Люся нередко подымала скандал и тем получала желаемое, а я успокаивался тогда на мысли, что доставшиеся мне в виде компенсации самые мелкие яички в неопределенно большом числе и несут в себе самую тайну.

После завтрака, со всеми его подводными камнями, надо было приступить к наиболее важному – цветам. Выходили все, рассыпаясь в разные стороны. Позади сторожки была поляна. Теперь там густые насаждения субтропических кустов и деревьев,

сделанные папой. Помню, как в один из приездов мы нашли всю нашу поляну изрытой ямами, и среди них одна была особенно велика. Около сторожки лежали и стояли растения, привезенные, помнится, из Сухума. Папа распорядился о посадке этих растений при нас, и мы тоже посадили, каждый себе на память по дереву. Все насаждения были сделаны; общее недоумение возбуждала огромная яма, причем уже не оставалось непосаженным ни одного дерева. Тогда привезенный садовник, на дружный смех всех рабочих, вынес из сторожки еле видный саженец, который объявил кедром. Сад этот впоследствии пышно разросся, но кедр, несмотря на тщательную разрыхленную и заготовленную для него почву, не принялся.

Вот на этой-то полянке, и до, и после насаждений, мы начинали свои цветочные сборы, а оттуда, увлекаясь, шли и ползли далее, хотя это считалось не совсем безопасным, – кажется, из-за змей, которые выползали из-под всех кустов и, шелестя листьями, скрывались в сплошных зарослях.

Кто не видывал собственными глазами лесов Черноморского побережья, и в особенности аджарских, тому трудно дать представление о преизбытке растительной жизни, делающей здешние заросли сплошным клубком, сплетающихся между собой стволов, гибких стеблей, растительных плетей, веток. Растения тут громоздятся друг на друга; разные виды плюща снизу доверху обрастают стволы каштанов, ясеней, дубов, диких яблонь и груш и т. д. Но эти красивые, покрытые темно-зеленой мозаикой плющевых листьев стволы обречены на гибель, и можно видеть много деревьев, уже засохших и гнилых, стоящими, а то и упавшими от этого украшения. Между больших дерев – меньшие: жесткая зелень кавказской пальмы, или самшита, произрастающей здесь, стволы до пол-аршина толщиной поперечником, джонджали, хурма, разные виды алучи, мушмала, негнап.

По деревьям вьется виноградная лоза, все переплетено колючими и словно стальными стеблями салсапарели, ежевикой и другими вьющимися растениями. Они взбираются по стволам до вершины дерев и свисают оттуда мощными сплетениями, перебрасываются с дерева на дерево, перепутываются между собою, загораживают непроходимыми заставами все проходы. Пробираться сквозь эти лианы нет никакой возможности. Не видишь нечего, кроме таинственного зеленого полумрака, ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Не понимаешь, куда идешь, на что ступаешь. Под, ногами огромные, густые, пахнущие не то огурцами, не то сыростью, папоротники весьма различных видов, по сторонам везде задержки, и бесчисленные шипы вонзаются

так, что не сделать ни шагу. Если как-нибудь все-таки забрести в такой лес, то в нем пришлось бы погибнуть, несмотря на обилие растительной пищи. И мы, конечно, не осмеливались делать такие попытки, хотя с удовольствием собирали различные плоды и ягоды при входе в него. Лесной виноград, одичавшие яблоки и груши – вероятно, остатки старинных садов, ягоды салсапарели, ежевика, земляника и полевая клубника, хурма и мушмала, плоды которой называются на Кавказе «шишками», крупные ягоды шиповника, черника, каштаны, грецкие и мелкие орехи, буковые орешки, ягоды жидовской вишни и многое другое доставляли нам окраины лесных зарослей. Были там так же дикие абрикосы, очень вкусные, но почему-то считавшиеся вредными и нам почти запрещенные. В разные времена появлялись разные добычи, иные, вроде винограда, хурмы и шишек, были хороши лишь после первых заморозков, но зато держались на деревьях всю зиму. Наиболее же достойными внимания казались нам, в связи с далеким севером, березы и рябины, которые росли в горах и о которых сообщал нам папа. Грозди рябины после заморозков доставлялись нам из Аджарии и шли на варенье. Но плоды и ягоды считались нами за баловство, а **делом** были цветы. Они появлялись в Аджарис-Цхали и вообще в окрестностях Батума рано, приблизительно с половины января. Сперва крокусы, колхики: белые, розовые, сиреневые, иногда фиолетовые безлиственные вестники весны покрывали своими чашечками все поляны. Затем «молочный цвет», по выражению древних, подснежников, galanthus nivalis[10] и другой, двух видов, из которых с более крупными, но более грубыми цветами произрастал на болотах и был потому нам мало доступен, а другой – более благородный, по моей оценке, можно было находить и на сухой почве. Я волновался изысканным видом этих цветов с тремя осями симметрии, двойным рядом лепестков различной формы и тонким зеленоватым ободочком, в сочетании с белой краской всего цветка и желтыми тычинками казавшимся мне исключительно изящным. Принадлежность подснежников к луковичным, их трехосность, почти до флюоресцирующего самосвечения яркая желто-зеленость их листьев и стеблей, упругая сочность всех растений, всюду упругих, тонкая перепонка на цветочной стрелке, застенчивая опущенность цветочного венчика, свисающего колокольчиком, наконец, первое появление его после зимы, хотя и слишком недолгой в нашей Колхиде, – все делало этот цветок мне родным. Другой же вид, более пышный и менее упругий, я признавал лишь за сходство с этим.

1923. IV. 24. Начиная с поздней осени и до ранней весны по

Аджарской дороге находили мы рождественскую розу. Этот крупный и грубоватый цветок, с жесткими лепестками, без запаха, казался скорее занятным, нежели привлекательным, по своему названию и странному, грязно-бледно-зеленому цвету своих лепестков, тычинок и пестика. Странно было видеть цветок, малоотличающийся по окраске от листьев и стебля; вид его и цвет были совсем ноябрьскими – хмурые, угрюмые, враждебные. Сюда присоединялась еще его ядовитость. Он был для нас цветком зимы. Напротив, о наступлении весны мы узнавали по фиалкам и цикламенам. Обыкновенно старались не пропустить первого появления этих цветов, всегда распускавшихся вместе. Отправлявшимся по дорожным делам служащим папа наказывал посмотреть, не распустились ли они, и оповестить, когда это случится. Получив эту весть, папа объявлял нам: «Фиалки и цикламены распустились», – вероятно, не менее торжественно афинского жреца, провозглашавшего наступление весеннего праздника цветов – анфестерий, и это значило: на днях едем в Аджарис-Цхали. Бедный папа. В своих заботах о семье ведь он восстановлял культ ларов и пенатов, только обратно – из прошлого в будущее; а в любви к природе – тоже древнее культовое отношение к ней. Я радовался цикламенам, потому что казалось нарушением всякой правды не восхищаться этими нежными розовыми цветами, иногда красными, иногда сиреневыми, – с тонко проработанной окраской их лепестков, с красными хрупкими цветоножками, со странными сердцевидными листьями и еще более странными, несколько приплюснутыми в виде апельсина клубнями. Серовато-зеленый цвет листьев, их красный испод, тончайшая зернистость лепестков и листьев, искрившаяся на солнце, – все это должно было привлекать к этому растению. Но чувство к природе так же прямолинейно, как и чувство к человеку: я был враждебен к цикламенам за какую-то, почти неуловимую, нескромность, за нарочитую изысканность отворота их лепестков. Они казались мне прямою противоположностью своим же ближайшим родственникам – фиалкам, с их теплым благоуханием, с их бездонным пурпуровым бархатом венчиков, оттеняемым золотисто-оранжевыми тычинками, и с тончайшими темно-пурпурными прожилками лепестков. От папы я знал, что не удается искусственно составить эфирное масло фиалки (– это удалось значительно позже —), как не удается извлечь его из самих фиалок. Цвет их – подлинный цвет – древнего священного пурпура. И вместе с тем эти священные глаза природы, царственные и благоуханные, прячутся, издали лишь объявляя себя нежным запахом. Есть только один запах, родственный

этому, хотя несколько грубее, а также – сильнее. Я волновался им, долго не быв в состоянии себе уяснить, почему вдруг так пахнёт иногда, явно, что издали, фиалковыми лугами. Расспрашивал, и никто не давал ответа. Наконец, нашел сам источник этого благоухания в цветочках, еще более скромных и видом, и цветом: благоухала распускающаяся виноградная лоза с высоких дерев. Потом детством пахнуло мне уже в Академии со страниц Библии, когда самым признаком весны в Песне Песней указывается:

«И виноградная лоза, распускаясь, издает благоухание».

Так и весна моей жизни была провеяна для меня этим благовонием фиалки и виноградной лозы.

Среди первых цветов батумской весны с детства мне запомнились также первоцветы – примулы. Сперва распускался розовый вид с отдельными цветами, затем – и другой розовый, у которого на стрелке подымается цветочная кисть, затем – желтый, теплого, иногда персиково-желтого цвета, тоже с цветочными кистями, несколько напоминающий среднерусские баранчики. Но легкий персиковый запах северных баранчиков там был густым, словно от корзины настоящих персиков, и необычайно вкусным, хотя и слишком сытным, съедобным слишком для цветка.

В Аджарис-Цхали, преимущественно в теневых местах, скромно прятался приятно глубокий темно-голубой барвинок; выскакивали из земли синие подснежники (scilla amaena), идущие там в посоленном виде на еду; любимые мною полевые гиацинты (muscari), темносиние, темно-фиолетовые и темно-голубые, иногда почти черные, привлекали меня своею луковичностью, тугою плотностью своих кистей из четко точеных шариков, в которых, при внимательном разглядывании, можно было рассмотреть множество мельчайших, четко проработанных подробностей. Было немало ирисов, фиолетовых и желтых, из которых первые росли в воде источников и отличались крупными цветами. Я знал, что из корня их делается «фиалковый порошок», и это само по себе было достоинство в моих глазах. Была привлекательна непонятная мне трехосность их цветов, уплощенность их листьев, их воздушность. Но и они одобрялись мною как-то формально, с тайным неодобрением их нарочитой поэтичности, слишком явной нарядности, через несколько минут превращавшейся в букете в слизистый черно-фиолетовый комочек. Меня самого удивляет детская двойственность: наряды весьма занимали меня, изящный костюм и забота о нем вовсе не представлялись пустяком, несмотря на внушения мамы. Но когда я в природе усматривал малейший оттенок вычурности, я сразу

утрачивал личное нежное чувство и смотрел внешним взглядом. Пурпурные кашки, чудесные темно-голубые болотные незабудки, глубоко-синие горечавки и другие простые цветы были мне гораздо ближе, и я чувствовал их себе родными и потому старался оказать им полное внимание. Во мне жило убеждение, убеждение моего сердца, что цветы – мои цветы, любимые мною, – любят меня, цветут именно для меня и что мое невнимание к их красоте было бы оскорблением, скорее раною, их горячему ко мне чувству. Люди, и тогда, и после, казались мне самостоятельными и свободными, так что каждый любит или не любит – по своему желанию и, не получая ответа, не только не должен жаловаться, но и огорчаться. Когда впоследствии я стал глотать романы Вальтер Скотта, любовные вздохи мне казались настолько бессмысленными, что я считал этот род явлений придуманным нарочно для фабулы романа и не верил искренности этих томлений. Совсем другое – цветы. Они любят меня, потому что не могут не любить, для любви и вырастающие. Правда, любят не все: есть грубые цветы, вроде рождественской розы или царского скипетра, которые тупо воспринимают жизнь. Есть также самодовольные цветы, занятые самими собою, вроде цикламенов и ирисов. Но большинство цветов видят во мне своего повелителя и друга. Не сорвать такой цветок и не повезти его домой, когда он только и ждал моего приезда и нарочно к этому времени распустился, – разве это не значит огорчить его в лучших его чувствах? И я старался, сколько хватало сил, никого не обидеть. Не разгибая колен и ползая на животе, я собирал, собирал до изнеможения, относил к тете Юле вороха цветов, потом бежал на новые сборы, опять притаскивал ей и опять убегал, заваливая ее цветами. Меня уговаривали: «Посиди, отдохни», – но я отзывался недосугом: «Надо порвать еще цветочков», – и снова убегал.

В тете Юле чувствовалось мне сочувствие, и не знаю, было так или мне казалось, она молчаливо разделяет мое отношение к цветам. Своим долгом, долгом ответной любви, считал я оборвать все цветы до единого, все, а тем более – все фиалки. Но предо мною расстилались густо поросшие цветами, теми же фиалками, поляны, за полянами – другие, и все, как в лучшем цветнике, сплошь покрытые цветами. Как ни старался я, а моей работы даже на ближайших местах не было нисколько видно: ведь вороха цветов можно было набрать там, не сходя с места. К тому же при обсуждении отдельных цветов я мог почувствовать относительно их нечто неодобрительное, но цветочное царство в целом – любил до самозабвения и считал, что я не могу не любить его, если даже моя фамилия, – как я тогда думал, – происходит от Флоры,

богини цветов. И потому внутренняя необходимость собирания цветов распространялась на все царство Флоры. Я рвал и рвал, а предо мною простирались горы, все склоны которых были покрыты цветами, и тогда я начинал чувствовать, что обиженных останется целое Аджарис-Цхали.

День клонится к вечеру, папа зовет нас собираться домой. Я говорю «сейчас» и продолжаю рвать; потом снова зовут: «Папочка, подожди немного», – и опять рву, уже судорожно, а сам плачу от жалости, целую цветы, обливая их слезами, испрашивая прощения, обещаю очень скоро снова приехать и тогда уж наверное сорвать их. Тем временем старшие ломают огромные букеты рододендронов, великолепных, розовых, белых, красных, сиреневых, с крупными, но, к сожалению, легко опадающими венчиками и красивыми глянцевидными листьями. Этот вид, растущий большими кустами, не следует смешивать с понтическим же видом рододендрона, мелкорослым и сравнительно мелкоцветным, сплошными непроходимыми зарослями по многу квадратных верст покрывающим Кавказские горы и растущим так плотно, что иногда происходят пожары их от самовозгорания. В Аджарис-Цхали рос более благородный крупный вид.

Кроме того, непременная принадлежность аджарис-цхальской поездки – не менее огромные букеты, темно-желтых азалий, так густо цветущих, что их клейкие от смолистого сока ветки имеют даже мало листьев.

Все эти букеты, веники, ветви, венки, куски дерна, целыми растениями, наконец, просто охапки цветов с большим трудом и совокупными усилиями всех, начиная от папы и кончая Ахметом, размещаются в фаэтонах буквально со всех сторон, так что нам самим еле можно втиснуться. Цветы привязываются на задок, на верх фаэтона, который обыкновенно подымается из-за наступившей вечерней сырости, всовываются в фонарные кронштейны, на козлы фаэтонщику, кладутся ему под ноги, надеты у нас на головах и ими заняты все руки. Когда уже мы уселись, укутавшись обязательным пледом, Ахмет заставляет подножки фаэтона новыми связками привязываемых там цветов. Наконец упаковка нас с цветами кончена, и папа говорит извозчику: «Пошел». Мы выкрикиваем прощание Ахмету и другим служащим и милостиво утешаем их в своем отъезде, обещая скоро приехать снова. Из-за передней скамейки теперь уж особенных споров не происходит: прохладно, и мы скорее стараемся втиснуться в теплое гнездышко между взрослыми или мирно устраиваемся на дне кузова среди цветов и под пледом.

По шоссе катится цветочная корзина, теперь уже быстро, –

тогда как **туда** экипаж ехал, постоянно замедляемый отцом.

Не останавливаемся, насыщенные и впечатлениями, и цветами, благоухание которых к ночи окружает и фаэтон. Наскоро съедаем чего-нибудь, не останавливаясь. Вот чернеет и марганцевая гора при въезде в Чорохское ущелье. Значит, недалеко и Батум. В полутьме мелькает негрская колония, проезжаем по последнему мосту, и вот уже нас целует мама, соскучившаяся по нас, как будто мы уезжали на год. В доме тепло и светло, на столе дымится горячий ужин. После ужина наскоро раскладываются в сосуды с водою привезенные цветы; кроме многочисленных ваз, – из них некоторые совсем большие, – приходится занять под цветы и салатники, и супники, и блюда, и глубокие тарелки, и стаканы… Чистовой разбор цветов предстоит завтра, с утра, лишь только встанем. А сейчас сквозь полусон я слышу беспокойные разговоры старших, что нельзя же оставлять на ночь в комнатах такое количество сильно пахучих цветов, особенно азалий. Папа напоминает случаи, едва ли не батумские же, когда неопытные приезжие любители цветов засыпали и уже не просыпались, поставив на ночной столик возле постели один только букет этих желтых понтических азалий. Он рассказывает также, уже не в первый раз, что благоуханнейший мед с этих цветов смертелен, он убивает при еде одним только своим ароматом; изредка он попадается у нас на рынке, но знающие люди тщательно избегают его. Действительно, азалии изливают по всем нашим комнатам крепкий до едкости запах. Это не душный запах черемухи, не липкий запах многих садовых растений; в нем нет ни приторности, ни влажности, ни чувственности – он строг, отчасти напоминая некоторые сорта ладана. Безмерно превосходящий по силе прочие благоухания, которыми сейчас наполнен воздух всей квартиры, и заглушающий всех их запах азалий не кажется, однако, навязчивым или неприятным: просто воздух стал плотным, как прозрачное твердое тело. Но кажется ли это мне со сна или есть на самом деле, а я вижу стремительно несущиеся от азалий по воздуху тончайшие, как те лучики, что окружают ночник при зажмуренных глазах, с мой тогдашний палец длиною, стрелы. Они того же янтарно-желтого цвета, как и самые цветы, их рассылающие. Они несутся потоками воздуха и так тонки, что втыкаются своими ядовитыми остриями без боли. Но если их воткнется много, то умрешь, отравленный этими стрелами, похожими на золотые стрелы Аполлона. В полусне же я слышу, как взрослые, закончив свой ужин, двигают стульями и уносят часть губительных цветов наружу, и я засыпаю, как это весьма редко случается, без мучительного ворочания с боку на бок и

сплю без кошмарных снов всю ночь.

< IV. Религия >

Мне было, вероятно, лет шесть. Мы шли с папой по городу. Когда проходили мимо церковной ограды, нам повстречался местный священник. Вероятно, только что кончилась литургия, он был в фиолетовой камилавке. Вдруг, к моему смущению, он поздоровался с папой, и папа начал с ним о чем-то говорить, как я почувствовал – предупредительно. Я же переминался с ноги на ногу и выглядывал исподлобья. Прощаясь, священник вынул из кармана просфору и дал мне, но я испугался, и тогда взял просфору за меня папа. После этого мы ходили по городу, и я постарался сделать, чтобы папа не сказал ни слова о **происшедшем –** так оценивалась эта встреча со мною. Но, по-видимому, папа не придавал ей особого значения и вовсе не говорил об ней. Только по возвращении домой слегка шутливым тоном сообщил тете: «Вот Павля получил просфору», – и хотел отдать ее мне по принадлежности. Меня охватило невыразимое смущение, я убежал в самую дальнюю комнату и, спрятавшись под кровать, слышал оттуда, что просфору клали в буфет. Впрочем, все церковные термины в этом рассказе я применяю задним числом, тогда же просфора и все подобное было для меня «то» и «оно». Церковь, в которой я никогда не был, священник, к которому никогда не приближался, странный вид и невиданно белый у хлеба цвет просфоры, все вместе чрезвычайно насторожило мое чувство **особенного,** и я смущался, стыдился и боялся всего этого именно потому, что остро сознал как необыкновенное. Мне страстно хотелось взглянуть на свою просфору, но я не только мучительно стеснялся спросить о ней у старших, но и сам наедине не смел открыть буфет, чтобы посмотреть ее. Около месяца шла во мне внутренняя борьба; наконец, решился: тайком залез в буфет, но просфоры не оказалось. Еще через большой промежуток времени, делая над собою большое усилие, но приняв тон небрежный, я спросил об ней, как бы между прочим, у тети Юли. «Она тебе была не нужна, и ее отдали няне», – такой был несколько подчеркнутый ответ тети.

Этот случай в сжатом виде представляет религиозную почву, на которой предстояло вырасти моим позднейшим убеждениям. Говоря современным языком психоанализа, во мне был задержанный аффект религиозного чувства: я был отрезан от религии столь надежно, что силою внутреннего влечения сам надстраивал воздвигнутую между мною и религией стену. Чем большей была религиозная потребность, тем далее я,

поставленный на известный путь, добровольно и стремительно бежал от возможности удовлетворения. И хотя родители не сделали здесь никакого явного насилия, но они повернули мое духовное развитие так, что много сил было затрачено мною на построение тюрьмы для себя самого, а затем – на разрушение этих стен. Конечно, вероятно, и этому всему надлежало быть в общем ходе жизни, и я менее всего жалуюсь на бывшее. Да кроме того, что строил, то **я** строил, и один за это ответственен. В моменты полного духовного освобождения, когда вдруг сознаешь себя субстанцией, а не только субъектом своих состояний, и предстоишь пред Вечным, остро и предельно четко сознается полная ответственность решительно за все, что было и есть, за состояния самые пассивные, и столь же решительная невозможность отговориться внешними воздействиями и внушениями, наследственностью, воспитанием, слабостями. Тогда ясно: нет ничего, что «сделалось», «произошло», «случилось», нет никаких **просто** фактов, а есть лишь поступки, и знаешь: совершил их я. Я – и точка; далее не может быть и речи ни о ком и ни о чем. Не иначе – и в отношении всего того, что было даже в раннейшем детстве.

Но понять содержание жизни можно лишь по связи ее с окружающим. В этом смысле мне необходимо говорить об атмосфере нашего дома.

1923.IV.24. Родители мои хотели восстановить в семье рай и в особенности детей своих держать в этом первозданном саде. Не знаю, было ли случайностью, что и я, с своей стороны, шел навстречу их желаниям; скорее, склонен я думать, что каким-то предчувствием они стали осуществлять оказавшееся в каком-то смысле возможным. Не только они хотели, но и я был способен по-райски воспринимать мир. Но в этом рае не было религии, по крайней мере, не было исторической религии. Она отсутствовала тут не по оплошности, а силою сознательно поставленной стены, ограждавшей упомянутый рай от человеческого общества. Это не было отрицание религии в порядке метафизическом, не было оно таковым во внутреннем сознании родителей, а тем более не было таковым в их высказывании. В этом отношении наша семья весьма мало походила на большинство семейств нашего круга, как неверующих, так и верующих. И для тех, и для других основные вопросы религии представлялись в то время ясными и решенными, либо отрицательно, либо положительно; соответственное решение внушалось, далее, младшим членам семьи. Таковыми были и знакомые нам семьи: в одних детям внушалось, что Бога нет, что религия – суеверие и духовенство –

обманщики; в других – напротив. Но там и тут молодое поколение вырастало в той или иной определенности. В нашей же семье суть религиозного воспитания заключалась в сознательном отстранении каких-бы то ни было, положительных или отрицательных, религиозных воздействий извне, в том числе и от самих родителей. Никогда нам не говорили, что Бога нет, или что религия – суеверие, или что духовенство обманывает, как не говорилось и обратного. Впрочем, тут были оттенки. Мама абсолютно молчала на этот счет, но в непроницаемом молчании ее мне смутно чувствовался какой-то тончайший запах слова **«нет».** Тетя тоже молчала, но по разным признакам я угадывал в этом молчании вынужденность, прикрывающую какое-то, словно глазами, **«да».** Наконец, папа, чрез которого проходил религиозный меридиан нашего дома, по-видимому, чувствовал себя наиболее свободно в отношении религиозного высказывания. Он говорил **«нет»,** которое равнялось **«да»,** и **«да»,** звучавшее как **«нет».** Если я напомню, что евангелием его был гётевский «Фауст», а библией – Шекспир, то станет окончательно ясной религиозная тональность. В отце мне часто слышались религиозные настроения, преимущественно как чувство бесконечности и параллельное ей – чувство ничтожества человека, его слабости – умственной и нравственной. Отсюда естественно вытекала резиньяция, переходившая в фатализм и всепрощение или, скорее, всеизвинение. Отрицание религии, в смысле ли атеизма вообще или осуждения, некоторой исторической формы религии, все равно какой, вызывало в нем решительный отпор. К утверждению он отнесся бы мягче, но не преминул бы охладить жар скептической мыслью о невозможности абсолютных истин, а потому – и несправедливости утверждать свою относительную истину в ущерб остальным.

Когда мы гуляли, папа иногда, хотя и не слишком часто, как-то вскользь бросал фразу о Высшем Существе, и я никогда не слышал, чтобы он отрицал Его личность. Пожалуй, в каком-то смысле он признавал ее, но боялся какой-либо определенности в этом отношении. Иногда папа употреблял слово Божество и гораздо менее охотно – слово Бог, а когда произносил это слово, то с оговоркою, вроде: «То, что называют Богом», или «Высшее Существо, Которому дают имя Бог», и т. д. Этими оговорками он хотел подчеркнуть мне и себе, или, скорее, себе и мне, несоизмеримость Высшего Существа с человеческим познанием и с человеческим словом, и чтобы привычка к известным именам и словам не ослабила этого чувства безмерности расстояния между ним и нами, отец, как я понимаю, считал необходимым

пользоваться словосочетанием и наименованием каждый раз новыми. Это значило у отца: «Я тебе не могу сказать ничего определенного по этому вопросу, тут нет никаких твердых знаний; но вот сейчас мне думается то-то и то-то». Это воздержание от имени было не из мотивов благоговения, а из познавательной добросовестности, с одной стороны, и из общественной осторожности – с другой. «Не говорю о том, чего в точности не знаю», и «избегаю в этих вещах определенности, потому что отсюда обычно возникает нетерпимость, вражда и фанатизм». Иногда от папы можно было услышать нечто вроде космологического доказательства бытия Божия, но тоже в виде какого-то придаточного предложения, т. е. психологически придаточного, – отцу не хотелось говорить об этом в упор, предложением главным, или он считал неправильным высказывания прямые. Кроме того, и тут уже гораздо более прямо, он указывал на всенародный исторический опыт: «Если все человечество всегда имело религию, то не может быть, чтобы за этой верой не было никакой реальной основы». Поэтому папа считал легкомысленным отрицание религии, но вместе с тем полагал невозможным выделить эту реальную основу из исторически сложившихся верований человечества. Как ни безнадежно звучала его оценка религии, однако, я сознаю, именно из обертонов его кратких суждений выкристаллизовались зародыши моих позднейших убеждений, что, собственно, нет религий, а есть одна Религия. Религия весьма меняет в человечестве свой вид, и весьма неодинакова ценность ее различных обликов. Но основные силы, ее складывающие, сходны. Может быть, под влиянием положительно религии Конта или дальнейших развивателей правых контистов, из которых папа имел когда-то отношение к Гейнцу, эмигрировавшему в Америку с именем Фрея, а может быть, и непосредственно по историческому материалу, которым папа постоянно занимался, он усматривал три основные силы, которыми складывается религия. Первая из них – это чувство мировой беспредельности и бесконечности, затерянность человека в мире, несоизмеримо большом сравнительно с его собственным ничтожеством; отсюда – стремление оформить эту беспредельность, понимая ее как существо и, по бессилию нашего ума, не умея мыслить о мировой бесконечности иначе как по аналогии с человеком. Вторая сила – это чувство связи отдельных людей между собою, в пределе образующее народы и человечество. Папа считал, однако, вопреки Конту, мысль о человечестве слишком далекой, смутной и бледной, что ли, чтобы придавать ей практическое значение; ведут человеческую жизнь связи гораздо более тесные и меньшего

масштаба, но зато более непосредственно присущие нашему сознанию, именно связи кровные. Настойчиво, и чем далее, тем настойчивее, папа твердил, что это ощущение родства неотъемлемо от него, что свою жизнь он ощущает распространенной в своей семье и что эти чувства он утверждает как явление физиологическое, не может не утверждать, ибо иначе ему больно. Когда он познакомился с книгой Фюстель де-Куланжа «La cite antique», то нашел в ней, как говорил он, полное подтверждение своих взглядов и заставлял меня, вероятно в классе III или IV, читать ее. Об этом будет сказано на своем месте, пока же следует отметить лишь, что папа усмотрел в этой прекрасной книге то, чего он не говорил и не думал, может быть, даже, что было враждебно ему, ибо перевернул эту книгу на голову. Ведь Фюстель де-Куланж доказывает, что древняя религия была почитанием обоготворенных предков, что культ предков определял всю гражданскую жизнь и что люди имели значение в глазах древности лишь как жрецы восходящей линии своего рода. По Фюстель де-Куланжу, глаза античного человека были всецело обращены назад, в прошлое. Папа говорил как раз об обратном и в отношении родовой связи скорее уж походил на древнего еврея, ждущего Мессию, нежели на римлянина, о котором рассказывает Фюстель де-Куланж. По многим причинам предки для отца были несуществующими, он не думал, не мог и не хотел думать о них. Основная добродетель римлян была pietas erga parentes[11], и обладавший ею был pius[12]. Отец мой отнюдь не мог бы быть определен в этом смысле как pius, ибо его pietas была erga pueros[13]. Его взор был обращен вперед, и он хотя и не был жрецом, но вполне мог бы быть им, но жрецом линии нисходящей и, определеннее, жрецом семьи.

Помимо фактической оторванности от своего рода, он и волил этой оторванности, потому что хотел всецело предать себя **иному** служению, хотел свободы от предков и всех тех отношений, убеждений и чувств, к которым обязывала жизнь в роде. Общество, всегда твердил отец, складывается вовсе не из отдельных людей, этих атомов человечества, а из молекул, далее в общественном смысле не делимых; каждая такая молекула есть семья. Хорошо помню, он всегда в этих случаях пользовался терминами «атом» и «молекула». Но о **роде,** который есть подлинный элемент общества, делающий его историческим, папа никогда не говорил, и это тем более удивительно, что он всегда читал исторические сочинения, и в частности, если не иначе, то вынужден был бы столкнуться с понятием рода, у того же Фюстель де-Куланжа. При его уме и наблюдательности не может быть, чтобы он в самом деле проглядел эту основную

историческую категорию. Мне совершенно ясно: он **не** не видел ее, а не хотел видеть. Весь строй мысли его современников, всецело исключавший родовую связь, в данном отношении ответил каким-то глубоко личным и, по-видимому, весьма болезненным ранам души, так что папа окружил это опасное в своей душе место особой стеной, за которую раз навсегда был возбранен вход; а весь жар души, которому свойственно собраться сюда, он направил на семью. Таким образом, вторая сила религии – культ предков – в нем произвела почитание семьи, если и не культовое, то по характеру своему весьма близкое к религиозному.

Наконец, есть еще третья сила религии; это – совокупность таинственных явлений, то, что теперь называют высшей психологией. Отец мало интересовался ими и, кажется, считал в духовном отношении их мало ценными, в своей, по крайней мере, жизни; если я правильно толкую его недостаточно отчетливо вспоминаемые мною слова, то отец полагал, что на земле нужно заниматься земным, а таинственному придет свое время, после смерти, хотя сейчас невозможно представить себе даже приблизительно, каково это будущее. Он не отрицал безграничности неведомого и возможности объявиться оттуда многим неожиданностям, но не видел способов точного познания этой области, да не имел и вкуса к ней, хотя «фантастика» в литературе его привлекала. Никогда я не слышал от него утверждения, что все кончается с этой жизнью, и, напротив, многие его слова имели смысл лишь при предпосылке обратной. Но и тут он избегал прямых высказываний, хотя я чувствовал за его словами благожелательность к мысли о посмертном существовании. Однако когда умерла тетя Юля и папа пошел за мною к нашим знакомым Худ адовым, куда отправили меня в день ее похорон, чтобы я не видел этого зрелища, то он сказал мне по дороге: «Твоя тетя у Бога, Он взял ее к себе» – и после этого никогда об ней со мною не говорил.

Вот три силы религии. В исторических религиях их области спутаны между собою и затуманены различными представлениями, которые не то чтобы не имели смысла, но которые настолько затемнены и трудно дешифрируемы, что невозможно разобраться в них, и, во всяком случае, это дело специалистов. Практически же пользование такими «идеями» внушает ложную мысль об абсолютной истинности, и потому является вредным. Отец не был враждебен ни одной религии, но самыми здоровыми склонен был считать, как мне кажется, китайский культ предков и магометанство. Но и там, и тут он подчеркивал, как наиболее мудрую, удовлетворенность малым и

настоящим, нежелание искать абсолютной истины в китаизме и нехищность культуры магометанства. Вообще же он всегда противопоставлял спокойствие и мирность Востока всегдашнему мятению и насильничеству Запада и считал, что мудрость и правда – удел первого.

Я сказал: он не был враждебен ни одной религии; но – и не признавал ни одной. Что же касается до христианства, то отец видел его высоту, но именно она и внушала ему опасение: религия, внушающая мысль о своей абсолютности, не может не быть источником нетерпимости. В этом отношении особенно угрожающим представлялся ему католицизм. Но, может быть, я слишком много и слишком определенно говорю об его взглядах: мое понимание их сложилось из многих его полувысказываний и случайно оброненных слов; при такой передаче возможны и неточности.

1923.IV.30. Во всяком случае, основной смысл его убеждений передан мною правильно. Он подтверждается также и отношением отца к духовенству. Отец к служителям культа всех исповеданий и даже вер всегда бывал неизменно почтителен и внимателен. Это были знаки внимания не лично им, а представителям тех верующих, для которых эти лица были особыми людьми. Папа признавал духовенство, но мотивом признания было тут не согласие в содержании веры, а боязнь оскорбить человека в его заветных верованиях. «Как я могу не быть почтительным к тому, кто множеством людей признается их представителем пред Богом и является лицом священным», – многократно слышал я от него. И действительно, он был почтителен, однако, ко всякому духовенству. Ксендзы и пасторы одобряли его не менее, чем муллы и раввины, и даже с иезидами, столь вообще недоверчивыми, он ладил, как был в хороших отношениях с духовенством православным и армяно-григорианским.

Не знаю, не замечали ли они, что папа, по существу, вовсе не с ними, или им казалось в порядке вещей не вникать в вопросы метафизические, но они как будто довольствовались знаками почета и внимания и о большем не заговаривали. С горечью думается мне, может быть, отец практически был прав, что люди в абсолютной истине и не нуждаются и проживут без нее удобнее: большинство чувствует себя уютно, когда нет в мысли четких углов и граней, и бывают довольны, если внешние обстоятельства позволяют не вспоминать об них.

Человечность – вот любимое слово отца, которым он хотел заменить религиозный догмат и метафизическую истину. В

человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных отношений взамен религии, права и морали – единственное, что должно быть проповедуемо и внушаемо. Отец отнюдь не был сентиментален и вовсе не мечтал в толстовском духе об уничтожении войн, государственных законов и судов, национальных и сословных перегородок. Он не только видел наличную необходимость всех этих начал общественной организации, но, по-видимому, и не надеялся на возможность устроения их в какой-либо исторически учитываемый срок. И потому к революционным идеям он относился и недоверчиво, и презрительно, как к мальчишеским притязаниям переделать общество, которое таково, как оно есть, по законам необходимости, – и с тревогою за последствия революционных попыток, имеющих привести Россию «в полный хаос». Отец был убежден в неизбежности этого потрясения государства, и его мысли рационального порядка впоследствии сплелись с предчувствиями грозящей катастрофы и болезненными ощущениями черной тоски. Он не был горячим поклонником государственности и многое в правительственном курсе считал ошибкой, бывшей ему особенно яркой на Кавказе; но в потрясении государственного строя он предвидел попранными справедливость, здравый смысл, порядок жизни и все общественное строительство и, несмотря на свою исключительную терпимость, в часы особой мрачности, с болью и как бы сам опасаясь своих слов, приводивших к нулю его предыдущие рассуждения о том, что надо же всем дать дышать, мрачно добавлял самому себе: «Равноправие, равноправие… а все-таки нас (т. е. Россию) съедят господа евреи. Это – народец, с которым придется еще повозиться. Но никакого выхода я не предвижу…» И еще более мрачно замолкал.

Итак, он не смотрел на жизнь утопически, но верил, что доступно и вполне осуществимо смягчить жесткость общественных форм, изнутри «очеловечивая» их. Отец считал возможным изменить внутренний характер всей жизни, если пронизать ее чувством «человечности», и считал Восток в этом отношении гораздо большего достигшим, нежели Запад. Человечность же, теплота и мягкость человеческих отношений исходит из семьи – так верил он. Никогда не слыхивал я от него упоминания о В. В. Розанове, но мне думается, несмотря на полную противоположность их склада, у отца, построенного на чувстве долга и порядочности, а у Розанова – на глубочайшем внутреннем восстании против этих начал, у них, в мыслях об историческом и общественном значении семейного начала, нашлось бы много общего. Человечность – единственный лозунг,

который может быть общим, общим всем людям, который дает правильное разумение нравственным заповедям и требованиям религии, который не ведет к ожесточению и нетерпимости. Вот, собственно, что должно быть воспитываемо в людях. Шекспир, в оценке папы, был исключительным воспитателем этого чувства человечности. Папе звучали как откровение этого чувства в особенности два стиха из «Отелло» – он говорил их нам в русском переводе:

Она меня за муки полюбила,
А я ее – за состраданье к ним.

«Выше и глубже этого, – прорывалось иногда у отца, – ничего не сказано и нельзя сказать».

Мой рассказ пошел тут вбок, и об отце сказано либо слишком много, чтобы не нарушить ритма повествования, либо слишком мало, чтобы представить на самом деле облик отца. Но без этого забегания вперед я боялся бы остаться совсем непонятым. Нетрудно зато теперь догадаться, каковы были взгляды отца на мое религиозное воспитание. Он, если подвести итог, в религии, собственно, ничего не отрицал, кроме самого жара утверждения, и, поскольку люди религии метафизически не заостряют своих верований и не считают их большими, нежели «символ и подобие», как любил опереться на Гёте папа, – религия им, вероятно, одобрялась, по крайней мере, у широких масс. Но наряду с этим скептическим полупризнанием отец, сам того не сознавая, имел и догмат, свой догмат и свою абсолютность. Разумею собственную семью. Не знаю откуда, в отце был, в сущности, очень большой аристократизм, и его предупредительность, деликатность и великодушие, в особенности же отсутствие мелочности, были несомненно и почти неприкрываемо снисхождением высшего к низшим. Он всегда чувствовал себя **обязанным** словно каким-то высоким положением, хотя такового вовсе не было. Но, замечательно, и окружающие, по положению равные и даже высшие, принимали этот оттенок отношений внутреннего неравенства как правильный. Отец никогда «не позволял себе» такого, что вполне естественно допустить в отношении с равными и что было бы недостойным, когда имеешь дело с людьми совсем другого круга и притом сознающими это расстояние. Поэтому отец бывал всегда не соответственно мере равенства деликатным, щедрым, великодушным и широким, если только, возмущенный явной неправдой или несправедливостью, не проявлял кратковременного, но тоже не по мере равенства, бурного гнева.

Однако ни первое, ни второе не вызывало возражений. Характерно то, что это аристократическое самосознание никак не было искусственным. Напыщенное, приподнятое, театральное – этот разряд явлений был отцу самым враждебным из всех, даже худшим фанатизма, и малейшая тень аффектации вызывала в нем брезгливость почти физическую. Я уверен, вышеописанный характер отношений к людям коренился в каких-то наиболее глубоких слоях его личности и именно потому им самим, как наиболее постоянный в его жизни, не замечался. Но далее это аристократическое самосознание распространялось и на семью. Нашей семье, по молчаливому, но очень определенному убеждению отца, надлежит быть особенной, и допустимое в других семьях у нас не может быть допустимо. Папа не осуждал других и сравнительно редко – обсуждал. Однако это не было следствием христианской или даже общерелигиозной заповеди, а скорее вытекало из мысли, часто повторяемой отцом, что «люди – всегда люди, со своими слабостями». Тут был оттенок невысокой оценки людей. Отец не был мизантропом; но в его чересчур большой снисходительности был привкус, хотя и благожелательный, мизантропии, как будто отец раз навсегда решил ожидать от окружающих всего худшего, хотя в жизни старался взывать к лучшему. Эти окружающие были старым человеческим родом. Наша же семья должна была стать родом новым. Тот, старый, род пребывал в законах исторической необходимости и исторической немощи; в отношении же нашего, нового, отец словно забывал и законы истории, и человеческое ничтожество: почему-то от нее ждалось историческое чудо. Не количественно, нет; отец был слишком трезв, слишком далек от тщеславия, чтобы думать о своей семье внешне преувеличенно, или переоценивать ее, или даже желать для нас в будущем чего-нибудь чрезвычайного. Подобная мысль заставила бы его брезгливо поморщиться, а внешне высокое положение он, кроме того, считал и обременительным. Но качественно семья предполагалась им исключительной: она представлялась ему сотканной из одного только благородства, великодушия, взаимной преданности, как сгусток чистейшей человечности. Вот почему терпимое в других было бы и было нетерпимо в нас; вот откуда вдохновлялся я полусознательно установкой, что прилично и что неприлично. Неприличное было таковым не само по себе, а в отношении к нашей семье, вообще к нам, как изъятым из всего общества. Мне не представлялось «нехорошим», как «неприличное» делали и говорили другие, в других семьях. Но мое сознание не вмещало, чтобы нечто подобное могло случиться у нас, и попытка мысли представить такой случай вела за собою

ощущение мировой катастрофы: если это, то все рушится и наступает такая смута, что мысль уже ничего не может далее различить.

К неприличному относилась религия и все с нею связанное; мне кажется, она была в моем сознании самым средоточием неприличного. Религиозная жизнь вообще стыдлива и ищет спрятаться от чужих соглядатайствующих глаз. При моем же воспитании бессознательно было сделано все, чтобы вызвать это именно чувство. О религии у нас никогда не говорилось ни слова, ни за, ни против, ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений, разве только более менее случайно проскакивало слово о культе дикарей или каких-нибудь египтян, но и то очень отрывочно. Чем ближе к Церкви было какое-либо понятие, тем менее оснований могло ему быть упоминаемым в нашем доме: терпелась, и то еле-еле, лишь религиозная археология, умершая настолько, что можно было твердо рассчитывать на ее религиозную бездейственность. Люди «верят» по-своему. (Хорошо мне запомнилась эта форма «верят» вместо **веруют,** ничуть не случайная, ибо **веруют** – значит духовно знают некоторую объективную реальность, а **верят** – значит имеют некоторое субъективное состояние уверенности, может быть, насквозь иллюзорное); итак, люди верят по-своему, и было бы бесчеловечно и жестоко отнимать у них это чувство уверенности, эти иллюзорные верования, поддерживающие в них человечность. Верят – и пусть верят. Но это – прочие люди. А мы должны понести в жизни человечность в ее непосредственном виде, без символов и подобий; мы не должны нуждаться в искусственных поддержках. Детское сознание должно быть выросшим вне гнета на него каких бы то ни было представлений религии, чтобы иметь возможность, когда окрепнет, свободно определить себя так или иначе и свободно, без предвзятых внушений в детстве, без известных привычек мысли и чувства, не стесняемое образами фантазии, не увлекаемое навязанными симпатиями и антипатиями, свободно избрать себе религию, какую сочтет истинной. Впрочем, об этом предстоящем выборе говорилось другим и себе, сколько я понимаю, больше в отвлеченной формулировке, по справедливому ходу теоретической мысли. На самом же деле **за** этой формулировкой лежало чувство уверенности, что отвлеченной возможностью выбора религии дело навсегда и ограничится и что мы, дети, навсегда останемся в сознательно недопускаемом до четкости и потому в сознательно поддерживаемом неустойчивом равновесии, религиозном чувстве, из которого может получиться все, что угодно, но не получается, не допускается к получению ничего определенного. Я не могу

утверждать, но мне представляется, что папино желание было видеть вас, мои дети, воспитываемыми в той же свободе от религии, чтобы и вы и ваши дети, и так в роды родов росла та новая религия, которую впоследствии Гюйо изобразил как «L'irreligion de Tavernr»[14], или что-то в этом роде, т. е. сильное, но бесформенное религиозное чувство.

По-видимому, папа был внутри себя предельно уверен, что это неустойчивое религиозное состояние настолько явно превосходит любую историческую религию, что он не допускал и мысли о возможности для нас в самом деле когда-либо избрать себе определенную религию и верил, что, коль скоро с детства отстранено прямое внушение религии, обратиться к ней впоследствии психологически невозможно. И потому он так беззаботно говорил о будущем религиозном самоопределении, говорил об этом даже как будто благожелательно, не учитывая предстоящей в таком случае «нетерпимости», которая хотя бы формально, должна же была учитываться в качестве сопровождающей будущий выбор религии. Когда отец говорил об «относительности» всего, он имел мужество договорить, что это, т. е. утверждение относительности, и есть единственная доступная нам абсолютность; а когда он говорил о терпимости, то иногда добавлял, что она – единственный догмат. Но папа не учитывал, что «нетерпимость», т. е. сознание полной правоты своей, имеет источником не содержание, а форму высказывания и что, коль скоро нечто признано абсолютным и догматическим, оно тем самым уже выделяет человека из ряда всех прочих и делает его, в его сознании, исключительным и противопоставленным тем, кто с его высказыванием не согласен. Проповедь терпимости как догмата неминуемо ведет к нетерпимости в отношении всех, такой догмат отрицающих. И тогда пришлось бы вступить в активную борьбу со всеми представителями иного верования. Но с нами бороться было нечего, а окружающих отец считал не доросшими до истинного понимания человечности и потому внутренне с ними не считался.

Большинство знакомых наших, папиных товарищей по гимназии и других, были либо религиозно индифферентны, и для них религиозные вопросы представлялись давно решенными в сторону вялого атеизма, либо были воинствующими безбожниками. И то и другое было глубоко чуждо отцу, как невежественная и мальчишески легкомысленная расправа с вопросами, которых отец тоже не хотел трогать, но не как решенные, а как бесконечно трудные и неразрешимые. Кроме того, антирелигиозным убеждениям он не сочувствовал как оскорбительным для большинства и, может быть, как опасным

общественно. Как в смысле политическом, так и в религиозном, если сравнивать его с большинством окружающих, он был скорее, охранителем, очень мягким и скептически настроенным консерватором английского склада, нежели человеком, стремящимся к новому. Когда я говорил, что в предстоявшем для нас, по его мысли, выборе религии было предрешено, что никакой религии мы не изберем себе, – менее всего следует усматривать, будто нас воспитывали в смысле неверия. Если бы в этом выборе мы склонились к активному отрицанию религии, то отец, я уверен, весьма огорчился бы, даже более, чем тем или другим выбором определенной религии, хотя и это было бы ему огорчительно. Равным образом, несмотря на все разговоры о терпимости, он, несомненно, был бы покороблен выбором не только другой религии, нежели христианство, но и другого исповедания, нежели православное.

Мне думается (об этом буду говорить впоследствии), в отце, не сознаваемая им и где-то очень глубоко, была заложена склонность к Церкви. Говоря о нем, необходимо учитывать ужасное время русской истории – царствование императора Александра II, в котором он провел всю молодость, и ужасную среду, окружавшую его в дни юности и всю последующую жизнь.

По этому времени и в этой среде отец дал огромный отпор обступавшим его течениям мысли, и собственное его мировоззрение, ответившее на вопросы времени и среды, преодолело все, что его окружало. Его понимание семьи и его отношение к религии в обстановке его жизни были проявлением, в конце концов, именно церковного начала, как его тогда можно было выразить, не разрывая окончательно с окружающим обществом: его воззрения были на границе терпимости. Вот почему, когда впоследствии определился **мой** выбор религии, отец, несмотря на огорчение, стал объяснять себе мой путь «атавизмом», припоминая некоторые склонности своего отца и, мне кажется, почувствовав и себя не совсем невинным в передаче религиозной наследственности.

Но, кроме теоретических воззрений, в своей боязни религиозной определенности отец был укрепляем также и побуждениями более частными: семейные обстоятельства были источником их. Если бы // не они, то, весьма вероятно, и папа позволил бы сложиться в себе религиозным суждениям более определенным и более содержательным. Эти обстоятельства заключались в различии исповеданий, к которым по рождению принадлежали мои родители. Выше всего в мире ценя начало семейное вообще, а свою семью – в особенности и обоготворив мою мать, не только в силу глубокой и сознательной любви, но

еще более из побуждений теоретических, как начало женское и священное, отец хотел привести к нулю различие исповеданий посредством практического уничтожения всех поводов, где могло бы напомнить о себе различие вероисповеданий. Папа не проявлял своей принадлежности к Православной Церкви из боязни хотя бы тончайшим дуновением холодного ветерка напомнить о своем православии маме; а мама старалась воздать ему тою же деликатностью и поступала так же в отношении Церкви Армяно-григорианской. Тут предо мною убедительный пример, как самые благородные человеческие чувства ведут ко вреду, когда рассматриваются безотносительно к общей экономии жизни и, получив характер абсолютный, возносятся на место

Божие. Добрая и благородная боязнь причинить близкому человеку малейшее огорчение, повела, правда, в совокупности с другими, содействующими причинами, к лишению себя и наиболее дорогого в мире человека самой крепкой из жизненных опор, самого надежного из утешений. Между тем, если бы не гиперестезия деликатности (и большее сознание объективного блага религии), то почему бы не постараться укрепить религиозное сознание в той же маме, почему бы, не поддержать ее связи с Армянской Церковью, разъяснив, что принадлежность хотя бы к двум исповеданиям все же единит в самом важном и глубоком, а схождение на религиозном нуле, хотя бы и очень единомысленное, есть уход, пусть общий, от силы, объединяющей в Вечности?

Вероятно, дело не сознавалось отцом столь ясно, потому что весь окружающий воздух внушал противоположное; а кроме того, и биографически здесь были обстоятельства усложняющие. Я имею в виду армянскую стойкость в сохранении своего, народного – стойкость вполне, в общем, целесообразную, ибо без нее этот древнейший из культурных народов, имевший несчастно поселиться между жерновами мировой истории и потому все многие тысячелетия своего существования непрестанно избиваемый и все время тающий, давно попал бы уже в число народов вымерших. Его история – роковая из-за страны его, ибо кто же может быть в безопасности, расположившись на линии огня между перестреливающимися окопами, на большой военной дороге всемирной истории? Все культурные ценности Армении, талантливо создаваемые, были тщетной попыткой строиться в стремительном потоке, и все они непрестанно были уносимы течением. Ни один народ за свою жизнь не затратил столько усилий на культуру, как армянский, и, кажется, ни у одного коэффициент полезного действия не оказался в итоге столь малым, как у него же. Наконец, и исключительная жизненность

этого народа утомилась, и, самый старый из всех, он оставил задачи государственного и культурного строительства и инстинктивно приложил заботу к задаче наиболее скромной – как сохранить в мире хотя бы существование малого своего остатка: в самом деле, все показывает предстоящее в будущем исчезновение самого народа. Армянский консерватизм так называемый есть инстинкт народного сохранения, впрочем, по существу своему безнадежный, ибо нельзя сохранить в истории того, что уже не имеет сил и воли раскрываться и духовно строиться.

Но, во всяком случае, в армянах живет патриархальное начало и судорожное хватание за устои своей народности, явно утекающие. Мое личное убеждение: этому народу не только исторически безысходно, но и предстоит в качестве культурной задачи раствориться в других народах, внося сюда фермент древней и от крепости уже непроизводительной в чистом виде своей крови. Но инстинкт самих армян, естественно, борется против судьбы, и в родах значительных эта борьба особенно болезненна. Так именно обстояло в роде Сатаровых.

Сатаровы были в числе нескольких армянских родов, относившихся к неоднородной и этнически плохо промешанной массе насельников Армении, к той ветви, которая самыми армянами называется «албаной». Это ответвление древнейших насельников средиземноморского бассейна, так называемой средиземноморской расы. В качестве этнической подстилки эта раса легла в догомеровской Греции. В более чистом виде остатки ее дали древнейшие племена лидийцев и фригийцев. Углубляясь к северо-востоку, они частью смешались с окружающим приараратским населением, частью же сохранились тут этническими конкрециями. Одна из таких конкреций сохранилась до раннего средневековья у берегов озера Гокчи и около этого времени, теснимая каким-то нашествием, продвинулась еще севернее, в нынешнюю Елисаветпольскую губернию. Там образовалось пять самостоятельных областей, или меликств, впоследствии подпавших вассальной зависимости Персии, затем Турции. Несколько родов, вышедших отсюда и частью поселившихся в Грузии и происходивших от владетельных домов этих областей, помнило и помнит в своем прошлом **что-то** особенное, хотя в большинстве случаев плохо умеет выразить родовую память членораздельными словами. Мотивы родовой гордости давно забыты, но самое чувство превосходства от того не пропало. Эти роды отличаются, правда, особой красотой, и среди них выделяется как известный в этом смысле род Сатаровых. Эти роды влиятельны и пользуются признанием; опять из них выделяются Сатаровы и в этом отношении. Эти роды

сравнительно с окружающими культурны и состоятельны, а Сатаровы были исключительно культурны и весьма богаты. Но всего перечне-ленного все же недостаточно для объяснения чувства превосходства, свойственного роду, и глубокой фамильной гордости, сапаровской гордости, за которыми определенно ощущается и ощущалось что-то несравнимо большее, нежели учитываемые мотивы сознания своей особенности. Эти роды издавна вступали в браки лишь в своем кругу, и туберкулез, опустошающий их, вероятно, есть возмездие за эту исключительность. В круг этих немногих фамилий, родственных между собою по происхождению и связанных разнообразнейшим свойством, входил и род Мелик-Бегляровых, ближайшим образом свойственный Сатаровым через старшую тетку мою Елизавету Павловну и некоторые другие браки. Мелик-Бегляровы владели одним из пяти впоследствии уже раздробившихся за уничтожением майората меликств и были у себя настоящими меликами, т. е. царьками.

Один из первых богачей на Кавказе, щеголь и законодатель мод, любитель красивых вещей, дед мой Павел Герасимович Сапаров вовсе не был противником иных культур, чем патриархальная армянская.

1923.V.5. В его доме восточные обычаи сочетались с симпатиями к русской государственности и европейской роскоши. В его дом привозились различные продукты и вещи из Персии и других восточных стран, причем в этом кругу родственных семей поддерживались сношения даже с Индией, куда выселилась одна из ветвей Мелик-Бегляровых. В обширном дворе деда часто останавливались караваны верблюдов, нагруженные восточными сластями. Шелковые ткани, ковры, драгоценная утварь наполняли дом, и склад жизни был наполовину восточный. Но вместе с тем дед и его братья поддерживали сношения с Францией и получали оттуда произведения роскоши и комфорта. В частности, в доме было много заграничных вещей, редких и не только по Тифлису. Были огромные севрские вазы и серебряная утварь, вещи именные от французского двора, уж не знаю какими судьбами доехавшие до Тифлиса. Так, у тети Ремсо были золотые часы с синей эмалью с именем, если не ошибаюсь, Марии Антуанетты; помню у мамы резную ореховую табакерку с профилем Людовика XIII, по поводу которой один из хранителей Эрмитажа сказал моему брату, что подобных имеется лишь несколько экземпляров во всем мире и что все они известны наперечет; припоминается медаль, выбитая в память Шекспира и весьма близкая к его времени, и т. д. Здесь

не место описывать дом Сатаровых, я хочу отметить лишь связь его с Европой. Из-за границы получались в особенности духи и ткани. Тут, однако, невозможно опустить одно обстоятельство: роскошь сапаровского дома была роковой, для него и послужила причиною гибели всего рода. Не зная, что предпринять, дед задумал обить комнаты драгоценным лионским бархатом. Действительно, в Лионе был изготовлен по специальному заказу какой-то необыкновенный бархат, затем оказавшийся на стенах сапаровского дома. Но ручное производство бархата, как известно, губительно для легких, и среди рабочих Лионской фабрики было много туберкулезных. Вместе с бархатом, жадно удерживающим в себе всякую заразу, в дом Сатаровых приехал и туберкулез. По-видимому, предрасположение к нему уже было в этом и родственных родах, но бархат послужил толчком болезни, и с тех пор Сатаровы и их потомки вымирают от нее один за другим. Эта болезнь была сапаровским роком, который дал всем членам настроение двойственное и трагическое: под слоем вкуса к земному и установке себя на земном содержится другое сознание – тщеты всех попыток и обреченности.

Но не следует думать, что с Запада были взяты Сатаровыми только внешние удобства и роскошь. Этот дом давал приют многочисленным иностранцам, появлявшимся на Кавказе; сношения с ними поддерживались и после, так что, очевидно, дом не был лишен культурных интересов. Так, постоянно бывал в доме академик Абих, первый исследователь геологии Кавказа; он-то, кстати сказать, и дал толчок моей матери уехать в Петербург ради дальнейшего образования.

В доме господствовал язык французский наряду с русским: и тот, и другой были тогда на Кавказе признаком культурности. Сапаров был близок со многими русскими, представителями гражданской и военной власти, принимал у себя.

В частности, одним из постоянных посетителей дома был известный генерал Комаров, который впоследствии женился на свойственнице моей матери Нине Шадиновой, от какого брака родилась писательница Ольга Форш. Что касается армяно-григорианского исповедания, то дом Сатаровых представляется мне, насколько я узнал об нем, бесконечно далеким не только от Церкви Армянской, но и вообще от религии, несмотря на мистически чуткую конституцию всех членов семьи. Религия, по-видимому, никем не отрицалась, так притупилось восприятие ее. У армян, первого из народов, принявших христианство, оно утратило свою ферментативную силу, и, всегда готовые пролить свою кровь за верность христианству и не чуждые практической стороне церковности, армяне давно уже не возбуждаются своим

исповеданием, как это вообще бывает со всем слишком привычным. Лишь внешний толчок обнаруживает религиозную массу тех из них, кто только что казался пустым в этом смысле. Тут появляется твердость, опирающаяся на двухтысячелетнюю привычку к верности.

Итак, в доме Сатаровых было достаточно широты к одному и безразличия к другому; к тому же обострение армянского национализма относится ко временам гораздо более поздним, а тогда на Кавказе общим лозунгом и вместе хорошим тоном была установка на Россию и на русскую культуру. И тем не менее даже в такой семье, как Сатаровы, далеко не охранительной ни в церковном, ни в национальном, ни в культурном смысле, брак дочери, притом любимой, с русским, притом же без положения и состояния, был делом вопиющим. Уже отъезд матери в Петербург вызвал гнев деда, и она уехала против его воли, с помощью брата Аршака, бывшего тогда, как и требовала мода, русским нигилистом. Дед терзался вторгшимся к нему в дом просвещением такого рода, хотя в моей матери, собственно, нигилизма никогда не было.

Но вполне естественно его ожидание всего худшего. Знакомство матери с моим отцом произошло в Петербурге, и, когда мать должна была уехать в Тифлис, отец же остался в Петербурге доканчивать курс в Институте Путей Сообщений, переписка их была на имя Аршака – тогда называвшегося Аркадием Павловичем – Сапарова, то есть, иными словами, скрывалась от деда. Мне неизвестно в точности, говорила ли с ним моя мать о возможности своего брака, на который она уже дала свое согласие. Но, прямо или косвенно, она выяснила себе его несогласие, и, по-видимому, вполне определенное. Уже после кончины его, последовавшей за разорением какими-то темными делами около его богатств со стороны управляющего и родственников и пожаром дома, она поступила согласно своему решению, но вследствие этого считала себя порвавшей со своим отцом и не прощенной им, а потому, из слишком большой щепетильности, оторвавшейся и от своего народа. Мне кажется, в этих чувствах матери, однако определивших тональность ее внутренней жизни, гораздо больше болезненной, преувеличенной честности и опять-таки болезненной и преувеличенной порядочности, нежели здравого понимания жизни. Но, вероятно, какие-нибудь неосторожные слова деда нанесли рану матери, не в меру болезненную, вследствие повышенной ее моральной чувствительности, и все дальнейшее стало обходить эту рану, постепенно расширяя добровольно исключаемое ею из своей жизни. При более легкой оценке жизни, легкой во всех смыслах,

конечно, можно было бы и к нарушению отцовской воли отнестись не столь формально, тем более, что и дед не был совсем не прав в своих опасениях смешанного брака и притом – в нигилистическое время. Если бы дед остался жив, то весьма вероятно, он отнесся бы к данному браку не принципиально, а как к частному случаю, примирился бы с ним, оставив в стороне общие свои убеждения, и оценил бы мужество своей дочери; ведь сестры матери и их мужья, гораздо более националистичные, нежели семья Сатаровых, высоко ценили моего отца и были с ним близки. Следовательно, мать вполне могла бы успокоить себя мыслью, что впоследствии недовольство отца рассеялось бы и что какие-нибудь внутренне не взвешенные слова, сказанные сгоряча разорившимся, больным стариком, уязвленным перед смертью с самых разных сторон сразу, несправедливо и жестоко учитывать по-настоящему. Она всю жизнь считала себя как бы не принадлежащей к своему роду и до смешного скрывала даже самые пустяковые подробности, касающиеся прошлого, да и не сама только никогда не желала сказать об этом предмете ни слова, но и более простым в подобных вещах сестрам своим строго запретила сообщать нам, детям, что-нибудь, а нам – делать попытки расспросов. Но самое замечательное – это что мать и запреты свои запрещала понимать как таковые, так что от нас требовалось просто забвение всех этого рода щекотливых вопросов. А между тем естественный интерес к своему роду возбуждался еще нечаянно подглядываемыми в маминых шкафах и ящиках вещами из сапаровского дома, правда, немногими уцелевшими, но зато действительно достойными внимания. Эти вещи тщательно прятались от нас, но по маминой мягкости кто-нибудь из детей, несмотря на ее сопротивление, все же, улучив минуту, когда шкаф или ящик был **отперт,** влезал туда и вытаскивал что-нибудь занимательное. А далее – неизбежны и расспросы. Обычный разговор на эту тему, начиная с детства и до взрослых лет включительно, происходил с матерью неизменно по такой схеме: кто-нибудь из нас, забыв о запретах или делая попытку нащупать, не забудет ли о них на этот раз сама мама: «В котором году, мама, умер твой отец?»

Мама, очень сухо: «Не помню».

Кто-нибудь из нас, делая новую попытку в таком же роде: «А твоя мама когда умерла?»

Мама, как бы небрежно, но на самом деле с беспокойством: «Ах, оставь, пожалуйста, эти глупости». Или: «Охота тебе заниматься такими пустяками».

Но спрашивающий не унимается, и самые неприятные вопросы – о фамилии.

«Как была фамилия твоей бабушки?»

Мама, очень внушительно и полагая конец разговору: «Раз навсегда я тебя прошу не заниматься такими пустяками. Есть же у тебя свое дело!»

Кроме указанной выше душевной раны, мать руководилась в этих запретах или, может быть, себя старалась уверить, что руководится опасением, не делаются ли подобные расспросы из тщеславия, и тогда она замечала с подчеркиванием в качестве противоядия: «Мы – люди самые обыкновенные, самые простые». Но это говорилось так усиленно, что у нас даже в раннем детстве не было веры в непедагогичность этого заверения.

Мать сознавала себя оторвавшейся от своего рода и даже, правда, по разным мотивам, отдалилась от всех своих родственников, кроме сестер; я не берусь судить о достаточности мотивов к этому отдалению, но, во всяком случае, мать отвергла их, а не они ее. Конечно, при таких условиях было болезненным преувеличением считать себя без рода, тем более, что все сестры ее чрезвычайно уважали, если не обожали ее, и были в самых дружеских отношениях с моим отцом. Но рана моей матери расширилась и более. Если бы и в самом деле весь род отверг ее, то это бы еще не означало разрыва со своим народом и тем более – со своею Церковью. Может быть, ни ту, ни другую связь мать не чувствовала крепкой; но, во всяком случае, в ее нежелании сказать хотя бы слово по-армянски или говорить и читать об Армении или об армянах, равно как и зайти хотя бы из любопытства или нас завести в армянскую церковь, мне всегда чувствовалось нечто гораздо большее, нежели простая отдаленность и отсутствие интереса. Мать боялась всего, что связано с Арменией, а далее, по иррадиации, это распространялось, во-первых, на Кавказ вообще, во-вторых, на национальный и государственный вопрос, затем на вопрос религиозный и в особенности на вопрос родовой. Все эти вопросы, как бы издалека они ни затрагивались, очевидно привычными уже ей и, может быть, мало сознаваемыми путями многочисленных сцеплений неизбежно приводили ее к болезненному ощущению своей раны. В особенности же она боялась подобных возможностей с нашей стороны. Удивительно, как мало значат в таких обстоятельствах побуждения умственные. Ведь мама много и не без толку читала. Ей не чуждо было естествознание, но преимущественно она читала книги исторические, и притом настолько внимательно, что никогда не оставляла ни одного неизвестного иностранного слова не уясненным себе. Теоретически она лучше нашего понимала значение наследственности, значение рода, важность знакомства

с прошлым, небезразличие психологии народов и даже значительность религии. Но это лишь теоретически и вообще. Я уверен, она могла бы сказать нам много полезного и сказала бы, если бы была гарантирована отделенность всех общих мыслей от приложения их к нам самим и к ней. Но всякое проявление ее задерживалось боязнью, как бы от «вообще» мысль не перешла к «частности», и потому «в частности» она не то чтобы не понимала, а – не позволяла себе понимать, как противилась и нашему пониманию.

Мне пришлось здесь сделать длинное отступление; но без него едва ли было бы понятно то особое семейное обстоятельство, которое заставляло родителей наложить табу на религию. Это обстоятельство было раной матери и осторожностью с этой раной – отца. Если мать оставила для него свой род и свой народ, то и ему, чтобы восстановить равенство, не оставалось ничего, как сделать то же в отношении своего рода и своего народа. При этом была захвачена и Церковь. Церковь Армянская явно националистична и сознается армянами таковой; я не слышал ни об одном случае обращения в армянское исповедание, армянскому духовенству прозелитизм безусловно чужд, и, думается желание присоединиться к Армянской Церкви со стороны члена иной Церкви было бы встречено армянским духовенством как сумасбродство. Церковь Русская менее националистична, но и в ней много, даже чересчур много этнического и национального, возведенного в норму славянофилами. В сознании людей, богословски не полированных, каковыми были и отец мой, и мать, эта этничность и националистичность Церквей еще заострялась. Если мать чуждалась Армянской Церкви и не **желала** утверждать в себе **близостью** к ней своей народности, а чрез народность – своего рода, то отец был далек от Церкви Русской не только фактически, но и более сознательно, чтобы не **подчеркнуть** этим, что он русский. Мать не соприкасала нас с армянским религиозным бытом по причине понятной; отец же не желал подобного соприкосновения с религиозным бытом православным из предупредительности к матери, и потому наложен был запрет в этом смысле и на тетю Юлю. Но там, где находился явный общий множитель двух бытов, вроде, например, и у нас явно ритуального пасхального стола, не убиравшегося целую неделю, – там этот быт поддерживался крепко. Такова же была елка и, сколько помнится, убранство зеленью в Троицын День.

1923.V.7. Это были добровольные, хотя и не тесные касания к церковности. Пасха, как весенний праздник, особенно понятна на

юге, где к этому времени вся природа уже развертывается вполне. Великий Пост проходил у нас не совсем без отклика церковному уставу, и хотя мы не постились, но в это время обед часто бывал из одних овощей. Тут все члены семьи с удовольствием встречали принятую на Кавказе постную и полупостную еду. Лобия в различных видах – похлебкой с грецкими орехами, отварными зернами с уксусом и прованским маслом, поджаренная с яйцами; стручковая лобия, с яйцами и нередко с цыплятами, которые почему-то тоже должны были сойти за пищу постную. К посту открываются бачки с солеными бутонами джонджали, соответствующими отчасти северной капусте, откупориваются банки с солеными же цветочными стрелками какого-то луковичного растения вроде того, что на севере называется подснежниками, и мы очень любили разрезать нитку, которой аккуратно связывались в солку эти стрелки. Неизменно появлялись всевозможные маринады, употребляемые на Кавказе скорее как еда, нежели как приправа, что возможно без вреда для здоровья вследствие употребления уксуса исключительно винного и притом домашнего. Тарелки с кистями крупноягодного винограда, персиками, грушами, вишнями, особенно любимые нами маринованные «шишки», т. е. мушмала, и другие фрукты в маринованном виде казались нам привлекательными, как нечто не совсем обыкновенное. Но из солений и маринадов более всего я ценил белые грибы, которые на Кавказе подавались в то время как редкость и привозились с севера. При болезненности моей этих грибов мне почти не давали, главным образом руководясь распространенною на Кавказе боязнью грибов.

Папа мало считался с взглядами рациональной гигиены и сам всю жизнь, кроме предсмертной болезни, когда он уже не мог выполнять свою волю, не показывался врачам и не лечился, хотя и имел среди них личных друзей; из лекарств единственное исключение он делал лишь для хинина, который глотал прямо в воде почти каждый день. Но папа очень прислушивался к голосу народа и думал, что в каждой местности народно-гигиенические воззрения, сложившиеся веками, наиболее приемлемы, поскольку указывают на приспособления «туземцев» к климату. Самое слово «туземцы» звучало у папы, или мне казалось звучащим, настолько многозначительно, что я долгое время относил его только к наиболее привлекательным для себя полинезийцам и всяческим островитянам, открытым Куком и его под конец съевшим. Сила детских мысленных обертонов велика так, что и сейчас я почувствовал бы себя нарушителем правильности языка, если бы это зовущее слово на «у» применил к людям одетым и с белою кожей. Для меня кавказцы были слишком свои, отец же еще был

отделен от них чувством экзотики и потому тоже, вероятно, говорил это слово с тембром экзотичности и не применил бы его к русским мужикам. Так вот, верою в экзотическую мудрость кавказца побуждался он соблюдать и гигиеническое предание, один из пунктов которого есть запрет всех грибов, кроме шампиньонов и трюфелей, а другой, еще более признанный, – боязнь воды после обеда и в особенности после жирного, рыбы и сырых овощей и фруктов.

Приятным постным блюдом были отварные в воде белые корневища **свинтри** и другие травы и коренья. К постному времени уже появлялась неизменная на Кавказе зелень – редиска, кресс-салат, укроп, тархун (эстрагон) и **кинза,** которой, впрочем, я не мог видеть за ее запах травяных клопов.

Все это было, конечно, очень далеко от поста, но слегка оттеняло Пасху, на Кавказе очень празднующуюся. Мы любили эти приготовления за несколько дней до Пасхи и волновались ими, чувствуя наступление чего-то **особенного,** тем более, что символика пасхальной еды, хотя и не понимаемая нами, все же как-то смутно улавливалась. Часть приготовлений, по-видимому, стараниями тети, делалась ею самою с нашей помощью и, как имеющая по чину священности, не передавалась повару. Мы красили яйца, делая их мраморными с помощью нащипанной разноцветной корпии, которая почему-то должна была быть непременно шелковой; протирали творог и крупные яичные желтки сквозь сито, удивляясь выходившим с другой стороны червячкам; чистили распаренный в кипятке миндаль, вытаскивали из скорлупы фисташки, толкли пряности, взбивали белок с сахаром, иногда допускались и к более ответственным делам – размешиванию творожной массы на пасху, жидкого теста для мазурок и разных мелких печений, даже до торжественного выпускания яиц в тесто. Эти приготовления тетя делала с большою любовью, стараясь возместить ими недостаток прямой церковности, и втягивала в них отчасти маму и прочих. Некоторые отделы пасхального приготовления – куличи, обязательный печеный барашек, столь же обязательный поросенок и окорок передавались на кухню, но потом подлежали тщательному осмотру. С окорока, за несколько дней до того погруженного в воду с отрубями и затем запеченного в тесте, обгорелую корку снимали непременно сами. Осматривался поросенок, обложенный зеленью и с пучком петрушки или кресс-салата во рту, пасхальный агнец, украшенный наивными манжетами из розовой и белой бумаги. Когда взбивалось что-нибудь вроде гоголь-моголя и т. п., каждый раз указывалась необходимость совершать вращательные движения рукой в одну и

ту же сторону и в определенном смысле для разных веществ по-своему, – теперь я уж забыл, когда требуется такое вращение. Наконец, все приготовления закончены, и столы заставляются блюдами и тарелками, которые должны стоять здесь несколько дней и даже целую неделю. Чтобы дать отдых прислуге, первые три дня Пасхи готовка кушанья отменяется, и самое большое – для маленьких разогреют бульон. В доме водворяется любезный нам праздничный беспорядок, когда можно не сидеть за скучным обедом и пощипывать мимоходом целый день что попадется под руку и в любых сочетаниях. Папа, вообще отстаивавший наше право на беспорядочность, по крайней мере, в еде, тут становился нашим безусловным защитником, и мы с удовольствием слышали много раз в день его: «laisse-le»[15] или «laisse-la»[16] к маме или тете, когда начинали расковыривать пасху ради извлечения изюма или миндаля, вытягивали из целого теста кусочек барашка, тщетно пытались разжевать соблазнительную кожу от окорока или наедались горчицей.

К Пасхе, как и к другим праздникам, и общим, и семейным, мы готовились еще и в других отношениях. Во-первых, – костюмы, шившиеся к праздникам; но они занимали нас сравнительно мало. Я твердо усвоил себе, что не будут же родители держать меня в поношенной одежде и обуви, и потому считал в чистоте и опрятности моей одежды заинтересованными, собственно, их, а не себя; как «необходимое», и притом не мне, одежные приготовления к празднику я только терпел, тем более, что скучал примерками и, кроме того, вообще очень не любил надевать на себя что-либо новое, включительно до приказов и слез. Но это не значит, будто я не ценил нарядов. Может быть, я вообще стал относиться пренебрежительно к своей одежде именно от слишком большой любви к нарядам, с детства получив в этой области болезненную рану от судьбы, сделавшей меня мальчиком. Больше всего стремился я к красивому, а красивое представлялось мне свойством, достоянием и правом женским. Поэтому, когда окончательно выяснилось мне, что я не могу быть девочкой, а тут еще, словно назло мне, стала подрастать Люся, я, так сказать, стиснув зубы, отвратился от своей одежды, которая, казалось мне, конечно, не может быть красивой: я хотел бы полупрозрачного шелка, красивых складок, кружев, бантов, шляпу с колибри, духов и украшений, притом чтобы это все было цветов нежных и светлых. Мои ссоры с Люсей коренились именно в чувстве обездоленности природой. Люсины наряды вызывали мой гнев не по зависти, а главным образом потому, что старшие старались меня уверить, будто мальчики не любят «тряпок» и что это – особенность девочек, а я на собственном опыте знал, что

люблю платья и понимаю в них толк уж получше девчонки – Люси.

Итак, своим костюмом я не бывал обрадован; напротив, всякий раз он подливал к праздничной радости горького чувства. Совсем иначе относились мы все к подаркам. Праздник без подарков показался бы нам нарушением всякой правды, и мы готовились к этим подаркам задолго и задолго ими начинали волноваться. Но я имею здесь в виду не только и даже не столько подарки, нами получаемые как сюрпризы, делавшиеся нами родителям и всем старшим. // Уже задолго до праздников начинали мы шептаться в укромных уголках, что подарить кому. Старшие, особенно папа, часто поощряли нас к подаркам и выражали непритворное удовольствие, получив что-нибудь, но при этом всегда отмечали необходимость дарить собственные работы. Следовательно, надо было придумать для каждого какую-нибудь безделушку, о которой можно было бы не с полным неправдоподобием говорить как о нужной. И папа всегда представлял наши подарки как именно то, в чем он нуждался в данную минуту. Вдоволь насоветовавшись с Люсей – в такие времена у нас водворялось полное согласие, – мы затем вели переговоры с каждым из старших относительно всех прочих. Затем, иногда с помощью тети Юли, иногда самостоятельно, мы выполняли свои планы – рисовали, шили, вышивали и вязали, клеили, потом постепенно стали писать. Рисовал я исключительно цветы, часто с натуры. Они казались мне единственным предметом, достойным моего карандаша и моей кисти; изредка сюда присоединялись колибри и другие птицы, но и то не для подарков. Правда, когда я был еще совсем житейски неопытен, меня интересовали, как тема, также невесты, преимущественно за их кисейную фату и корону. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне о запретности этой темы. Но один вечер я осмелел и, собрав в один фокус все возвышенное, на куске великолепного бристольского картона изобразил принцессу-невесту, собиравшуюся венчаться (я не знал, что, собственно, значит это слово, но правильно угадывал, что оно может мотивировать соединение изящнейших сторон жизни). Эта принцесса была под фатою, с локонами, а распущенные волосы ее украшала высокая корона. Это великолепие было противопоставлено огромному конверту в ее руке – письму, запечатанному черною печатью и в траурной рамке: принцесса только что получила известие о смерти жениха ее – принца. По лицу принцессы и по платью катились круглые и крупные слезы, побольше грецкого ореха и вроде жемчужин ее ожерелья. Хорошо помню, меня подвигла к такому сюжету вовсе не жалость, а

исключительно художественные возможности сопоставить радостное и грустное и заключить в их промежутке некоторую закругленную полноту отдельных тем, и свою принцессу я рассматривал только как нечто красивое.

В самый разгар моей работы в папин кабинет вошла мама и, взглянув на мой рисунок, какими-то интонациями голоса подтвердила мне на всю жизнь уже предчувствующуся мною решительную неприличность моего замысла. Не только я сам, но и все невесты во мне, принцессы, короны, смерти и прочие соприкосновенные обстоятельства в несколько секунд сгорели, сгорели от стыда так безостаточно, что впоследствии я никогда уже не мог найти в себе отклик им и малейшее внутреннее признание. В несколько секунд надорвались мои внутренние отношения к женскому началу, чтобы никогда больше не возобновляться. Мама ушла, так и не узнав впоследствии, что она наделала. Правда, подобному событию, вероятно, все равно предстояло бы совершиться когда-нибудь и без мамы, потому что трудно себе представить описанный случай без внутренней подготовки; может быть, известные мои чувства дозрели бы и отвалились сами собою. Но я не могу не верить, что я должен был стать таким, каким стал, и в этом смысле болезненный разлом живого еще был, пожалуй, целесообразен, как сделавший меня более сознательным и более суровым в прохождении предназначенного пути. Мое не просто непризнание психологизмов и духовного мления, а внутренняя враждебность к ним, почти физическое отвращение к нечеткому и мажущемуся лежат на линии именно этого отхода от стихии женской и, вероятно, были очень надежно закреплены именно в этот памятный вечер.

Но пока что он не уничтожил сразу женского характера моих подарков: это были саше с фиалковым корнем, вышитые и сшитые мною, салфеточки, вытиралки для перьев, коробочки, рамочки, записные книжки и блюдца для булавок, абажуры – все раскрашенное, шитое и вышитое, или украшенное засушенными растениями, или оклеенное морскими камешками, ветвями кипариса, которые мы золотили, и т. п.

Было и занимательно, и неловко хранить тайну, о которой, впрочем, все знали. Мы были приучены к полной правдивости, преувеличенность которой принесла впоследствии в жизни много неприятностей и много затруднений. Весь строй семейной жизни воспитал в нас на всю жизнь паническое ощущение, что всегда требуется точная и полная правда и что малейшая недомолвка или уклончивость ничем не отличаются от настоящей лжи, а хуже лжи – ничего не придумаешь. Впрочем, самого слова «ложь»

старшие до нас не допустили, как предельно осуждающего, и нам известно было лишь название «неправда». «Сказал неправду» – было оскорбительным и тяжким обвинением, которому я за все детство подвергся раза три, но несправедливо. Так как дети, раз только они усвоили нечто, то непременно переходят к пределу и применяют воспринятое уже абсолютно, то и мы превзошли в чувстве формальной правдивости требования и намерения старших. Когда прислуге на праздники давалось распоряжение не принимать визитеров, объявляя, что «никого нет дома», мы мучительно страдали за такую, как казалось нам, неправду. // И эти внушения не остались без последствий. Развилось болезненно заостренное чувство правдивости, при котором малейшее отступление от полной и точно формулированной истины казалось преступным. Такой рьяный защитник, как Кант, утверждает, что хотя никто не должен говорить неправды, однако никто не обязан говорить всю известную ему правду. Вот это-то замалчивание, эту уклончивость мы привыкли с детства отождествлять с прямой неправдой, и всегда казалось необходимым сказать все, что думаешь, не из желания поговорить, а из мучительной боязни дать повод к ошибке. Никогда не приходила в голову мысль отнестись равнодушно к такой ошибке и снять с себя этот грех мысли, переложив его на собеседника. Поэтому соблюдение тайны было нестерпимо. Не сказать о подарке, казалось мне, почти равносильно неправде, и притом в данном случае – неправде самым дорогим и близким. Мы крепились перед праздниками, как могли, но это доставалось дорогой ценою.

Были соприкосновения с Церковью, которым, как мне казалось, а может быть, и было на самом деле, родители мои подчиняются по необходимости и с неохотой. Разумею крестины моих сестер и братьев. Обыкновенно это событие возможно оттягивалось, пока, наконец, ребенок не вырастал настолько, что уже невозможно было далее оставлять его некрещеным, да и самое крещение делалось, вследствие значительных размеров и самостоятельности ребенка, затруднительным. Но год обыкновенно миновал уже, прежде чем крещение устраивалось. Впрочем, тут, по-видимому, присоединялось и влияние кавказского быта, ибо на Кавказе детей вообще крестят поздно. Разговоры и переговоры о крестинах велись, оставаясь мне неизвестными; но как-то я угадывал предстоящее и внутренне сжимался, потому что не то учуивал, не то соображал о необходимости и мне самому принять участие в обряде. У нас так боялись фальшивого положения с этими крестинами, что старались обставить их как можно незаметнее и обойтись

домашними средствами, не привлекая к крестинам внимания посторонних. Ввиду этого меня делали крестным отцом. Может быть, я слишком учитываю более внешние мотивы такого выбора; представляется теперь мне возможным и другой, не высказываемый вслух отцом мотив, – сблизить таким образом меня с братьями и сестрами. Но это делалось насильственно и вдобавок без разъяснения, к чему, собственно, я призываюсь, и **без** признания за мною каких-либо прав крестного отца. Поэтому мое участие в крестинах было для меня тягостью и ничуть не способствовало церковности. Я и без того был болезненно застенчив, и всякое проявление себя пред несколькими людьми вместе мне было непреодолимо трудно. А тут меня заставляют участвовать в событии, которого какую-то многозначительность я непосредственно чувствовал и которого, как мне чувствовалось, сами родители не то боятся, не то стыдятся. Я же его и боялся, и стыдился и потому заранее старался принять меры, чтобы как-нибудь ускользнуть от предназначавшихся мне обязанностей. Но никакие отговорки не помогали, и в предчувствии неминуемого я начинал метаться. Помню, когда должны были крестить Лилю, а может быть, и Шуру, я, завидя издали церковный причт, без шапки и как был, вбежал к нашим соседям Пассекам. В те времена в нашей семье такое бегство, без шапки, было событием столь же необычайным, как в большинстве семей бегство детей в Америку, и потому никому в голову не могло придти искать меня у Пассеков. Обыскали у нас весь дом, но меня, конечно, не нашли, и церковный причт сидел в нелепом ожидании. Пассеки встретили меня любезно, но, очевидно, учли странность моего визита и, вероятно, послали прислугу к нам сообщить обо мне. За мной пришли и, на радостях, что я нашелся, даже не рассердились. Но как только меня привели домой, меня вдруг охватило такое смущение и такой страх, что я снова вырвался из рук старших и в какой-то из задних комнат забился под кровать, в пыльный угол. Опять ищут меня, а я скорчился под кроватью и с замиранием слышу, как приближаются ко мне поиски. Наконец, меня находят, вытаскивают из-под кровати, приходят в ужас, что теперь сделать с моим грязным костюмом, сердятся, наскоро переодевают и умывают и ведут. В последнем отчаянии я делаюсь равнодушным ко всему, даю делать над собою все, что хотят, и плохо сознаю самое крещение, пока наконец не начинается чай после него. Мне хорошо запомнилась очередная неловкость за этим чаем и каждый раз повторяющееся взаимное смущение и наших, и, как у нас обычно говорилось, «священников», хотя священник, собственно, был только один: к этим крестинам готовилось обильное угощение и, вероятно, чтобы сделать его

лучше, почти исключительно – мясное и вообще скоромное. И как на грех, крестины обычно приходились в постный день, и священникам нечего было есть. Это было тем более нескладно, что обычно ведь у нас часто подавалось растительное и рыба.

В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже, как креститься. Между тем я чувствовал, что есть целая область жизни, значительная, таинственная, что есть особые действия, охраняющие от страхов. Втайне я влекся к ней, но не знал ее и не смел о ней спрашивать. Украдкой я подглядывал, что мог, и тайком старался применить свои наблюдения, опять-таки как мог. Под покровом безразличия мое отношение к религии не было ровным и менее всего могло быть названо безразличным. Я метался между страстным влечением к религии и приступами борьбы с тем, чего я не знал, но реальность чего сама собою давалась мне властно. У меня было ощущение, что этот неведомый мне вопрос необходимо привести в ясность и или утвердить в себе Бога, со всеми вытекающими отсюда последствиями, или… я и сам не знал, что значит это второе «или», потому что в голову не приходила возможность простого отрицания. Да и как мог я отрицать Того, кто светил моему сознанию светом своей реальности? Единственным выходом было богоборство. Я знал реальность Божию, но знал и любовь и достоинства родителей, а еще более – свое достоинство как человека. И тогда моментами я восставал против Бога, не то чтобы отрицал Его, а не желал подчиняться. Я хорошо помню пантеистический смысл этих восстаний.

> Я часть той тьмы, которая вначале всем была,
> Той тьмы, что свет произвела…

Бог – реальность и Свет, Он велик; но ведь и я тоже реальность, и тоже не тьма, – ибо я еще не ощущал жало греха и не знал смерти, а следовательно, не сознавал себя тварью. «Я не отрицаю Бога; но я, человек, тоже бог, и хочу быть сам по себе» – таков был смысл моих переживаний. Повторяю, неощущение в себе греховности и, как казалось, внутренняя безупречность всего кругом меня и во мне, некая абсолютность и законченность всего уклада жизни делали невместимой в сознании мысль о смерти. Окруженный благородством и трепещущий в экстатических внутренних звуках, я был почти в Эдеме, и это «почти» закрывало мне глаза на мимолетность и ничтожество всего существования. Я не мот мыслить о себе, как о ничтожной твари, и хоть маленьким, но был богом. Однако какие-то подземные удары Судьбы и

отдаленный гул подземных недр смутно доходили до моего внутреннего слуха, как ни был я упоен миром. Пока и когда это был только безличный и неоформленный гул, мое сердце сжималось ужасом, и я притаивался в ожидании. Я говорил себе и другим с глубокой уверенностью, что папа, мама, и тетя, и все наши никогда не умрут, и, действительно, мысль о смерти их не могла войти в состав моих прочих мыслей. Я говорил так; а в самой глубине, несмотря на всю силу уверенности, чувствовал – что-то не так, какой-то невыразимый и бессмысленный ужас, такой страшный, что мысль цепенеет от него и никак его не мыслит. Этот ужас подымался из бездн и, неуловимый, казался сильнее всего, сильнее Бога, сильнее даже тети, папы и мамы. Все уравнивалось пред лицом этой гибели, однако это было так глубоко под сознанием, что тогда и себе самому я не решился бы сказать таких слов.

Но вот внешний повод выдвигает Бога как всесильного и безмерно превосходящего человека. Или это неправда, или Он отвечает за все ужасы, о которых я и сказать не смею. Конечно, Он: не я же, слабый и не делающий ничего плохого. И тогда я возгораюсь гневом. Это детская и вполне непосредственная постановка всей проблемы теодицеи, до которой я дошел своим – не умом даже, а почти телом. Я восстаю и готов неистовствовать. Невинный на взгляд и полный чарований пантеизм необходимо увлекается к восстанию, к богоборчеству, к титанизму и пресвитерианству, а если разойдется – и к настоящей бесноватости. Слишком трудной внутренней работой досталось мне знание, чтобы уступить его. Да, я знаю, что такое Бетховен. Без этого божественного самосознания нет импульса жизни, и творчество дышит этим кислородом. Когда он, вопреки всем усилиям, все-таки прорывается в нас, мы чувствуем себя виноватыми и потому смиряемся. Но духовная струя, несшая меня, была совсем иною, и человеческое благородство тут не вторгалось в божественный закон, а ставилось на место этого божественного закона. У родителей был уклон сюда. Я же, никогда не умевший делать что-либо наполовину и по самому имени своему бывший желанием, смывавшим на пути своем всякое препятствие, рано понял культ человечности как человеческое самообожествление и рано услышал в Бетховене эту бесконечно родную себе стихию титанизма. Конечно, я не сказал бы тогда этих слов, не сказал бы именно так, как сейчас говорю, но, впрочем, и не очень далеко отсюда, ибо образы Прометея и Титанов с детства я чувствовал **своими.** Вот почему имя Бог, когда мне ставили его как внешнюю границу, как умаление моей человечности, способно было взорвать меня, тогда взмывалась вся

гордость – человечностью, семьей, самим собою, и я, столь далекий от богословия и столь как будто безразличный к нему, вдруг оказывался прекрасно в нем осведомленным, ибо совсем не растерянно наносил детские удары в места, наиболее трудные для богословия. Один из таких споров с детьми артистов Лилеевых, живших в одном с нами дворе, мальчиком Сашей и девочкой Женей, отстаивавших предо мною всемогущество и благость Божию, закончился с моей стороны взрывом гневных богохульств. Конечно, я не мог сказать каких-либо особенно скверных слов, но – исключительно по неведению; воля же моя была дойти до конца, и, истощив с многократным повторением весь свой небогатый словарь ругательств в отношении Бога, я чувствовал, как задыхаюсь от неспособности сказать какое-то решающее слово. Я начал было спорить с детьми и вознегодовал, что они ссылаются на своих родителей, тогда как того же самого мои родители мне не говорили. Мне стало вдруг ясно, что речь идет о чем-то существенно важном и что, следовательно, или все это, надо думать, не так, как говорят Лилеевы, или мои родители сами находятся в глубоком заблуждении, раз не говорят мне наиболее важного. И вдруг предо мною встала необходимость выбора: или Бог, а с ним ничтожные и пошловатые Лилеевы, с семьей-богемой мелких опереточных артистов, или благородство человека в лице моих родителей и, следовательно, правота их убеждений (– ибо что это было бы за благородство при грубом неведении важнейшего —), т. е. самостоятельность в отношении Бога и нежелание считаться с Ним. Мне сразу стала ясна – я хорошо помню этот момент – внутренняя несоединимость того и другого, Бога и человека, и представилось необходимым излить гнев либо в ту, либо в другую сторону. Наконец, мои богохульства показались детям страшными, они закричали, что не хотят слушать, и, зажав уши, побежали жаловаться своей матери. Прошло немного времени, и актриса Лилеева явилась к нам с жалобой на меня. Я не знаю, с кем говорила она, но наши не сочли возможным трогать меня и с этими, для них не менее щекотливыми вопросами, тут же. Каким-то краем не то уха, не то глаза я учуял, что старшие об этом случае совещались между собою, и я уже ждал для себя неприятностей, но мне никто не сказал ни слова. Прошло несколько дней. Я считал этот случай исчерпанным, как однажды вечером, среди самого интересного разговора о растениях, в связи с увлекавшей меня тогда книгой Висковатова «Из жизни растений», которую читала мне тетя Юля, она вдруг переменила тон и сказала, что, по поручению папы, она будет говорить относительно жалобы на меня Лилеевых. «Ты говорил про Бога нехорошие слова и ими смутил Сашу и Женю.

Папа и я думаем, что каждый может верить, как он хочет. И ты можешь думать о Боге, что хочешь, это твое дело. Но нужно уважать верования других людей, и нехорошо смущать других. Мы надеемся, что ты сделал это по незнанию и что больше этого никогда не будет».

// Этого действительно никогда и не было после, но не потому только, что запретила тетя, а по более внутреннему побуждению: сильные внутренние движения я никогда не был способен повторять и не хотел повторять. Повторяемость и множественность, не знаю, в силу какого из потрясений раннейшего детства, были мне нестерпимы, как дурная бесконечность, предмет томительной скуки, отвращения и ужаса. С детства привык я к мысли, сформулированной впоследствии: нет такой хорошей вещи, чтобы в соединении со словом **«много»** она не делалась невыносимой. Внутренняя определенность явления не допускала в моей мысли его повторяемости и его умножения. Изобилие было мне всегда мучительно: пусть будет роскошь, но замкнутая в себя, не допускающая «еще и еще», единственная в своем роде. Постепенно возникавшая во мне острая ненависть к эволюционизму, к беспредельному расширению астрономических пространств и геологических времен, к этому вторжению в мир дурной бесконечности – коренилась именно в детской моей боязни к слову «много». Поднявшись до внутреннего движения, выраженного достаточно, я больше не хотел к этому возвращаться, отчасти и не мог: если нечто действительно сказано, то оно не может быть повторяемо, оно родилось от меня и уже теперь не во мне. Я могу сказать еще что-нибудь другое, может быть, еще выразительнее, но уже не скажу того.

Так и в описанном выше случае я уже излил свой аффект гнева, и больше мне нечего было сказать по этому поводу. Но это еще не означало моего примирения со всеми нормами. Чрезвычайно послушный ко всяким запретам и требованиям, когда они исходили от тех, кто был мною уже признан, я готов был броситься на всякую новую норму, неожиданно ставшую предо мною, и испытать ее крепость на опыте. И тут чрезмерное замалчивание родителями многих вопросов вместо того, чтобы уничтожить во мне в корне самые возможности некоторых мыслей, подготовляли, наоборот, почву поступков, совершенно не предвиденных.

В нашем дворе, во флигеле, кроме Лилеевых – двух братьев, женатых на двух родных сестрах, жила еще семья евреев, фамилии которых я не помню. Но имя одного из них крепко запало мне в слух. Это – ядовитые звуки **Янкель.** Это были

контрабандисты и фальшивомонетчики. Когда они внезапно бежали, очевидно накрытые полицией, бросив большую часть своего имущества, мы с интересом находили в их квартире паяльные трубки и лампы, гальванические элементы, типографскую кассу, ящичек с резиновыми еврейскими литерами и какими-то таинственными знаками для набора и печатания, всевозможные химические и слесарные инструменты, много химических веществ и другие странные предметы, назначения которых нам не могли разъяснить и старшие. Это была настоящая кухня ведьмы, а тогда была воспринята мною совсем по-гофмановски.

Но не об этом, собственно, хотел я говорить. До своего бегства семья эта держалась очень замкнуто, днем они сидели запершись, со спущенными шторами, и, вероятно, спали, а работали ночами. Мы почти никогда не видели живших там мужчин, и лишь изредка проходила двором и к воротам, мимо нашего балкона, женщина лет тридцати из таинственной квартиры, одетая крикливо, ярко, но в шляпе корзиной, явно преднамеренно скрывавшей все лицо. Она уходила за провизией и, вскоре вернувшись, снова запиралась в своем флигеле. Я не помню в точности был ли особенно затенен деревьями угол двора, где помещался этот флигель, но моя память представляет всю заднюю часть двора и в особенности этот угол окутанными полумраком, как в поздний вечер. Трудно себе представить такую сумрачность при батумском солнце, и моя память, очевидно, внесла в зрительные впечатления духовную окраску нашего двора, что-то глубокое, загадочное, полное неизвестностей и страхов, уходящее в полную тьму. В этой-то тьме и гнездились наши контрабандисты. Их загадочность, конечно, влекла меня к ним, хотя я и боялся подходить к их флигелю. Этот интерес однажды весьма заострился от сообщения Сашей Лилеевым, что эти люди – «жиды». Такого слова в нашем доме я, конечно, никогда не слыхивал, и в звуках его мне сразу почуялось нечто жуткое и насыщенное, а потому – знаменательное. Мне захотелось сказать такое слово, но Саша предупредил меня, ссылаясь на своего отца, что говорить так не следует, потому что жиды очень не любят этого слова и сильно рассердятся на него. Я почувствовал по глухой густоте звука, привлекшего меня, какую-то правду в словах Саши, но счел нужным усумниться в точности этого сведения, как исходившего не от моих родителей; Саша настаивал, даже испуганно. Тогда я сказал, что сейчас испытаю, правду ли он говорит, хотя и сам боялся и внутри себя уже поверил ему. Как раз на случай увидели мы во дворе женщину из таинственного флигеля, собравшуюся на рынок. Устроив засаду

за перилами, я с замиранием стал ждать ее прохода, и когда она поравнялась с нами, выскочил из-за засады и отчетливо сказал: «Саша, смотри, вон идет жидовка», – а затем снова спрятался в засаду. Эффект моих слов превзошел все ожидания. Сперва эта женщина растерялась и, остановившись, молчала в ярости, а потом крикнула: «А ты – скверный мальчишка» – и быстрым шагом прошла вперед. Ее замечание было для меня, при чрезмерной сдержанности в словах всего нашего дома, ошеломляющим и неслыханным оскорблением. Но я почувствовал в ее ярости подтверждение, что слово «жидовка» действительно особое слово, полное магической силы и жути. Это ощущение так внедрилось в меня с этого случая, что еще до окончания университета я совершенно не мог переносить его, но не за смысл, а в чисто звуковом отношении, и даже до сих пор оно не проходит мимо моего слуха гладко, как другие слова, хотя бы даже ругательные. Как откликнулся мой детский опыт на гоголевское оплотнение всякого чернокнижества, некромантии и какой-то густой, черной жидкости, которую пьет колдун, – оплотнение около слова **жид.** Ну, конечно, не еврей! В этот звук не воплотишь черноты мрака, колдовства и ужасов. Сплетение уголовных дел, тайны, не то колдовства, не то химии, странно-крикливых одежд, густого гортанного выговора наших контрабандистов в моем воображении очень легко слилось с гоголевскими колдунами, и все это естественно уперлось в звуки слова «жиды».

Так я колебался между влечением к каким-то нормам, мне неведомым, и бунтом против них. Я старался доходить своим умом до церковности и вместе с тем смертельно боялся, как бы не было сказано вслух что-нибудь церковное. Я не то видел – не то слышал, что люди как-то крестятся; но я не успевал подметить, как именно это делается, не смел «бесстыдно» вглядываться, а тем более спросить, крестятся ли одним пальцем, двумя, тремя или пятью, собранными в одну точку. Я колебался между двумя и пятью, в первом случае – большим и указательным, а тайком крестился на ночь то так, то этак, стараясь соблюсти полную тайну, – крестился, натянув на голову одеяло и в почти темной спальне. На даче в Боржоме я пользовался относительной свободой и проходил небольшую улицу – путь к Андросовым – один. По дороге я крестился изобретенным мною способом и снимал шляпу: я боялся и собак, и неведомых ужасов. Я взывал к Богу, Которого не знал, и мое сердце было полно страха, тоски и надежды на чудесную помощь. Уж в чем другом, а в чудесной помощи я никогда не сомневался. И в душе я тогда уже твердо верил, что Бог слышит меня и не оставит меня. Но от религии

меня так отстраняли, что, даже когда представлялась возможность узнать нечто, я пугался и в замешательстве отказывался. Однажды я копался в комоде у тети Юли и, вытаскивая маленькие ящички с пуговицами и мелкими вещами, наткнулся на небольшую черную книжку с изображением Креста. Вид ее смутил и испугал меня. Тетя объяснила, что это – святая книга, Евангелие, и предложила мне дать почитать его (читать я научился самоучкой в таком раннем детстве и так незаметно, что не помню, как это случилось). Мне слишком хотелось заглянуть в нее, чтобы я мог согласиться на предложение тети: я наотрез отказался. Тетя вышла тут за чем-то из комнаты, а я улучил минуту и стал читать. Это было несколько минут. Родословие Христа в Евангелии от Матфея показалось мне таинственным и вполне отвечающим черному переплету маленькой книжки, и мне захотелось знакомиться с нею далее. Но тут вернулась тетя Юля. Желая взять свой отказ обратно, но не сознаваясь в своем интересе, я с полусмехом сказал ей про родословие нарочно легкомысленным тоном, хотя был на самом деле испуган и мне вовсе было не до смеха. Это должно было означать, что я уже приступил к чтению и могу продолжать его. Но тете мой тон показался неподходящим, а может быть, она вспомнила, что поступила самочинно, не сказав ничего родителям. Книга была у меня взята и заперта, а тетя добавила, что мне, наверно, еще рано читать Евангелие. И после этого у нас с ней о Евангелии никогда не было речи.

Между тем в безоблачность моих детских восторгов стали вторгаться ужасы, как ни оберегали от них мой внутренний мир. По мере того, как рос я, росли со мною и духовные существа, населяющие природу, или оттеснялись другими существами, о которых раньше я не думал и о которых раньше я не знал. Эльфы теперь реже были в моих мыслях, а лешие – чаще. Раньше русалки были только очаровательны своими длинными зелеными волосами, а теперь я стал догадываться и об опасной их стороне. Губительные духи природы стали выползать из тени по ту сторону ограды моего Эдема, и я чувствовал, как они смелеют и теряют свое благодушие. Каждый куст, каждый затон, каждое темное пространство теперь становились опасными и вызывали тревогу. Меня пронизывал иногда внезапный страх в комнате днем и еще больше – на ярком солнце, около полудня; когда я оставался один.

<V.> Особенное

1920. VI.25. Серг[иев] Пос[ад] (1916.X. 15). Все особенное, все необыкновенное мне казалось вестником **иного** мира и приковывало мою мысль, – вернее, мое воображение. Но мысль моя всегда бывала окрылена воображением, которое позволяло забегать ей вперед и затем уже двигаться по намеченному следу. Неведомое было для меня не неизвестным обычным, а скорее, наоборот, известным, но **необычным** явлением, вторжением в обычное из области трансцендентной, нападением на обычное неведомое – необычного, однако, сладостно ведомого, родимого, откровением из родных глубин. Оно только и казалось заслуживающим познания, достойным предметом познания, тогда как не особенное скользило бледною тенью. Неведомое питало ум, а все не удивляющее, не вызывающее удивления представлялось какой-то сухой мякиной, не содержащей питательных веществ. Впрочем, не удивляющего, не особенного было очень мало; и многое из того, мимо чего равнодушно проходят старшие, затрагивало ум и отпечатлевалось в своем первообразе. Этот Urphaenomenon[17] делался далее орудием познания, категорией, основным философским понятием, около которого все группировалось и координировалось, около которого выкристаллизовывался весь опыт. Таким именно образом уже с самого раннего возраста сложились в моем уме категории знания и основные философские понятия. Позднейшее размышление впоследствии не только не укрепило и не углубило их, но, напротив, сначала, при изучении философии, расшатало и затемнило, не дав ничего взамен, если не считать чувства горечи. Но мало-помалу, вдумываясь в основные понятия общего миропонимания и прорабатывая их логически и исторически, я стал на твердую почву, и когда огляделся, то оказалось, что эта твердая почва есть та самая, на которой я стоял с раннейшего детства: после мысленных скитаний, описав круг, я оказался на старом месте. Воистину я ничего нового не узнал, а лишь «припомнил» – да, припомнил ту основу своей личности, которая сложилась с самого детства или, правильнее говоря, была исходным зерном всех духовных произрастаний, начиная с первых проблесков сознания.

Всю свою жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. Это – вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме

СИМВОЛА.

Умственный взор направлялся в разные стороны; много разных предметов прошло предо мною. Однако не я проходил пред ними, ибо искал одного, всегда одного, и внутренне занят был одним, всегда одним. Я искал того явления, где ткань организации наиболее проработана формующими ее силами, где проницаемость плоти мира наибольшая, где тоньше кожа вещей и где яснее просвечивает чрез нее духовное единство. Впрочем, может быть, я не совсем удачно говорю. Дело в том, что для меня отношение высвечивающего и просвечиваемого, вещи и кожи, никогда не было **внешним.** Никогда я не собирался созерцать это духовное единство **вне** и **независимо** от его явления. Кантовская разобщенность ноуменов и феноменов, даже и тогда, когда я еще не подозревал, что существует хотя бы один из перечисленных тут четырех терминов: «кантовская», «разобщенность», «ноуменов» и «феноменов», – она отвергалась всегда всем моим существом. Напротив, я всегда был в этом смысле платоником, имеславцем: явление и было для меня явлением духовного мира, и духовный мир **вне** явления своего сознавался мною как неявленный, в себе и о себе сущий, – **не** для меня. Явление есть самая сущность (в своем явлении, подразумевается), имя есть сам именуемый (т. е. поскольку он может переходить в сознание и делаться предметом сознания). Но явление, дву-единое, духовно-вещественное, символ, всегда дорого мне было в его непосредственности, в его конкретности, со своею плотью и со своею душою. В каждой жилке его плоти я видел и хотел видеть, искал видеть, верил, что могу видеть, – душу, единую духовную сущность; и сколь тверда была моя уверенность, что плоть не есть только плоть, только косное вещество, только внешнее, столь же тверда была и обратная уверенность – в невозможности, ненужности, самонадеянности видеть эту душу бестелесной, обнаженной от своего символического покрова. Да попросту я стыдился видеть ее обнаженной и не согласился бы смотреть на ее наготу. Гностицизм, так понимаемый, всегда претил мне, и всегда мой ум был занят познанием конкретным. Впрочем, самая мысль о наготе души вещей не приходила мне в голову и была бы для меня тогда, ранее, если бы предложили ее мне, пустой, беззвучной, выдуманной. Мне претил позитивизм, но не менее претила и отвлеченная метафизика. Я хотел видеть **душу,** но я хотел **видеть** ее воплощенной. Если это покажется кому материализмом, то я согласен на такую кличку. Но это не материализм, а потребность в конкретном или символизм. И я

всегда был символистом. Покровами вещества не сокрывались в моем сознании, а раскрывались духовные сущности; а без этих покровов духовные сущности были бы незримы, не по слабости человеческого зрения, а потому, что нечего там зреть; но все дело в том, **как** разуметь вещество. Вещи в себе всегда были для меня непознаваемы, но не по скептическо-пессимистической оценке познавательной способности человека, а потому, что там **познавать нечего.** И повторяю сказанное в начале, что неведомое было таковым не потому, что было неизвестным, а потому, что оно **познавалось,** и познавалось в своих вторжениях в познаваемое, оставаясь при этом ино-мирным, ино-природным, своеобразным и странным, по обычному пониманию. Но знаком, знамением его неведомости было в моем сознании прочно укоренившееся различие между «кажется» и «есть». **Кажется** так-то и так-то, но **на самом деле** обстоит совсем иначе, совсем наоборот, в полной противоположности своему казанию. Однако это противоположение не имело ничего общего с кантианством. В кантианстве противополагается вещь своему явлению. Но как возможно противоположение там, где невозможно сравнение, где нет никакой познаваемости вещи, где один термин противоположения всецело имманентен, а другой – всецело трансцендентен? Мне же представлялось с раннейшего детства, что явление есть именно явление, объявление, проявление вещи, от вещи не отделяется и потому – столь же «здесь», как и «там». А вещь мне казалась являющей себя своими явлениями и потому пребывающей столь же «там», как и «здесь». Противоположность «кажется» и «есть» состояла для меня в самых явлениях, в самых выявлениях. Бывают выявления поверхностные, а бывают и более глубинные. И сами о себе они свидетельствуют как о таковых. Вглядись в явление – и увидишь, что оно есть шелуха другого, глубже его лежащего. И то, глубже лежащее, – есть «ноумен» в отношении первого как «феномена». Когда пристально вглядываешься в явления, то усматриваешь там то, чего ранее вовсе не видел и, более того, чему видел противоположное. Это-то и составляет **«есть»** в отношении к тому **«кажется».**

Но **есть** – ничуть не хуже, нежели **кажется,** – тоже может быть воспринимаемо каким-то тончайшим восприятием, и тут-то на глубине, когда подойдешь к тому «есть», то видишь не только его, но и то, что «кажется», выражающим свое же противоположное, т. е. подлинное «есть». Таково, по крайней мере, было убеждение мое с раннейшего моего детства. Но, повторяю, это убеждение стало с того же времени зерном всех других убеждений. Иначе мыслить я не могу, иной склад мысли отрицается всем моим существом.

Философски, в терминах критицизма, основной вопрос моей жизни может быть назван вопросом о «схематизме чистых рассудочных понятий», конечно, разумея это сочетание терминов расширительно. Как общее сочетается с частным, отвлеченное с конкретным, духовное – с чувственным? В силу чего явление может быть бесконечно значительнее себя самого, открывая перспективы на ряды явлений, само делаясь их типом и вместе возводя ум от явлений к первоявлению? В силу чего чувственное может становиться **схемою** сверх-чувственного? Проблема этого схематизма была **моей** проблемой, даже когда я не слыхивал имени Канта. Помню, много лет тому назад отец мой, когда я был еще в одном из средних классов гимназии, заметил мне, что сила моя – не в исследовании частного и не в мышлении общего, а там, где они сочетаются, на границе общего и частного, отвлеченного и конкретного. Может быть, при этом отец сказал еще – «на границе поэзии и науки», но последнего я твердо не припоминаю. Тогда я плохо вник в его слова и несколько обиделся на такое суждение обо мне, полагая, что настоящий человек, т. е. пребывающий в мышлении отвлеченном, – это чистый ученый, под каковым разумел я мышление научное. Самое сопоставление моей мысли с областью поэзии мне казалось унизительным. Но папа, помню, настойчиво твердил свое и даже добавлял, что хотел бы в будущем моей работы в этой пограничной области. Тогда я находился и теоретически и психологически в наибольшем отдалении от своего детского мировоззрения, и потому такое суждение обо мне было наименее своевременным. Но, очевидно, и в этом иссякании детства отцовское суждение обо мне было правильным, хотя мне и не хотелось, чтобы это было так. Любивший меня и следивший за мною с волнением, отец должен был знать меня и иметь основание для прогноза. Впрочем, я не могу сказать, чтобы мой протест в данном отношении был внутренним, и **в себе** я знал правоту отца.

После того разговора отец мой в разные времена, и в частности, когда я был в Университете, говаривал мне то же: он одобрял мои стремления перебросить мост от математических схем теории функций к наглядным образам геометрии и к явлениям природы; он считал, что тут я работаю на своем месте. Неоднократно просил он меня напечатать работу мою о прерывности как элементе мировоззрения. Отец считал, что именно идея прерывности лежит пропастью между мировоззрением его поколения и тем, сказочным, мировоззрением чуда, к которому стремлюсь я. По мнению отца, доказать в явлениях природы прерывность – это и значит разбить

позитивизм и провести в жизнь обратное. Он говорил, что эта идея прерывности направлена против того, что защищает он, но что он считает делом величайшей важности сделать попытку обосновать ее и полагает мои приемы, отвлеченно-конкретные, наиболее соответствующими потребностям нашего времени. Хотя я и сознавал правоту его, т. е. в отношении характера своей мысли, однако старался не согласиться с ним, потому что мне чувствовалось в словах его какое-то уничижение **чистой** мысли, под каковою я разумел исследование понятий и категорий, имеющее предопределить правильную постановку конструкций мысли. Но, конечно, теперь я вижу, что был прав не только отец мой в отношении меня, но и я в своем подозрении, что папа не только **устанавливает** характер моей мысли, но и одобряет его и, следовательно, – бросает некоторую тень на чистое мышление. Ведь и у него самого мышление было промежуточным между конкретным и абстрактным: не без причины же любимый писатель и мыслитель был у него Гёте. В конце концов, отец мой утверждал наше родовое свойство, ибо таков же был и дед мой Иван Андреевич Флоренский, а другой дед, Павел Герасимович Сапаров, судя по его страсти к тканям, духам, красивым вещам и т. п., отличался еще большею конкретностью мышления. Мною унаследована эта плотскость мысли. Хорошо это или плохо – судить не мне, но отец мой был прав в установке самого свойства. На девять десятых, если не более, содержанием моей внутренней жизни всегда были мои **думы,** но никогда не тихие, а всегда бурлившие и горевшие, мои **интеллектуальные волнения.** Мысль моя не протекала систематически, а всегда волновала и поражала меня. Она была всегда прерывистой, то запрятываясь глубоко в область подсознательную, то вспыхивая с ослепительной ясностью, чтобы тут же вновь скрыться в подсознательный мрак. Это была не линия течения, а скорее пунктир, и образ подземных рек, простегивающих земную поверхность, казался мне особенно близким. Предметом же дум и волнений всегда была проблема **Символа,** то в частных применениях и по частным, но меня всецело захватывавшим поводам, то в ее прямой постановке, так сказать в логический упор, и притом чем далее – тем прямее и тем определеннее.

Да, если говорить о первичной интуиции, то моею было и есть то таинственное **высвечивание** действительности иными мирами – просвечивание сквозь действительность иных миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать, настолько оно определенно, и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа, окончательного закрепления, окончательного «остановись, мгновение». Оно бежит, ибо оно живет; оно питает

ум и возбуждает его, но никогда не исчерпывается построениями ума. И я любил его именно как живое, мне любо было, когда оно играло под моим взором, и клокотала в сердце исступленная радость, когда удавалось как-то охватить его, разоблачая облачением в новые символы; но никогда в голову не приходило обнажение, никогда мысли не было об умерщвлении, об остановке, об анализе. К тому же, несмотря на всегдашний восторг ума, он был очень трезв и не самообольщался, понимая невозможность такого обнажения. Было ясно мне, что этот анализ был бы **самообманом.** Но отказ от него был мне не в уныние, не горечью и не скорбью, даже не самообузданием, а просто спокойно-ясным чувством, да, сперва **чувством,** а потом уже мыслью, что этого не нужно, что это-то и есть отказ от знания, что это – не прискорбный отступ пред неведомым, а напротив – **это-то и есть истинное его познание,** ибо неведомое – прежде всего есть неведомое, в своей особой качественности, и то познание, которое сделало бы его **не** неведомым, которое лишило бы его качества неведомости, было бы не познанием, а величайшим заблуждением. Мне хочется, чтобы это основное мирочувствие мое было понятно вам, мои дети. Все дело было для меня в том, чтобы познать мир в его жизни, в его подлинно существующих соотношениях и движениях. Но то, что в мире есть **неведомое,** было, как я воспринимал, не случайным состоянием моего, еще недоведавшего, ума, а существенным свойством мира. Неведомость – жизнь мира. И потому мое желание было познать мир именно как **неведомый,** не нарушая его тайны, но – подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в своей подлинной сущности, т. е. как **тайна.** Прекрасное тело одеждами не сокрывается, но раскрывается, и притом прекраснее, ибо раскрывается в своей целомудренной стыдливости. Напротив, тело бесстыдно обнаженное – закрыто познанию, ибо потеряло игру своей стыдливости, а она-то и есть таинственная глубь жизни и свет из глубины. И вот теперь, оглядываясь вспять, я понимаю, почему с детства, с тех пор почти, как научился я читать, у меня был в руках «Гёте и Гёте без конца» – т. е., конечно, не брошюра Дюбуа Реймона, а самый Гёте. Он был моей умственной пищей. Рассудочно я мало его понимал, но определенно чувствовал – это и есть то самое, что сродно мне. А то, к чему я стремился, – было гётевским первоявлением, но, вероятно, в еще более онтологической плотности, по Платону. Это был

URPHAENO MEN ON.

Пора сказать об этом и облегчить душу.

1920.VII.8. Каз[анской] Бож[ией] Мат[ери].

Так было в миропонимании. Что же касается до самого жизненного **отношения** к миру, то тут определяющими были поиски тех мест его, где мировой пульс нащупывается отчетливее, где внятнее говорят потусторонние голоса природы.

Я никогда не был любопытным; но мое поведение заставляло окружающих считать меня таковым, весьма таковым. Узнать то, что меня не касается, мне никогда не было привлекательным. Но с непреодолимой силой пригвождалось мое внимание всем тем, что сквозило явнее первоявленностью. Необычное, невиданное, странное по формам, цветам, запахам или звукам, все очень большое или очень малое, все далекое, все разрушающее замкнутые границы привычного, все вторгающееся в предвиденное было магнитом моего – не скажу ума, ибо дело гораздо глубже, – моего всего существа. Ибо все существо мое, как только я почувствую это **особенное,** бывало, ринется навстречу ему, и тут уж ни уговоры, ни трудности, ни страх не способны были удержать меня, – если только мне нечто представилось как первоявление. **Желание,** расплавляющее пред собою все препятствия, как черный огонь гремучего газа, раз оно возникло, – должно было насытиться зрелищем первоявления. Услышишь, бывало, о чем-нибудь, в чем почуется отверстой тайна бытия, или увидишь изображение – и сердце забьется так сильно, что, кажется, вот сейчас выскочит из груди, – забьется мучительно сильно; и тогда весь обращаешься в мучительно властное желание увидеть или услышать до конца, приникнуть к тайне и остаться так в сладостном, самозабвенном слиянии. Повторяю, это было не возгоревшееся любопытство, которое все же поверхностно, а стремление гораздо более глубокое и сильное, потрясение всего существа, плен и порыв в неведомое. И страшно, и сладко, и истомно – хочется. Мысль о тайне солнечным зайчиком, каким-то световым пятном застревает в мозгу; да, я нарочно говорю **в мозгу,** ибо это стремление по силе своей и непреодолимости захватывало весь организм как рефлекс, физиологически.

Это была жажда знать, упиться познанием тайны, всецело слить себя с таинственно высвечивающими ноуменами. Пред нею отступали все другие стремления, все другие влечения – страсть всепожирающая – к Природе. То, что обычно называется «секретами» и «тайнами», отношения общественные и вообще человеческие, людская сумятица, загадки истории – все это весьма мало волновало меня. Природа, во всех ее сторонах, во всех событиях своей сокровенной жизни, – она одна держала меня

в плену.

Но то, что называют законами природы, мне всегда казалось личиной, взятой временно. Иные силы зиждут миром, и иные причины направляют течение ее жизни, нежели то принимается наукою. Эти силы и эти причины порою приподымают взятую на себя маску и выглядывают из щелей научного миропорядка. Иногда природа проговаривается и, вместо надоевших ей самой заученных слов, скажет иное что-нибудь, острое и пронзительное слово, дразня и вызывая на исследование. Тут-то вот и подглядывай, тут-то и подслушивай мировую тайну, лови этот момент. Где есть отступление от обычного – там ищи признание природы о себе самой. И с раннейшего детства я был прикован умом к явлениям необычным. Когда взор направлен в эту сторону, то в самом сочетании обычного **(если бы** поверить вообще в окончательную реальность обычного), в нем уже чуется бесспорное вмешательство **необычного,** чего-то большего обычных свидетельств о себе самой природы. Колосс Мемнона, издающий звук при восходе солнца, поющие пески, пещеры с нависающими сталактитами и торчащими снизу сталагмитами, гейзеры, время от времени воздымающие фонтаны своих вод, огнедышащие горы и грязеизвергающие сопки, человекообразные скалы, ядовитые и ароматические растения и т. д. и т. д. теснилось в уме и непрестанно волновало. Много поводов к трепету отыскивалось в этом смысле в русском журнале «Природа» и во французском «La Nature», который получался у нас со времени его основания Гастоном Тиссандье и до кончины моего отца. Но особенно привлекали мое внимание статьи в «Природе» о великанах и карликах, о метеоритах и более всего – об уродствах.

Физическое уродство, безумие, яды, губительные болезни, всевозможные разрушительные силы естества – все это казалось неизъяснимо интересным и влекущим; если где, то тут уже наверное природа проговаривается, – думалось мне. Она скрывается, молчит или шутит, играет со мною, чтобы пробудить меня к деятельности, и она **хочет** быть познаваемой мною. Но иногда она поощряет, как будто нечаянно приоткрыв свои завесы. Таковы уродства. В этой области я мало находил и нахожу откликов себе в окружающих, которые брезгливо морщились от рисунков, рассматривавшихся мною бесчисленное количество раз и никогда мне не надоедавших. Мне же они были несказанно привлекательны и сладко волновали таинственным, слегка запретным чувством подглядывания в приоткрывшуюся дверь. Но потом я нашел полное выражение этого своего чувства у своего любимца Т. А. Гофмана, в словах Киприана из «Серапионовых

братьев». «Мне всегда казалось, – говорит Киприан, – что в тех случаях, где природа уклоняется от правильного хода, мы легче можем проникнуть в ее страшные тайны, и я нередко замечал, что, несмотря на ужас, который овладевал мною иной раз при таком занятии, я выносил из него взгляды и выводы, ободрявшие и побуждавшие мой дух к высшей деятельности». Просматривая в сотый раз рисунки шестипалых рук и ног, сросшихся близнецов, людей с двумя головами, циклопические уродства с одним глазом на лбу, людей, обросших волосами, и прочих чудищ, я запомнил их столь предельно отчетливо, что и сейчас мог бы воспроизвести любой рисунок. Каждое из таких уродств зияло предо мною как метафизическая дыра из мира в иное, первоосновное бытие, и с колотящимся от волнения сердцем приникал я к этим прорывам мироздания и жадно всматривался в чернеющую за ними ночь. Потом, когда я научился читать и не расставался с едва ли не первой из прочитанных мною книг, сочинениями Пушкина в издании Павленкова, как знакомо звучало во мне пушкинское:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

1920.VII.9. Вот именно, там, где спокойный ход жизни нарушен, где разрывается ткань обычной причинности, там виделись мне залоги духовности бытия, – пожалуй, бессмертия, в котором, впрочем, я был всегда уверен настолько прочно, что оно меня даже мало занимало, как не стало занимать и впоследствии и подразумевалось само собою.

Весь мир был сказкою, в одних местах притаившеюся, в других – открытою. Но и там, где сказка мира казалась спящей, я видел притворство: глаза ее были приоткрыты и сквозь ресницы высматривали ожидательно.

Сказки. Вопреки прирожденному сказочному складу всего моего мирочувствия, родители всячески отделяли меня от мира сказок. Одной из причин к тому была моя чрезмерная впечатлительность; представлялось родителям, что введение меня в мир «фантазии» будет ущербом моему здоровью, и без того слабому, так что мою чересчур возбудимую нервную систему оберегали от впечатлений, в которых не неосновательно предвидели богатую пищу для страхов и чувства таинственности природы. Но, кроме того, родителям казалось необходимо

оберегать меня и в смысле мировоззрения, чтобы с детства внедрить мне взгляды естественнонаучные и забронировать доступ мыслям о мире потустороннем.

Отец мой, более матери скептичный и потому более матери терпимый, и в этом отношении был открытее и допустил бы сказки легче. Это он, правда, когда я уже входил в иной возраст, стал покупать мне сказки, несмотря на явное неудовольствие матери. Но мать моя гнала сказки от нас, детей, беспощадно. Сказок нам не рассказывалось и не читалось, книг со сказками тогда не дарилось, и самые понятия народной мифологии должны были остаться чуждыми нам. Такова была программа – воспитать ум чистым от пережитков человеческой истории, прямо на научном мировоззрении. И нам, детям, в особенности мне как старшему, показывались изображения зоологические, ботанические, геологические, анатомические и т. п. Предо мною с пеленок стояли всевозможные явления организованной и неорганизованной природы, запечатлевшиеся в памяти с крайнею резкостью. Отец, тетя Юля, изредка мать рассказывали и объясняли, безжалостно изгоняя все сверхъестественное: на все находилось свое объяснение в духе натурализма, схематически простое и насквозь понятное. При этом подчеркивалась строгая закономерность природы и непрерывность всех ее явлений. Когда же я, всегда возбуждавшийся к концу дня, наконец, укладывался, после всех оттяжек и протестов, спать и долго-долго ворочался в томлении с боку на бок или просматривал, обводя глазом, рисунки ковра и обоев, изученные мною до каждого пятнышка, папа сжаливался надо мною, приходил в спальню и, присев на край кровати, начинал свои рассказы. Это были то какие-нибудь путешествия – Ливингстона, Стэнли или Кука, дикие народы, из которых меня особенно привлекали людоеды, каменный и бронзовый век, добывающая и обрабатывающая промышленность, геологические периоды, строение солнечной и звездной системы, канто-лапласовская гипотеза жирообразования, волновая теория звука и света, основы термодинамики, дарвинизм, суть которого отец видел в непрерывности. «Бесконечно малые причины, действуя веками и накопляясь в течение очень долгих эпох, могут дать конечное изменение – вот что открыл Дарвин», – говорил мне отец. Останавливаюсь на этом потому, что и в понимании отца именно **идея непрерывности** была оплотом и средоточным скрепом научного мировоззрения, научности, тогда как душою сказочного, по его убеждению, была обратная идея – **прерывности.**

Едва ли не наибольшее внимание мое привлекали к себе кометы. С томлением, которое можно уподобить разве что

сильной жажде, – ею я непрестанно страдал в детстве, – хотелось мне увидеть **своими** глазами комету, и, за неимением подлинника, я разжигал свое воображение рисунками комет в «Conversations Lexicon» Мейера и в курсах астрономии. Но зато я получал некоторое удовлетворение от рассказов папы, как сам он видел кометы: по чувству единства с отцом, его глаза были для меня почти что моими, и комета, виденная папой, была вроде как бы виденная мною. Папа же говорил об одной комете, виденной им в юности, вероятно, об августовской комете 1876 г., и о другой, бывшей в год моего рождения, сентябрьской комете 1882 года, считавшейся, по словам Нюкомба, «самым замечательным зрелищем в нашем столетии».

Все это и многое подобное рассказывалось не раз и не два. По общему признанию, отец мой отличался большими педагогическими способностями; ясно представляя и понимая все то, что хотел объяснить, он умел и рассказать все так ясно, что даже трудные и скучные предметы сами собою и с интересом укладывались в голову. Он ничего не делал кое-как, нехотя и без вкуса, но за что бы ни взялся, все оживало в его руках и его словах. Все облагораживалось, делалось занимательным и значительным, сам он увлекался каждым делом, освещая его своими отчетливыми знаниями и соотнося с далекими перспективами. При этом он горячо любил нас, а мы – его; а вдобавок самая обстановка ночного полумрака, при ночнике, с предстоящей томительной бессонницей, заставляла впиваться в ночные рассказы отца. И понятно, слова его, вопреки основному складу моему, не проходили бесследно, внедряясь в сознание и производя свою работу. Над моим собственным миропониманием в духе магического идеализма образовывалась пленка, преграждавшая свободу дыхания; это была идея непрерывности, как существенно исключающая чудесное, и она пыталась пронизать мой ум. В душу внедрялись понятия, ей чуждые, существу ее враждебные, и, утесняя ее, в то же время сами преобразовывались в чуждое, как мне думается, намерениям отца. Родители хотели меня уберечь от излишнего нервного подъема; но все эти Млечные Пути и туманные пятна, звездные годы, спектроскопы и телескопы, кольца Сатурна, спутники Юпитера и фазы Венеры, геологические периоды, бесконечно малое и бесконечно большое, бактерии и плезиозавры, коническое лучепреломление и северное сияние и т. д. и т. д. – волновали и возбуждали ум гораздо больше, чем естественные, общие человечеству и всем детям, представления о русалках и леших, и притом противоестественно, нездоровым волнением, ибо отрывали меня от меня самого и направляли душевную жизнь в

сторону, ей не свойственную. Факты и фикции науки были для меня гораздо менее естественны, нежели мистическая фауна сказок. Родители, особенно отец, хотели воспитать во мне критическую мысль и решительно отсечь какую бы то ни было возможность религиозного догматизма, а в связи с ним – и фанатизма с нетерпимостью, опаснее чего, по глубочайшему убеждению отца моего, не может быть ни одна страсть. Чтобы пресечь в себе и в других возможность фанатизма, он подрывал жар убеждений аксиомой об относительности всякого знания и всех суждений. «Нет ничего на свете абсолютного», – было его постоянным изречением. Но меня удивляет, как просмотрел он научный протест против относительности наших знаний, в ребенке такой естественный. Вместо общечеловеческого догматизма религиозного и общечеловеческой же нетерпимости религиозной во мне закладывался догматизм научный, катехизис научного миропонимания, противоестественный в основе дела, ибо суть науки как раз обратная – в критичности; на почве научного догматизма готовился произрасти научный же фанатизм и научная нетерпимость. Развивалось высокомерие от науки, нужно сказать, убийственное высокомерие, ибо с точки зрения научного догматизма все непричастные ему расценивались как почти что не люди даже.

Лаплас и Лайелль, Дарвин и Геккель и прочие заняли места в душе, им не принадлежащие по существу дела, и, занявши, облеклись атрибутами святых отцов и учителей Церкви. Но хуже всего было то, что, горяча голову и бередя мысль, все эти воззрения, усвоенные весьма твердо и яростно для употребления ad extra[18], в душе, как предмет собственного пользования, не встречали внутреннего отклика и оставались, несмотря на силу внешнего их высказывания мною же, на периферии души.

Произошла семинарщина навыворот. Там – догматические понятия Церкви остаются на периферии, а более глубокая душевная жизнь руководится материализмом, эволюционизмом и механизмом. Тут было напротив, но с тою опасною разницею, что привитие с детства церковных понятий, хотя и иным способом, чем это достигается в духовных семинариях, соответствует потребностям души, а привитие научного мировоззрения идет против них. Глубоко затаилось в душе восприятие мира как живого и духовного, вся естественная символика природы, все волнения, нравственные и нежные. Этому не было места в области мысли, научное приличие требовало, чтобы об этом не говорилось, с этим не считались и относились как к несуществующему. Но оно не перестало существовать и ушло в подполье. В душевной жизни моей образовалась трещина, начало

возникать раздвоение, трещина стала шириться и впоследствии повела к большому кризису, о котором будет сказано на своем месте.

Но возвращаюсь к своему рациональному воспитанию. Желая обезопасить меня от «мистики», родители на деле работали в обратную сторону, не допуская меня в детстве воспринять все то, что огрубляет кожу души и лишает ее чрезмерной мистической чувствительности. Мой организм в отношении мистики не приобрел иммунитета. Не имея в этом смысле естественного, всенародного питания, я тем жаднее и тем страстнее рвался сюда **своими** путями, сам открывая запретные мне представления, сам создавая свою мифологию и ревностно восстанавливая, сколько мог, мифологию народную по тем ее обломкам и намекам, которые несла с собою, того не подозревая, любая книга, самая речь и, наконец, – полусознательные обмолвки тех же родителей. Как ни уберегали меня от мистической фауны родители, я быстро своим умом добрался и до леших, и до русалок с домовыми, в особенности же до фей, гениев, эльфов и т. п. существ – изящных, легких и светлых. «Никогда эти сказки, которые, замечу мимоходом, в детстве мы постоянно слушали с восторгом, а отнюдь не со страхом, – впоследствии прочел я у Гофмана в «Зловещем Госте» и нашел полное подтверждение в своем внутреннем опыте, – никогда, повторяю, эти сказки не оставили бы в нас такого глубокого следа, если бы в душе нашей не существовало самостоятельных, звучащих им в ответ в том же тоне струн. Отрицать существование странного, непонятного нам до сей поры особого мира явлений, поражающих иной раз наши уши, иной раз глаза, нет никакой возможности, и поверьте, что страх и ужас нашего земного организма только внешнее выражение тех страданий, которым подвергается живущий в нем дух под гнетом этих явлений».

В своем опыте я нахожу полнейшее согласие со словами Гофмана, с тою, однако, разницею, что мое мистическое мировосприятие не было тогда мрачным, темная сила меня мало заботила, а взор преимущественно обращался к существам очаровательным и благодетельным, к душам цветов, и птичек, и ручьев, к феям и эльфам, порхающим, как колибри, на свою и на мою радость. Мир, более тяжеловесный и грозный, тоже ощущался мною, но он стоял на заднем плане, изредка рокоча отдаленным громом, и лишь впоследствии выступил вперед: тогда начался период страхов и ужасов.

Сказки – **вовсе** не оставили внешнего следа на моей душе, но самостоятельные и сказочные испарения подымались из душевных недр и оплотневали в образы, – подобные исконным

образам народной веры. Тайне природы откликались струны души, и звук их, не имея готовых, облегчающих выход протоков в образах общечеловеческих, вырывался с тугою и болью, скопляясь, может быть, чрезмерно, ища выхода, ища облекающей ее формы. Эта потребность в мистике, эта жажда чудесного обращалась туда, где можно было надеяться на хотя бы кажущееся чудо.

Фокусы привлекали мое воображение, побуждая в самом понятном, по-видимому, сочетании действий и приемов, мне разъясненных и мною отлично усвоенных, все же видеть какой-то иррациональный остаток: **понятно –** и все же что-то большее простого сочетания ловких приемов. Я знал, как делается фокус, подобно тому, как я знал, почему происходит известное явление природы; но за всем тем, и в фокусе и в явлении природы, виделось мне нечто таинственное, которого не могли разрушить никакие уверения старших. Самая **видимость чуда** уже была чудесна. Не без причины же магия всегда была не чужда и престидижитаторства, что не мешало, однако, самим магам верить ее силе. // Не без причины фавматургия[19] древних и «белая магия» средневековья и Возрождения главным образом состояли из фокусов. Там, где чудесное исключено в самой основе, фокус, разумеется, есть **только** фокус, пустая видимость несуществующего, невозможного. Но когда чудесное **вообще-то** признается, вторжение его не может быть мыслимо только в определенных, строго очерченных выходах из мира; как благовоние, оно все собою заволакивает, хотя есть места большей и есть места меньшей благоуханности. Чудесное тогда мыслится как музыкальное сопровождение. Оно составляет задний фон всего происходящего, но с большей или меньшей внятностью, и то, в чем этот звук раздается мощными раскатами медных труб, существенно не иное, чем содержащее нежнейшие звуки флейты. Все чудесно, все пронизано таинственными силами и их деятельностью, только – в одном случае это более явно, в другом – не так. Как волны в океане, отражаясь от особой береговой линии, иногда чрезвычайно усиливают друг друга, так и некоторые явления относительно чудесного ведут себя вроде вогнутого зеркала. Все чудесно. В этом смысле и фокус, как бы он ни казался понятен, в основе своей – чудесен. Но там, где налична **воля к нарочитой чудесности** или хотя бы к призраку чудесного, трудно не ждать такого усиления стихии чудесного, пронизывающей собою все. Ведь эта воля и есть производящая причина фокуса. Когда она удовлетворяет себя хотя бы игрой в чудесное, подражая ему, изображая его и заставляя зрителей – лишь на мгновение – в сорвавшемся «ах»! – поверить в

свершившееся внятное чудо, там не может не быть какой-то **волны,** какого-то мгновенного порыва, какого-то явления и впрямь того, что **более** пущенных в ход наличных физических средств и ловкостей. Видимость чудесна, хотя и видимость; она в самом деле содержит в себе некое мгновенное чудо и тем вызывает природу на подражание. Фокус есть вовсе не так «просто», как думают старшие, а – прием подражательной магии, ибо вся магия, в конце концов, сводится к посылаемой волевой волне, к концентрации ее известными ритуалами и к произведению в мнимости – поэтическому, живописному, скульптурному, драматическому, хореографическому и т. п. – того чуда, которое ждется и ищется. Не этими словами, но в этом направлении думал я о фокусе в раннем детстве. Тогдашние свои мысли могу подтвердить одною любопытною справкою.

Известный страстностью своей борьбы против спиритизма и вообще всяких суеверий Леманн ради полного изобличения медиумов-фокусников, как утверждает он, предпринял ряд сеансов, в которых сам выступил в качестве медиума, т. е. как провокатор-фокусник, и в общественных собраниях производил различные заведомо фокуснические проделки. Он имел успех, обманул своими фокусами многих. Но… сам оказался обманутым: заведомые, собственноручные его фокусы, производимая им видимость спиритического чуда, даже при отсутствии магической воли, по крайней мере со стороны самого Леманна, вызывала путем подражания подлинные спиритические явления, вопреки убеждению и вопреки намерениям ученого-фокусника. «…Достоверно, что как Девэй, так и я достигли результатов через фокусничество», – пишет он. А в то же время: «Даже при моих медиумических (т. е. фокуснических) опытах обнаружились некоторые указания на в высшей степени замечательные психические феномены, обусловившие мои успехи, и я уверен, что наличность такого рода явлений именно и отличает медиума от простого фокусника». Далее Леманн высказывает убеждение, что у известного фокусника Девэя, инсценировавшего спиритические явления, не все было только фокусом. Следовательно, фокусный отвод глаз и Леманна, и Девэя, и других подобных заключался не в том, как они сами думали, что вместо спиритизма они показывают ловкие трюки, а в том, что пресловутая ловкость их трюков подменена настоящим спиритизмом, но, конечно, не сплошь, как и у заправских медиумов не сплошная магия. В качестве зрителей, заплативших за вход на фокусы, нередко мы имеем право возмущаться, как королева андерсеновской сказки, тому, что нам показывают подлинного соловья, подлинную розу и настоящий румянец,

тогда как мы пришли смотреть имитацию. Но в том-то и дело, нет устойчивой границы между шарлатанством и оккультизмом, между фокусами и магией, и одно переходит в другое и вызывает другое. Фокус не делается без чуда, как и чудо магии не делается без фокуса.

При всей понятности, фокус, хотя бы и самый простой, был в моем сознании приемом **магическим,** и я смотрел на него или даже думал о нем с пристальным, напряженным вниманием, но и с суеверным страхом: присасывался взором, но и замирал мистически. Старшие же, напротив, этой двойственности моего отношения не понимали и, кажется, думали, что знакомство с фокусами, конечно, разоблачаемыми, должно разрушить в корне и вообще вкус к чудесному.

И вот однажды, придя из города домой, – а вам следует помнить, что Батум был маленьким городишкой, в котором редко случались какие-нибудь особые события, – придя из города домой, папа торжественно объявляет, что сегодня вечером мы с Люсей пойдем смотреть фокусы приехавшего в Батум знаменитого фокусника Роберта Ленца. При этом он вручил тете купленный уже билет на ложу того сарая из волнистого железа, который в Батуме назывался театром, и программу фокусов в двух экземплярах. Уже самая наружность этих программ показалась удивительной: напечатанные на папиросной бумаге с рамочками из цветов, казавшимися нам верхом изящества, эти программы были надушены. Тетя вычитала нам из них самые необыкновенные чудеса. Был даже номер – раздача сюрпризов, нравившийся мне за самое слово «сюрприз». В последнем же отделении «отсечение головы живому человеку». Потоки крови хлынули в моем воображении из обрубка шеи и стали заливать пол и все кругом. Кровь, но алая, самосветящаяся на солнце, по всей массе пронизанная разлитым светом, всегда казалась мне таинственной «жидкостью особого рода».

Я был слишком взволнован этой программой, и весь вид мой, напряженный до болезненного состояния, обнаруживал эту взволнованность; как я ни старался сдержаться, но от ожидания и ужаса меня било, как в лихорадке. Тогда старшие объявили, что мы досидим в театре до последнего отделения и потом уедем, потому что зрелище казни может нас потрясти чрезмерно. Но я и сам был очень рад такому решению, потому что боялся не выдержать кровавого зрелища; без того душа была напряжена до последней степени. Как ни любопытно мне было увидеть этот главный фокус, я настолько боялся его, что не возражал против состоявшегося решения. Занятные программы были уложены в особые конвертики, и моя – потом долго хранилась у меня, если

только не хранится где-нибудь среди вещей и до сей поры. В напряженности и волнении проведен был весь оставшийся день. Пытались было нас днем уложить спать, но, конечно, я не сомкнул глаз и ежеминутно вскакивал. Вечером, одевши по-праздничному, нас повели в железный сарай, и восхищению не было конца. Морские свинки, которых делили, так что они удваивались, и потом снова делили, и они снова удваивались, и так – несколько раз. Бумажный рублевый кредитный билет, – помню его желто-коричневый цвет, – Ленц растягивал до размеров большого флага. Заводимый снизу нарочито трескучим ключом спиритический стол летал по всей сцене. Часы, столченные в порошок медным пестиком, пошли на заряд револьвера; помощник Ленца выстрелил из него, и часы оказались под носом у кого-то из публики, к негодованию изобличенного и на смех окружающих. После какого-то фокуса в Ленца был произведен выстрел, из руки хлынула кровь; обмыв рану в тазе с водой, Ленц плеснул на публику из таза, и вместо воды посыпались фотографические карточки самого Ленца, что и было обещанным сюрпризом. И многое другое в этом же духе казалось мне подлинною магией, хотя я отлично знал, что делается оно ловкостью и приспособлениями, и хотя один из фокусов был тут же, на сцене, объяснен самим Ленцем. Объяснение, данное им, показалось мне, впрочем, докучным и несколько бестактным, неуместно нарушившим общий дух чудесного. Ленц **всем** подходил к моим представлениям, кроме этого, кроме рационализации собственного фокуса. Но внутренно я все-таки и не поверил ему, что это так просто (хотя сам повторял объясненный фокус), и считал его объяснение за один из способов отвести глаза, чтобы произошло в это время нечто подлинно магическое. Насыщенный чудесным, я безропотно дал себя увести домой до последнего отделения: тут было и обычное мое послушание, и сознание, что я достаточно подсмотрел тайн природы, даже более, чем сколько мне полагалось видеть, а главное холодный ужас охватывал меня при мысли, что могу увидеть нечто слишком страшное. Перед уходом я уже был близким к нервному припадку. Кто-то из взрослых остался на окончание и потом высказал, что мы ушли вовремя и с пользою для себя не видели действительно тяжелого зрелища и пролитой крови.

1920.VII.11. Это представление Ленца оставило неизгладимый след в моей памяти. Отдельные моменты фокуса, между собою не связанные, в моем созерцании, а потом и в моей мысли соединились смыкающими их промежуточными звеньями.

Я действительно **видел,** как рублевый кредитный билет растягивается в руках фокусника и вырастает до размеров простыни, как морская свинка делится на две, а каждая из них – опять удваивается. Фокусная мнимость чуда укрепила меня в убеждении, что чудо возможно вообще и, мало того, что все совершающееся «естественно», как думают взрослые, на самом-то деле происходит именно тем же, чудесным, а иногда, может быть, фокусным порядком.

Одно есть, другое – кажется. Есть ловкость, кажется – чудесное, – рассуждали взрослые. Но и не напротив ли? Кажется ловкость, а есть – чудо. Кажется непрерывность процесса изменения, а есть – ряд чудесных скачков, прерывных прыжков действительности, толчки и внезапные появления. Из запертого ящика исчезает положенная туда вещь – «кажется», что исчезает, думают взрослые. Но может быть, наоборот: кажется, что в моем ящике неизменно лежит вещь, а на самом-то деле она, быть может, исчезает, например, множество раз в секунду исчезает и вновь появляется, лежит и здесь, и еще где-нибудь, совсем в другом месте. Часы на самом деле целы, думают взрослые, но «кажется», что они сломаны и потом срослись. А не наоборот ли? Взрослым кажется, что часы оставались целы, а на самом деле они то рассыпáлись, то срастались.

И эти выводы, возникая в моем уме, властно, хотя, может быть, и не вполне отчетливо высказываемые, непроизвольно и непреодолимо пошли далее, все осложняясь и накопляясь. Фокусник кажется фокусником, своего рода обманщиком: его считают фокусником. Но на самом деле он-то, может быть, и есть вовсе не фокусник, а подлинный волшебник; и его кажущиеся фокусы, в конечном счете, может быть, – вовсе не фокусы, а настоящая магия. Если считать фокусы за обман, то еще неизвестно, кто именно обманут. Может быть, и сам фокусник обманывается насчет себя самого.

И в мысль мою начала ввинчиваться убежденность, что «простое» вовсе не так просто, как его хотят представить, что «объясненное» вовсе не так объяснено, как этим льстят себе объяснители. Непрерывное вовсе не непрерывно, тождественное – не тождественно, а различно, различное же – не различно, а тождественно. Во мне создалось крепкое убеждение, – говоря позднейшим языком, – что в самой **сути,** в той таинственной глубине, куда взрослые боятся и не хотят заглядывать и куда они не пускают заглядывать меня, – что там бессильны законы тождества и противоречия и действуют **иные** законы: тождество противоречивого и противоречивость тождественного; вещь есть **не** она, а другое нечто – это-то и есть она.

С охотою воспринимал я всяческие объяснения жизни, самые рациональные, впитывал их в себя; но в душе оставлял за собою право думать, в конечном счете, – наоборот, быстро раскусив некоторую прагматическую, в смысле рабочей, полезность рациональных объяснений, равно как и их произвольность, условность и пустоту. Я быстро научился жить двумя умами: на поверхности – умом взрослых, приняв с легкостью законы логики, а в глубине – умом **своим,** детским, и воспринимая мир как, – уже много лет спустя я узнал такой термин, – как сторонник магического идеализма. На периферии я горячо и даже фанатично мог защищать то или другое научное объяснение, в душе, однако, не веря в научные объяснения и считая их (– как они и суть на деле —) условными. Я чувствовал, не следует говорить о другом, о моем понимании мира вслух, и замалчивал его как тайну своей души. Мне казалось непристойным и наивным объяснять мир магически пред другими: но мало ли о чем не следует говорить другим. И я **казался** «ученым», будучи внутри – «магом». Однако это было не притворством, а своеобразною стыдливостью и умственным приличием.

1920. VII. 12. Вот я сижу сейчас за этими воспоминаниями. А в соседней комнате ветерок позвякивает длинными стеклянными трубочками-подвесками, свисающими вокруг большого абажура висячей лампы. И стекляшки слабо звякают, словно подают друг другу голос, словно обсуждают нечто между собою. Приятный и таинственный звук, несколько жуткий. И во мне воскресают детские мои чувства и детские мои мысли. Механическое объяснение – дешевое объяснение. Даже мои дети понимают, «по-научному», что звенение это от ветерка. Механическое объяснение тут более чем просто, и, казалось бы, если где, то здесь довлело бы оно. Но ведь я **слышу,** ухом воспринимаю таинственность этих перезвякиваний и не могу отрешиться, вот сейчас, от непосредственного впечатления, что этими хрупкими, ломающимися звуками сказывается какой-то смысл, мне не вполне доступный, но, однако, в общем понятный. Ведь есть же у перезвякиваний этих окраска таинственности, беззаботности, невинности; а если есть она, то не может не сознаваться и соответственный предмет ее – некоторая духовная сущность. В данном случае, этот предмет, хотя и таинственный, но безвредный и хрупко грациозный. Это какие-то невинные и беззаботные маленькие существа, беседующие между собою тонкими голосками или составляющие маленькие между собою заговоры. Но в других случаях духовная окраска бывает грозною и жуткою. Рев автомобиля разве не кажется минотавровым?

Глубокий, словно грудной, свисток старых паровозов не кажется ли голосом огромных, но добродушных зверей из какого-то доисторического прошлого? Помню, отец любил водить меня в места с отчетливым многократным эхом – в Коджорах на Кер-Оглы, в Боржоме – на Елизаветинском плоскогорье, что над минеральным парком, и другие. И когда он кричал, стараясь приучить меня к безбоязненности, я пугался откликов эха, хватал отца за руку и умолял больше не кричать. Особенно перепугался я раз в Боржоме, так что потом даже ноги подкашивались и я не мог идти. Но ведь отец мне объяснял физическое происхождение эха, я отлично усвоил его объяснение и даже способ рассчитывать расстояние звукоотражающей поверхности. Усвоил, объяснял другим, вероятно, и сам смеялся над страхом других и, во всяком случае, над непониманием, отчего происходит эхо, и при всем том мне еще более ясно было, что физическим объяснением дело не исчерпывается, что есть таинственные силы или, точнее, таинственные существа, эхо производящие, что духи эти – жуткие духи, с которыми рискованно связываться, которых опасно раздразнивать и которые, прикрывшись личиною физической понятности, ведут себя, как если бы впрямь было только механическое отражение звука, но в ту или другую минуту, как зыкнут уже своим голосом, как крикнут что-то свое, совсем не то, что кричим мы им, объявятся в такой своей страшной подлинности, что умрешь тут же на месте от одного их появления. Мое непосредственное восприятие твердило мне, что, конечно, физическое объяснение – физическим объяснением, но, за всем тем, надо помнить **о жизни,** притаившейся под личиною физической видимости. Духи изображают механику, но до поры до времени – такова была моя формула. Но и я не настолько глуп, чтобы без понятия отнестись к этой видимости и довериться ей.

И то же во многих других случаях. **Тень,** то удлиняющаяся, то становящаяся короткой, искажающая и гримасничающая, вытягивающая то нос, то ухо, разве она не воспринимается как самостоятельное таинственное существо? // Когда ночью сидишь один и при свечке потянутся по углам тени, внезапно подымаясь на непредвиденных местах, словно выплывая из-под стола, – разве не жутко и разве не ощущается **присутствие** – присутствие чуждых и таинственных существ, которые заставляют сжиматься внутренно и остерегаться уже по одному тому, что они тут, возле меня, хотя бы ничего враждебного и не сделали? Самое присутствие таинственного, раз оно усмотрено, не остается бесследным и болезненно волнует душу, хотя в болезненности этой есть своя глубина и своя жизненная значительность. В тени чуялся мне какой-то двойник человека, какая-то его составная

часть, в нем или при нем содержащаяся, но им не управляемая, имеющая в нем не подчиненную его воле силу и источник движения, а потому встающая, как призрак безумия. И у вещей – свои двойники, вкрадчивые, бесшумные, нарядные тени.

Зеркальное отражение тоже казалось двойником. Если нечаянно увидишь свое изображение в зеркале, особенно наедине, и тем более ночною порою, – разве не охватывает чувство тайны, смущение, робость? А если ночью приходится долго видеть себя в зеркале, разве не переходит робость в ужас, в непреодолимую неспособность заниматься перед зеркалом? Двойник зеркальный повторяет меня: но он только **притворяется** пассивным моим отражением, мне тождественным, а в известный момент вдруг усмехнется, сделает гримасу и станет самостоятельным, сбросив личину подражательности. **Кажется** естественным, а таково ли на деле – большой вопрос: это-то и страшно. А разве все мы не знаем физического объяснения, почему происходит зеркальное отражение? Разве мы не слыхивали об отражении света? У Суворова боязнь зеркал доходила до полного неперенесения вида зеркальной поверхности, до судорог, и в помещениях, им занятых, все зеркала должны были быть завешаны. И не без причины это ожидание, что личина физичности в любой момент может быть вот скинута: ведь в гаданиях с зеркалом так и получается – вместо отражения появляются другие образы, и мистический трепет переходит в подлинный ужас. Не есть ли и всегда боязнь зеркал, чувство таинственности зеркал, полусознательная мысль о явной мистичности зеркала в гадании? И не это ли предчувствие, а также и прямое знание сделали зеркало у китайцев священным предметом?

1920.VII.15. Итак, мое отношение к миру было таково: физическое в мире, физико-механическое, есть лишь одна из сторон мира, но отнюдь не все – нечто сопутственное и вторичное, возникающее скорее как **мысль** по поводу явления, взятого отвлеченно, нежели чем прямо воспринимаемая действительность. В глубине же физического лежит тайна, физическим полуприкрывающаяся, но совсем – не физическая, и физическое тайны – тайны не только не упраздняет, но само, в некий час, может быть всецело упразднено тайною. Да, в любую минуту, думалось мне, тайна может встать во весь рост и далеко отбросить личину физического. Там же, где физическая видимость снимается только кажущимся образом, там, где **как будто** показывается лик тайны, в фокусе, – там создаются благоприятные условия, чтобы тайна и в самом деле сбросила

свою маску и протянула, размяла свои члены и вдосталь пошалила, пользуясь нашим с нею заигрыванием. Там, где мы дразним тайну, она охотно выступает нам навстречу и под прикрытием фокусного чуда делает чудо настоящее, делает его, но по нашей же вине остается неуличенною. Повторяю, чтобы подвести итог, – я был убежден, что фокус живет и – больше фокуса. Впоследствии нашлось подтверждение этой моей детской мысли у того же Гофмана, в его «Житейской философии Кота Мура». Напомню это очень открыто встреченное мною место.

Гофман описывает фокус предсказаний, исходивших из стеклянного шара, который висел в пустой комнате. Предсказания же давались девушкою-сомнамбулой, с передачей звука ее голоса этому шару посредством труб. Получался как будто фокус, но это было гораздо более фокуса. И вот, как бы в предисловие к описанию такого фокуса, Гофман пишет разговор:

«…Людей более удовлетворяет смертельный ужас, чем **естественное объяснение** того, что кажется им **призрачным;** им мало этого мира, они хотят видеть еще кое-что из другого мира, не требующего тела для того, чтобы быть открытым.

– Я не могу понять, мейстер, вашего странного вкуса к подобным штукам, – сказал Крейслер. – Вы приготовляете чудесное из разных острых снадобьев, как какой-то повар, и воображаете, что люди, фантазия которых сделалась так же плоска, как желудок у слизняков, будут раздражаться такими вещами. Нет ничего неприятнее того, когда после таких проклятых фокусов, раздирающих человеку сердце, вдруг оказывается, что все это произошло естественным образом.

– Естественным! – воскликнул мейстер Абрагам. – Как человек изрядного ума, вы должны признавать, что **ничто в мире не происходит естественно,** да, ничего! Или вы думаете, уважаемый капельмейстер, что если нам удается данными средствами произвести известное, определенное действие, то для нас будут ясны причины действия, проистекающие из тайн природы? Вы когда-то относились с большим уважением к моим фокусам, хотя никогда не видали самого лучшего из них, перла всех моих фокусов… (вышеозначенной невидимой девушки-предсказательницы). Именно этот фокус более всех других мог бы вам доказать, что простейшие вещи, легко поддающиеся механике, часто соприкасаются с самыми таинственными чудесами природы и могут производить нечто, остающееся необъясненным в самом простом смысле слова».

Так вот, и для меня фокус был почти чудом, явлением пограничным между «здесь» и «там», между «посюсторонним» и «потусторонним»: это – зыблющееся явление, неустойчивое,

обманно-скользящее, никогда не фиксируемое точно, дразнящее ум, бегущее точного о нем высказывания, воистину ни «да», ни «нет».

Фокус был почти чудом. Но таковы же были и первые научные опыты, которые показывал мне отец, однако с тою разницею, что я видел **признание** их старшими, в противоположность презрительному и пренебрежительному непризнанию фокусов. Поэтому и я относился к научным опытам еще более волнительно, чем к фокусам: они возбуждали меня до последней степени, до холодной дрожи, до сердцебиений, до того, что дыхание мое, казалось, остановится и сердце выскочит из груди. Они были для меня полу-чудом, полу-фокусом, вопреки намерению родителей в чистое, не смущенное пережитками сознание, взращенное на уединенном острове, ввести наглядно и наиболее убедительно типические примеры явлений природы, которые составили бы в моем уме первые камни рационального мировоззрения.

Папа пускал ртом кольца из сигарного дыма, иногда нанизывая несколько колец одно в другое. И обращал наше внимание на подобные же кольца, вылетающие из паровозной трубы. Я видел, как упругою лентою, медленно пульсируют эти кольца, то сжимаясь, то расширяясь. Задолго до того, как узнал я вихревую теорию Кельвина, я глазом видел необыкновенную эластичность дымовых колец и привык к мысли об упругости воздушных образований. Но соображал и то, что ведь дым – дым, почти ничто. И, следовательно, упругость тут зависит вовсе не от вещественности, а от чего-то другого, от внутренней жизни. А раз так, то и вообще, когда мы встречаем упругое сопротивление внешнего мира, то это – вовсе не доказательство его вещественности, в смысле материализма. Это – особая **сила,** она и производит видимость грубого материального механизма. И опять вот проходила пропасть между физическим «кажется» и каким-то тайным «есть». Опыт физический воспринимался мною как опыт метафизический.

Папа приливал к воде в пробирке серной кислоты. Вода согревалась. Без огня согревается: следовательно, тепло вовсе не непременно от огня. Оно – сопутствующее, но иное. Оно рождается самопроизвольно, независимо от огня. Но тогда огонь – может быть без тепла? Папа подтверждал, что свет моих любимых фосфоресцирующих веществ и свет ивановских червячков почти что не имеет теплового действия и что если бы можно было сделать лампу такого рода, то это был бы самый выгодный способ освещения. Как-то из Тифлиса папа привез мне фосфоресцирующие розетки на свечи. Они нравились мне, но

казались слишком бледными, особенно в сравнении с ивановскими червячками, которых я налавливал летом в стакан с травой и завязывал наколотою бумагою.

Тайна этих червячков, с их изумительным изумрудным у самок и яблочно-зеленым у самцов свечением, всегда манила меня, тем более, что от папы я узнал о совершенстве этого света, почти не дающего тепловых лучей.

Но вот, следовательно, распалась причинная связь. Свет – сам по себе, тепло – само по себе. А ведь кажется, они неразлучны, – кажется наоборот. И тут я вспоминал, что ведь тряпка, облитая серною кислотою, обугливалась в камине и тлела. Вспоминал также, как загоралась смесь толченого сахара и бертолетовой соли, когда папа прикасался к ней стеклянной палочкой, смоченной в серной кислоте. Значит, и действия огня отделяются от огня, от жара, как отделился уже свет. Сложное «кажется» распалось на свет, тепло и ряд отдельных действий, причем все оказались независимы друг от друга. А сложным казалось. Где же граница распадения? Кто может указать, что данное действие – именно от этой, а не от той причины и что в данном явлении известное свойство не может быть выделено и изолировано? Никто?

Во дворе у нас стоял деревянный ящик, в котором было прислано с фабрики из заграницы пианино Блютнера. Ящик этот был внутри обит цинковыми листами и толстым войлоком. Иногда мы с папой ходили во двор отломить с трудом небольшой кусочек листового цинка и потом зажигали его в печке. Чаще же и гораздо легче зажигали ленту магния, и папа отмечал, что вот металл калий даже сам собою загорается, да еще на воде, а все же – металл. «Как же из него сделать подсвечники?» – многократно спрашивал я и смущался своим сомнением; при этом в мысленном представлении у меня стоял большой серебряный подсвечник с ночного столика мамы, одна из немногих вещей, уцелевших из имущества ее отца. «Ведь подсвечник из калия загорится?» – недоумевал я. Папа пояснил, что никто таких подсвечников и не делает, тем более, что металл калий мягок, как воск. Металл горит, металл мягок. Горит и мягко то, что считают синонимом негорючести и твердости. Следовательно, металлический блеск сам по себе, а свойство твердости и негорючести само по себе. **А** если так, то что же ручается за неразлучность этих свойств и в случае обычных металлов? Да еще вдобавок горит на воде, тогда как водою огонь тушится. Папа подтверждал мою мысль, указывая на греческий огонь, загоравшийся от соприкосновения с водою; самое же интересное в этом огне было неразгаданность утерянного секрета его состава.

Вообще все утерянное, тайное, забытое, непроницаемое рассудку, хотя бы в самом простом смысле слова, недоступное ему, оценивалось мною как значительное и достойное внимания. Итак, рушится представление о неизменности порядка природы. Может быть, взамен этих разрушающихся представлений есть другие, которые окажутся прочными? Но почему же это знать? Если «кажется», кажущееся всем людям испокон веков, оказалось оторванным от «есть», то и «есть» небольшой кучки ученых, «есть» вчерашнего дня, само не будет ли изобличено как «кажется» и уже чудовищно оторванное от «есть»? Что́ есть, что́ кажется? Только внутренним смыслом нащупывается живое таинственное «есть» природы. **А** все остальное – **кажется,** маски и обличия, принятые на себя жизнью.

Папа смешивал соду и винную кислоту и наливал на соду уксусу. Смесь бурно вскипала, но оставаясь почти холодною. Вот еще доказательство, что свойства могут быть отделяемы друг от друга. Кипение не связано с теплом. Оно само по себе. В этом я убеждался и другим способом. // Мы устраивали с папой Франклинов кипятильник: в колбе кипятили воду и во время кипения затыкали горлышко пробкою.

Вода продолжала кипеть и без огня, а потом, остывши, вскипала от охлаждения мокрым носовым платком донышка перевернутой колбы. Вот опять: кипение не есть непрерывное следствие теплоты, но может быть производимо и охлаждением. А с другой стороны, папа наливал мне на руку серного эфира. В пузырьке была жидкость комнатной температуры, а, налитая на руку, охлаждала чрезвычайно, хотя, казалось бы, на руке должна была согреться. Я сопоставлял это с кавказским обычаем ставить на ветер, тоже для охлаждения, глиняный кувшин с водою. Итак, кипение само по себе, согревание само по себе.

Лезвие ножа, опущенное в раствор медного купороса, покрывалось медным налетом, хотя в жидкости никакой меди не виделось. Фиалки и фиолетовые цветы шпажника в нашатырном спирте зеленели, настой красной капусты, когда делали салат, от горячей воды синел, а от уксуса краснел; синий медный купорос при нагревании в пробирке становился белым; гипс, при смешивании с водою, отвердевал и т. д. и т. д. Все эти и другие подобные явления воспринимались с острым чувством удивления, потрясали, волновали ум, возбуждали чувство таинственного. Старшие уверяли меня, что это – явление естественное, но я, в душе, все же не видел их естественности и продолжал изумляться таинственным превращениям вещества. Изумление всегда было связано с трепетом пред совершающеюся тайною. Иногда этот трепет переходил в непреодолимый ужас, который, несмотря на

страстное влечение к видимому, заставлял меня бежать от него. Помню, совсем в раннем детстве папа принес мне в подарок маленькую катушку Румкорфа и при ней гейслеровы трубки. Батарейку и спираль поставили на камине, в кабинете. Папа позвал меня к себе. Но уже вид спирально свитых приводов, обвитых зеленым некрученым шелком, меня привел в величайший трепет. В этом изумрудно-зеленом цвете, в этих змеевидных витках мне почудилось с первого же взгляду что-то зловещее, и я боязливо отступил от спирали. Когда же папа пустил в ход прерыватель и пружинка зажужжала тоненьким писком, как муха, попавшая в паучьи сети, и вдобавок начала проскакивать между остриями разрядника маленькая искорка, я в ужасе, не помня себя и почти лишаясь чувств, бросился из кабинета в самый отдаленный угол дома, но и оттуда слышал это жужжание или думал, что слышал. Я умолял отца прекратить действие жуткого прибора и, несмотря на все уговоры, так и не соглашался идти в кабинет. Тогда папа, кажется, несколько рассердившись, подарил спираль и все к ней приспособления сыну полковника Прохорова, крестному отцу Люси, и спирали я уже более не видел. Но я склонен думать теперь, не было ли мое чересчур возбужденное состояние главной причиною, что этот прибор ушел из нашего дома?

Другой запомнившийся мне случай – в том же роде. Папа рассказывал мне, что бесцветное спиртовое пламя, – которое так любопытно было наблюдать мне при солнечном свете: не видно огня, а жжется, – что оно окрашивается в синий цвет от примеси к спирту медного купороса и что от этого света все лица кажутся синеватыми; возможно, папа неосторожно проронил слово: «Как у трупа». Конечно, у меня возгорелось желание увидеть это страшное синее пламя, а в мысли своей «как у трупа» уже перешло просто в труп, в настоящий труп. Папа обещал показать мне. Помню этот день, когда я с утра волновался и замирал. Как всегда в подобных случаях, сердце у меня билось так сильно, что я не мог ничего есть, и всякая пища была мне противна. Под вечер папа пошел в аптекарский магазин Триандопуло купить медного купороса, а я ждал папиного возвращения с нетерпением и вместе страхом. Помню, это было позднею осенью; на дворе была непогода, почему папа не взял меня с собою. Помню рассуждения старших, можно ли папе в такой ливень выходить из дому, причем мама и тетя уговаривали его остаться. Но победил мой умоляющий вид, папа ушел, а я, уже не в состоянии переносить повседневную обстановку, забился в кабинет под стол и сидел там, несмотря на страхи, в потемках. Вероятно, папа зашел еще куда-нибудь по делу и долго не возвращался, или мне

показалось, что он не возвращается невыносимо долго. Наконец, раздастся звонок, приходит мокрый папа. Я замираю, даже не смею спросить, принес ли он, что требовалось; а папа нарочно тоже не говорит ни слова, желая посмотреть, как я буду вести себя. Оказывается, он принес целый ворох свертков, показывает их; это фрукты и еще что-то, на что я и смотреть не хочу, но о медном купоросе – ни слова. Наконец, тетя Юля, видя, как меня разбирает нервное возбуждение, успокаивает меня: папа принес и медный купорос.

Хорошо помню, как я задыхался, когда стали разворачивать пакетик с медным купоросом и таинственные голубые кусочки спускали в спиртовку. Все это было тем более таинственным, что мне была разъяснена их ядовитость. **Яд – Янкель – синий цвет – медная соль – синие лица – трупы** – все вместе эти представления вязались в мысли в одну сплошную сеть ужасов. К тому же магазин Триандопуло (– и фамилия тоже чего-нибудь стоит —) был у пристани, это давало связь с морем и вновь приводило к голубизне купороса. Все сплачивалось в один клубок, взаимно проникая друг друга и взаимно друг друга усиливая налетом тайны, намекающей на себя, но нигде определенно не ловимою.

Более всего меня увлекали те опыты, где приходилось иметь дело с **искрами.** Мы готовили с отцом звездочки из закрученной в папиросную бумагу толченой смеси пороха с углем и железными опилками; и когда зажигали эти звездочки, то красивые искры, рассыпающиеся по радиусам и потом на определенном расстоянии разрывающиеся в свой черед на радиально разбрасываемые огненные потоки, походили на семена огненного одуванчика. А мне, при взгляде на них, неудержимо вспоминались те первоявленные мне огненные потоки от колеса точильщика, которые когда-то дали мне первое ощущение мистического ужаса. Теперь я уже не пугался этих искр, но испытывал восхищение, смешанное со сладостью давно-давно сродненной мне тайны. И в этих искрах, шаловливо скользивших пред моим взором и затевавших изящную игру, мне чуялись потоки тех, давнишних искр, но милые и близкие моему сердцу, как друзья детства.

Иногда мы делали с папою порох, и я лишний раз убеждался, что даже простое смешение веществ может дать им свойство, совершенно чуждое каждой из составных частей, непредвиденное и невыводимое из явных свойств всего, в смесь входящего. Иногда делали мы бенгальские огни. Я всегда любил огонь и видел в нем нечто живое. А тут огонь окрашивался, как драгоценный камень. Это было красиво; но почему-то бенгальский огонь казался мне

мертвым, сравнительно рациональным и безжизненным, слишком грубым, в противоположность моему любимому пламени в камине. Думается, тут уже начало возбуждаться во мне отталкивание ото всего **механического,** лишенного полутонов и игры оттенков. Зато я более любил фейерверки, которые пускали мы иногда у себя во дворе, или те военные ракеты, что пускались с батумской батареи. Искристый хвост напоминал хвост кометы, а кометы, как зловещие нарушительницы порядка солнечной системы, неожиданные гостьи в ней, были с самого детства моими любимицами и притягивали меня своим таинственным хвостом, невесомым и столь огромным.

1920.VII.16. Любил я возиться с подковообразным магнитом: намагничивал иголки, образовывал на бумаге магнитный спектр, извлекал из морского и речного песка черные, чернее угля, крупинки магнитного железняка. Папа показал, что́ именно происходит, а я получал особое удовлетворение от явной таинственности всего этого, чего и папа объяснить не брался и даже признавал относительно чего его необъясненность. Почему притягивается железо, но не притягивается медь и дерево? – Неизвестно. Чем отличается северный полюс магнита от южного? – Тем, что северный притягивается северным и отталкивается южным. Да, а сам по себе – чем? Если бы у нас был только один магнит, как узнать, какой его полюс северный, а какой его южный? Ответа нет. И с внутренним торжеством я смотрел на большой отцовский компас со стрелкой на сердолике, который и до сих пор хранится у меня как память об отце. А, неизвестно… значит, не все известно, и даже старшие сознаются в этом… Неизвестное было для меня не еще не объясненным, а существенно необъяснимым. Я старался смыть магнетизм с полюсов, папа предоставлял мне делать, что хочу; а когда не удавалось – пояснял, что этого сделать и нельзя. И мне тогда мерещилось в магнетизме что-то живое. Возился также с янтарем – с янтарным мундштуком отца – и с палками сургуча, которых у отца было всегда много: натирал их, притягивал ими бумажки и соломинки.

Очень много разговаривал с отцом, но, кроме науки, больше ни о чем, кажется, не говорил; разве еще он вспоминал кое-что из своего детства. Но интерес мой и интерес отца едва ли совпадали. Закон постоянства, определенность явления меня не радовали, а подавляли. Когда мне сообщалось о новых явлениях, мне до тех пор не известных, я был вне себя, волновался и возбуждался, особенно если при этом оказывалось, что отец, или хотя бы кто-нибудь из знакомых его, видел сам это явление. Напротив, когда

приходилось слышать о найденном законе, о «всегда так», меня охватывало смутное, но глубокое разочарование, какая-то словно досада, холод, недовольство: я чувствовал себя обхищенным, лишившимся чего-то радостного, почти обиженным. Закон накладывался на мой ум, как стальное ярмо, как гнет и оковы. И я с жадностью спрашивал об исключениях. Исключения из законов, разрывы закономерности были моим умственным стимулом. Если наука борется с явлениями, покоряя их закону, то я втайне боролся с законами, бунтуя против них действительные явления. Закономерность была врагом моим; узнав о каком-либо законе природы, я только тогда успокаивался от мучительной тревоги ума, чувства стесненности и тоскливой подавленности, когда отыскивалось и исключение из этого закона. Разговор обычно происходил по одному плану. По поводу какого-либо явления отец сообщает мне закон его. Вместо ответа на сообщенное мне я сейчас же спрашиваю об исключениях. Отец же мой, будучи чрезвычайно умственно добросовестным и, кроме того, склонным к мягкому скепсису, вынужден, хотя и не с большой охотою, сообщить мне исключения. Тогда я удовлетворенно говорю: «А…»

Положительным содержанием ума моего, твердою точкою опоры – всегда были исключения, необъясненное, непокорное, строптивая против науки природа; а законы – напротив, тем мимо-минуемым, что подлежит рано или поздно разложению. Обычно верят в законы и считают временным под них не подведенное; для меня же подлинным было не подведенное под законы, а законы я оценивал как пока еще, по недостатку точного знания, держащееся. И явление меня влекло и интересовало, пока сознавал его необъясненным, исключением, а не нормальным и объяснимым из закона. Вот почему я с детства возненавидел механику, никогда не хотел и не мог освоить ее первооснов и даже впоследствии, в гимназии и Университете, внутренно не считался с нею. Правда, я знал наизусть латинский текст axiomata sive leges motus[20] Ньютона, однако и не понимал и не желал понимать их, ибо они выталкивались из моего сознания. Мой ум соскакивал с них. Сам же для себя я всегда мыслил механические процессы как производные чего-то тайного, вроде, например, электрических, и отчасти успокоился тогда только, когда воцарилась новая электромагнитная механика.

Напротив, дорого было мне целостное явление, конкретно созерцаемое. Форма единства его – вот что волновало меня; **форма была для меня реальностью.** Не зная этих терминов, я верил больше всего в субстанциальность формы, и мне хотелось, если можно так сказать, морфологии природы, целостной морфологии всех явлений, т. е. постижения форм в их цельности

и индивидуальности. Научное же мировоззрение дробило эти формы и приводило к неиндивидуальным, бесформенным и потому крайне скучным элементам.

Объяснить – для научного мировоззрения значит в моих глазах уничтожить конкретную целостность явления, доказать его иллюзорность. То же, что искалось мною, это было утверждение конкретной целостности и подтверждение, что явление действительно индивидуально и ни к чему другому не сводимо. В моем мирочувствии, повторяю, форма была реальностью; а научное мировоззрение исходило, как я отлично чувствовал, хотя и не смог бы высказать отчетливо, из отрицания этой реальности. Вот почему там, где, казалось, механизм, т. е. отрицание формы, вероятен и весьма правдоподобен, – там моему детскому уму все же виделся **фокус,** фокус жизненной целостности, прикинувшейся механизмом, своего рода мимикрия механизму. Напротив, в той, что прямо показывает внешние нити и рычаги, дающие видимость немеханического, мне все же виделась реальность, ибо подражание **форме,** хотя бы и иллюзорное, было, однако, какою-то минимальною реальностью, причиною реальности самой формы.

Отсюда – детский интерес мой к переодеванию, к гримировке, к маскараду. Костюмировка имела в моих глазах нечто магическое, была каким-то частичным преображением человека, подобно тому, как фокус был некоторым частичным преображением природы. Мы с сестрою моею Люсею любили переодеваться, хотя бы просто обмениваясь одеждами. Иногда мы раскрашивали акварелью себе лица или делали из испанского меха или сушеных волос кукурузных початков бороды и усы, иногда одевались взрослыми. Все это волновало близостью какого-то магического превращения, которое, казалось, вот-вот будет полным. Соня Андросова, а иногда и брат ее Ваня, о которых буду писать ниже, тоже участвовали в этих переодеваниях, с подвязыванием подушек к животам и другими приемами на скорую руку устроенной костюмировки. Но старшие неодобрительно смотрели на эти переодевания. Отец мой, сторонник всего естественного, органически не выносил театра, видя в нем дешевую бутафорию и ломание, и игнорировал его как искусство; определить что-нибудь как актерство было у него наихудшим осуждением. Помнится, уже будучи в Университете, я послал домой хорошее воспроизведение бёклиновского морского прибоя. Отец вообще весьма ценил всякую внимательность с нашей стороны и бережно хранил наши подарки в особом шкафу. Но в данный раз вместо благодарности я получил лишь жестокое осуждение, и в письме, и по приезде домой – устно. «Это – не

прибой, а какой-то ломающийся актер», – писал и говорил он почти с гневом и в противоположение прислал мне «настоящий прибой» – открытку с воспроизведением какой-то английской картины, на которой был изображен берег острова Уайт и носящиеся над влажным дымом и волнами чайки. В данном случае отец был отчасти прав, и картина Бёклина мне мало нравилась, когда я ее разглядел, взял же я ее у Аванса от смущения, потому что долго не находил ничего подходящего. Но и противопоставленная картина еще менее удовлетворила меня, как типичное дело натурализма, весьма недалекое от моментальной фотографии, но действительно эффектного вида. Однако это вспомнилось мне кстати, хотел же я сказать о враждебности отца к театру, в самой его сути, а отсюда и к нашей склонности переодеваться и гримироваться. Матери, думается, эти переодевания казались делом слишком пустым и пошловатым, так что она еще менее скрывала свое неодобрение. Только тетя Юля проще смотрела на наши маскарады, даже давала советы и помогала нам, когда мы делали попытки разыграть пантомиму. Раз как-то мы даже поставили в костюмах крыловскую басню «Кукушка и Петух», изготовив птичьи костюмы из картона, цветной бумаги и разных домашних приспособлений. Душою этого спектакля была тетя, которая как-то преодолела на этот раз пассивное сопротивление отца и в особенности матери. Она делала нам костюмы, разучивала с нами роли, репетировала басни, устраивала обстановку из сдвинутых вместе апельсинных и лимонных деревьев и пальм в кадках. Между этими деревьями сидел я на складной лестнице, в образе кукушки, с огромным картонным хвостом, оклеенным темною глянцевитою бумагою, в которой были предварительно вырезаны круглые дырочки. На носу был надет картонный клюв с четкими гранями, на голове и на спине – какая-то серая одежда, на ногах тоже что-то. Внизу стояла Соня Андросова как более крупная размером, соответственно преобразованная в петуха; помню, что мне было несколько завидно ее нарядности, и хорошо помню также ее кривой клюв, сшитый из клеенки и набитый ватой, и пышный хвост. Из-за деревьев высовывалась Люся, тогда еще совсем младенец, в виде воробья. Вот сейчас, вспоминая этот спектакль, я, пожалуй, соображаю, почему согласились на него родители: тут нам сослужил службу предлог зоологии и то обстоятельство, что мы не изображали людей, так что актерство казалось менее уловимым. Мне даже смутно припоминаются какие-то переговоры в таком духе. Но, конечно, истинный смысл наших переодеваний и вкус к ним остался для родителей непонятен, и, вероятно, не поняла его и тетя Юля.

1920. VII. 17. Театр привлекал нас, хотя мы там никогда не бывали; очень может быть, потому и влек, что не бывали там. Но тетя Юля рассказывала о петербургских и московских театрах, о театре в Тифлисе. Изредка ходили в театр и у нас в Батуме мама с тетей на приезжавшую случайно труппу, мама снисходительно-пренебрежительно, тетя с увлечением, но и разочарованием. По их возвращении мне приходилось слышать о виденном ими. В театре меня привлекали, собственно, не действие и не исполнение, а именно то, что глубоко презиралось старшими: бутафория, декорация и особенно сценические эффекты. Провалы под сцену, опускание сверху, восходы и заходы солнца, лунный свет, изображение моря, театральная молния и гром, внезапные превращения (особенно Фауста из старика в молодого), двухъярусная сцена в «Аиде», воспроизведение звуков природы – птичьего пения, журчания ручьев, морского прибоя; театральные привидения и всевозможные духи в моем воображении, по рассказам тети, казались, конечно, значительнее, чем были бы в прямом восприятии. Во мне с детства чрезвычайно живо было предвосхищение, антиципация опыта по каким-нибудь малым проявлениям, и достаточно было скользящего и еле уловимого признака, чтобы в моей мысли сам собою сложился образ и целого, но гораздо более яркий и художественно законченный, нежели самая действительность. Я **угадывал** образ действительности, в этом именно, а не в чем-либо другом были мои способности к точному знанию: угадывал прежде, чем знал, и предощущал прежде, чем имел прямой опыт, а потому мог сознательно направлять свои поиски и свой опыт в сторону, которая уже была мне известна. Я искал и в физике, и в математике, и во всех областях так же, как актер ищет на сцене спрятавшееся и действующее лицо, зная, где его надо искать, и лишь разыгрывая поиски, чтобы нахождение было для других и для него самого закругленным и оправданным. Такая же антиципация театра была у меня в детстве. Может быть, смутное предчувствие возможного разочарования заставляло меня довольствоваться рассказами и образами фантазии и не тянуться в театр, куда меня не водили. Но я принимал это ограничение с полною внутреннею покорностью; мне в голову не приходило, что я могу увязаться за взрослыми на какое-нибудь представление.

Как бы то ни было, мой интерес к театру был в плоскости фокусов. Рассказы об автоматах и рисунки автоматов меня занимали, пожалуй, даже более театра. Мне было чрезвычайно интересно вглядываться в иллюстрации этого рода, которых было много в журнале «La Nature», я рассеянно старался понять

механизм автоматов и чувствовал, что за всем тем в автомате есть жуткая тайная сила, которой не объяснишь никакими колесами, рычагами и нитями. И когда тетя Юля рассказывала об эрмитажном автомате Петра Великого, вставшем навстречу посетителю, лишь только он наступал на определенную половицу, то эта притягательная жуть обострялась до последней степени. Я весь холодел от ужаса в предчувствии, что и мне навстречу может выйти манекен грозного императора, и вполне понимал, почему его перестали заводить после глубокого испуга одной из августейших посетительниц Эрмитажа, – понимал, но был при этом и разочарован. Мистический страх пред изображениями человеческими испытал и я в величайшей степени в первое мое посещение Кавказского музея. Оно относится ко времени более позднему, чем здесь описываемое, но уместно рассказать о нем именно здесь. Оно врезалось в мою память, как вырезанное резцом по камню, и естественно: это было зрелище, где сочетались впечатления всего, что меня занимало и влекло, таинственности и страхов, красот и диковин. Оно потрясло и надолго напитало мой ум. До сих пор оно стоит пред моими глазами с полною зрительною отчетливостью, хотя после того десятки раз я бывал в этом музее и имел полную возможность убедиться в незначительности всего, что поразило меня тогда.

В одну из поездок моих в Тифлис с тетей Юлей, может быть, по дороге на дачу или с дачи, ее осенила мысль, что надо мне показать Кавказский музей. Тетя Лиза, у которой мы по обыкновению остановились, одобрила это намерение и предложила пойти с нами. Но когда мы втроем по жаркой мостовой подошли к воротам музея на Дворцовой улице, то, к неприятной неожиданности, прочитали в расписании дней и часов, когда музей открыт, запрет водить детей менее какого-то возраста, мне помнится, пятилетнего, но возможно, что я ошибаюсь. Тут же был запрет водить с собою собак. Мне не хватало что-то вроде полугода до указанного возраста. Тогда тетя Лиза, вообще не привыкшая видеть себе запрет, объявила в кассе, что у входа, что мне уже исполнилось законное число лет, и, с помощью данного еще на чай сторожу, мы все же прошли сквозь железную калитку, – я с замиранием сердца от возможной неудачи, изумленный и смущенный в первый раз услышанной мною неправдою: нужно отметить, что в нас растили правдивость, даже чрезмерную, так что неправда, хотя бы самая легкая и чисто формальная, – стала органически невозможною, к большому житейскому неудобству не только нас самих, но и родителей. Эта первая услышанная мною заведомая неправда меня совершенно изумила как явление чуждого мне мира.

Но, хотя и с помощью неправды, я оказался в заветном садике при музее. Спустившись по каменной лестнице, я увидел в больших воланах и клетках разнообразных, хищных преимущественно, птиц Кавказа и некоторых зверей, которых давно мечтал я видеть.

// Различные орлы, филины, совы, некоторые голенастые, название которых теперь не припомню, были осмотрены мною с чувством большого удовлетворения. Затем надо было войти в самый музей, и я опять испугался, как бы обман наш не был изобличен и швейцар не отправил бы меня обратно.

Вестибюль, воспроизводивший комнату мавританского дворца в Гранаде, с потолком вроде сита или базальтовых отдельностей, весь расписанный густым темно-красным цветом, оказался даже выше моих ожиданий. Отдел минералогический и геологический заключал множество предметов, давно знакомых из рассказов. Нефтяная промышленность, добыча каменной соли, разработка руд – тут я уже знал много подробностей и потому ходил среди соответственных предметов сознательно, но каждый раз получая впечатления более яркие, чем ожидал, ибо минералы были в кусках больших, чем…

<VI. Наука>

1923.25.XI. I. Приблизительно в VI классе гимназии, или несколько ранее, мое научное отношение к миру вполне сложилось и даже приобрело характер каноничности. Повторяю, под ним, для себя самого и почти невыразимо в слове, я содержал свою сказку, истекавшую из зарывшегося глубоко в душу детского рая. Эта сказка золотила вершины научного опыта и заставляла сердце биться при виде иных явлений природы или даже при мысли о них. Эта сказка направляла мои мысли и интересы и, в сущности, была истинным предметом моих волнений. Но словесно я не знал об этом или, скорее, не хотел знать. На вопрос, к чему я стремлюсь, я бы ответил: «Познать законы природы», – и действительно, все силы, все внимание, все время я посвящал точному знанию. Физика, отчасти геология и астрономия, а также математика были тем делом, над которым я сидел с настойчивостью и страстью, друг друга укреплявшими. Однако мой ответ, вполне правдивый, был бы неверен, хотя и сам я не позволял себе дать в этом отчета. На самом же деле меня волновали отнюдь не законы природы, а исключения из них. Законы были только фоном, выгодно оттенявшим исключения. Мне хотелось знать железные уставы естества. Я запоминал все те постоянства и единообразия, которые естествознание представляло мне как законы. В какой-то плоскости было и доверие к ним, то есть вера, что они в самом деле незыблемы. Иначе и не было бы интереса к ним. Во всяком случае, не было легкого отрицания их: ведь в основе умственного склада с детства была у меня доверчивость свидетельству других и несклонность подозревать других в ошибках или неправде. И чем железнее представляли мне тот или иной закон, тем с большею почтительною боязнью я ходил около него, с тайным чувством, что этот рациональный с виду закон есть лишь обнаружение иных сил. В этом чувстве я не сознался бы и себе самому, но оно подвигало меня на внутреннюю борьбу. С внутренней тревогой искались мною исключения, к которым данный закон оказывался бы неприложимым, и, когда находились исключения, ему не подчинявшиеся, мое сердце почти останавливалось от волнения: я прикоснулся к тайне. Трудно точно формулировать этот мой вкус к исключениям. Он не имеет ничего общего с желанием опровергнуть закон как таковой, поставить вместо него некоторый новый, расширенный, вообще это было совсем не из области рационального познания природы. Напротив, существующими законами как таковыми я был доволен и

заботился об укреплении их; методологические и логические подкопы под научные понятия и предпосылки казались, скорее, придирками, может быть, любопытными заострениями мысли, ничего существенного в науку не вносящими. Рационально – тверды **они,** эти понятия, предпосылки, законы; но тем не менее природа опрокидывает любой закон, как бы ни был он надежен: есть иррациональное. Закон – это подлинная ограда природы; но стена, самая толстая, имеет тончайшие щели, сквозь которые сочится тайна.

Я был заинтересован в укреплении этой рациональной ограды; но старался я тут лишь ради уверенности, что просочившееся сквозь нее уже наверно иррационально. И потому я усиленно добивался знать эти законы. Они-то и составляли своею совокупностью мое научное понимание мира. Тайну я берег про себя, для себя же и для других возвещались законы.

II. Вот это научное мировоззрение сложилось и окрепло в неколебимую систему к пятнадцати-шестнадцати годам. Вероятно, мое утверждение будет прочтено здесь как условный оборот или названо самоуверенностью. Но я высказываю его вполне сознательно, и притом не с похвальбою, а грустно: мне-то лучше, чем кому, известен циклопический труд, затраченный сперва на возведение этих стен, а потом на их разрушение, и, когда думаешь, сколько действительно высокого можно было бы сделать при этих усилиях, хвалиться не придет в голову. Но тем не менее, учитывая издалека то, что было, приходится повторить сказанное.

Были, конечно, и помимо моих личных усилий благоприятные обстоятельства этой научности. Во-первых, наследственно передавшаяся от нескольких поколений склонность к научному мышлению, причем весь род в разных своих разветвлениях дал много деятелей мысли. Они не были первой величины, и впечатление от них – именно то, что им благоприятствовали в их деятельности не столько необыкновенные личные свойства, как общие признаки рода, повышенная деятельность мысли, передающаяся с родовою плазмою. В этом отношении мое личное самочувствие с детства всегда было то, что учиться, то есть в области общих понятий, мне, собственно, нечему, а надо лишь припомнить полузабытое или довести до сознания не вполне ясное. Общее я всегда узнавал с полуслова или с четверти слова, и потому очень немноги те случаи, когда в области мысли у меня бывало чувство новизны. Но я считаю свои личные способности сравнительно малыми и, может быть, меньшими средних. То, что требовалось не вспомнить, а действительно узнать – слова иностранных языков,

хронологические даты, географические и тому подобные сведения, даже данные физики, с которою я имел постоянное дело, давались мне с величайшим трудом, несравненно туже, чем, например, моим товарищам, и вдобавок выскакивали из головы в самом скором времени. Знающие меня всегда недооценивают труда, который, несмотря на мою склонность избавиться от него, всегда был тот или другой в моей жизни.

Другим благоприятствующим условием научности было воспитание, о котором говорилось ранее, и весь уединенный склад нашей домашней жизни, располагавший к научному размышлению и изучению. Частью прямым знанием, частью угадкой, не имея нужных книг и не владея достаточно математическим анализом, я тем не менее усвоил себе основные понятия и предпосылки научного мышления, физического мышления о мире в истинном и точном их смысле и, что самое главное, вполне сроднился с его стилем. Небольшое сравнительное число книг первоклассных деятелей физики было мною не только усвоено, но и почти заучено наизусть. Как-то по-своему, но я был тогда на вершине физической мысли, а с тех пор, конечно, опустился в этом отношении. После того физикой я не занимался, а университетский курс не дал мне ничего и в счет идти не может. В дальнейшем с физикой совсем не было соприкосновения, и если я вспоминал об ней, то лишь холодно и брезгливо. Когда же, двадцать шесть лет спустя после того времени, мне пришлось в силу необходимости вновь заняться этого рода вопросами и восстановить усилием памяти забытую физику, основою этой позднейшей деятельности была именно сформировавшаяся в пятнадцать-шестнадцать лет.

1923.XI. 26. III. Окружавшие меня понимали эти предметы гораздо хуже моего и, главное, – ими нисколько не занимались и не волновались. Это усиливало мое чувство ответственности за знание. Нужно все-таки помнить, что я рос в провинции, хотя она и называлась столицей Кавказа. О науке говорили многие, но я не видел в окружающих действительной преданности знанию (нашу семью я исключаю отсюда), действительной научной работы. И потому тем более этого бремени сознавал я лежащим на мне, и мне казалось, что если я какой-нибудь день или час ослаблю свои усилия и проведу время беспечно, то произойдет какой-то огромный ущерб. Это не было просто занятие, потому что оно мне интересно или представляется полезным, а, скорее, напоминало усилие Атланта, держащего небесный свод. Озабоченный своими занятиями, я редко мог отдаваться им с полным удовольствием, потому что их покрывало служение. День, в который не было

записано несколько параграфов моих «Экспериментальных исследований», как мне нравилось называть свои тетради вслед за обожаемым Фарадеем, или не занести в особые записные книжки каких-либо наблюдений над природой, не сделать нескольких фотографических снимков геологического, метеорологического или археологического содержания или не написать хотя бы нескольких страниц, обобщенно излагавших мои опыты и соображения и называвшихся у меня, по примеру французских физиков конца XVIII и первой половины XIX вв., «мемуарами», – такой день казался мне потерянным, почти преступно упущенным, и к вечеру неизбежною была для него расплата – отвращение к себе самому и грязь на душе. Самое малое, что требовалось, – это была запись каких-нибудь новых для меня данных, преимущественно физического или геологического характера из прочитанных книг. Я много читал по физике и родственным наукам, все, что мог только достать. Преимущественно ценил я книги, выросшие на английской почве, и французские. «Traite de l'Electricite et du Magnetisme» Беккереля, в виде толстых многочисленных томов, «Курс наблюдательной физики» Петрушевского, журналы «La Nature» и «Revue rose», научные отчеты в «Revue des deux Mondes», «Cours de Physique» Жанена, «Основы химии» Менделеева, «Динамическая геология» Мушкетова и «Геология» Иностранцева, «История индуктивных наук» Иовелля, «История физики» Розенбергера, «Научное обозрение», многочисленные энциклопедические словари на всех языках и т. д. и т. д. были постоянными спутниками моей юности. Здесь не место излагать подробно, что именно я читал. Но важно отметить, что чтение мое никогда не было пассивным усвоением: напротив, к книге я всегда подходил как к равному себе, искал в ней то, что **мне** нужно, преимущественно факты, и всегда имелся в виду некоторый определенный вопрос, поставленный мною на разрешение. Это было и силою, и слабостью моею одновременно. Слабостью – потому что я не умел и не хотел отдаться общему потоку научной мысли и дать ему нести меня, без труда и критики с моей стороны; и потому я всегда был необразованным и даже враждебным образованности. И поэтому легкое другим и, можно сказать, дешевое у них мне давалось лишь после длительных усилий, а иное и вовсе не далось. Так, например, я никогда не мог понять, а не понявши, – и не принимал основных положений механики: все три ньютоновские axiomata sive leges motus казались мне не только недоказанными и не самоочевидными, но и просто неверными. Мне был совершенно непонятен смысл инерциального движения, казалось противоречащим здравому смыслу равенство действий и

противодействий и невозможность независимости ускорения наличной скорости. В своем сказочном миропонимании находил я совсем иные представления о пространстве и времени и совсем иные предпосылки о строении мира. Конечно, словесно я владел нехитрой механикой возрожденской механики и мог рассуждать пред другими с безукоризненной механической ортодоксальностью. Мне было известно, как полагается выражать принципы Лагранжа и Д'Аламбера. Но, признаюсь, я никогда не понимал их, как не понимаю и сейчас. Под защитным покровом приятных научных понятий во мне жили, не вполне выраженные и до сих пор, иные понятия. Но я был настолько одинок в них, что не решился бы высказаться, да и, вероятно, не нашел бы соответственных слов. Когда в первом году XX века появились первые сведения об опытах, если не ошибаюсь, Кауффмана, установившего в катодных лучах существование добавочной электромагнитной массы, зависящей от скорости, они блеснули мне чем-то давно знакомым, именно их ожидал я. Дальнейшее развитие этого рода понятий повело к принципу относительности, который был принят мною вовсе не по долгому обсуждению, и даже без изучения, а просто потому, что было слабою попыткою облечь в понятие иное понимание мира. Общий принцип относительности есть в некоторой степени обрубленная и упрощенная моя сказка о мире. Но брешь в механике пробита, и теперь открыты выходы и к моим заветным стремлениям. Но только мне-то эти выходы не нужны теперь, потому что я вышел гораздо проще и без научных извинений. Итак, моя самостоятельность при чтении всегда заставляла меня, несмотря на крайнюю доверчивость к фактическим сообщениям, нащетиниваться против всяких чужих теорий, поэтому они не усваивались мною, я относился к ним как к чужому, в лучшем случае, безразличному мне делу, не давал себе труда вникать в их pro и contra[21] и, несмотря на обращение с книгами серьезными, оставался, как сказано, необразованным.

Но тут была и выгодная сторона, конечно, вовсе не выгодная для моего естественно-научного образования, но имевшая положительное значение в общем умственном закале. Я научился сам изготовлять себе потребные мне инструменты, как в буквальном смысле, так и в переносном, говоря о понятиях, и потому, хороши или плохи были мои научные понятия, я знал, как вообще делались они. Орудия научной мысли большинством даже образованных людей берутся или, скорее, получаются готовыми из-за границы и потому порабощают мысль, которая не способна работать без них и весьма неясно представляет себе, как именно они выработаны и какова их настоящая прочность.

Отсюда – склонность к научному фетишизму и тяжеловесная неповоротливость, когда поднимается вопрос о критике их предпосылок. Если большинство отвергает какие-нибудь понятия, то только потому, что уверовало в противоположные, то есть настолько поработилось ими, что решительно не способно мыслить без них. Так вот, положительной стороной моей необразованности была в значительной мере независимость от господствующих понятий – отношение, как у кузнеца может быть к гвоздю или подкове, которые он сам же при случае, если понадобится, выкует, но совсем не как у гистолога, например, к своему микроскопу, которого он не только сам не сделает и не исправит, но и физической теории которого он ясно не представляет. Конечно, гистолог несравненно тоньше кузнеца, но зато последний в своей области и самостоятельнее, и смелее – тверже чувствует почву под ногами. И я: с детства привыкнув строить все самостоятельно, я не испытывал боязливого трепета в научном миропонимании и распоряжался там, как дома. Что для физики это, может быть, и не было полезно, спорить не стану; что при таких условиях, если бы я продолжал идти так же вперед, моя физическая карьера была бы мало успешна, это тоже представляется вероятным. Но не стоит беспокоиться о том, потому что с карьерой этого рода у меня давно покончено, а говорить о моих позднейших вынужденных занятиях около физики можно только в шутку. Самая же суть этого моего отношения к научному миропониманию, в ее общечеловеческом значении, то есть независимость, некоторая пренебрежительность к понятиям, вызывающим обычно священный трепет, оценка их только как рабочих орудий мысли, – это было важно в моем жизненном пути, и, рассуждая духовно, оно и было оправданием и смыслом моих занятий науками. Попросту говоря, для большинства физические явления значат мало, но физические теории и схемы вызывают трепет; меня же Промысел воспитал на трепете пред явлениями, но сдунул предо мною с теорий поэтический туман и мистический ореол. Осталось человеческое, слишком человеческое, которое я укреплял в тайном чувстве вражды.

IV. Но когда эта работа определилась в своих результатах, и после огромного напряжения, и внутреннего, и внешнего, я мог сказать себе с удовлетворением, а может быть, и самодовольством: «Покойся», – тогда вся предыдущая работа стала быстро трескаться и рушиться от подземных толчков, мне же вдруг сделалась вполне ненужною и далекою до враждебности. Жизнь моя вообще сложилась вся так, что я до сих пор не знаю, склонен ли я или нет к самодовольству: всякий раз, когда

некоторая полоса жизни начинала приводить к результатам трудов и появлялись объективные данные для самодовольства, происходило либо внутреннее, либо внешнее землетрясение, при котором и мысль о сделанном не могла уже прийти в голову. Так случилось, в особенности так случилось тогда, лет в пятнадцать-шестнадцать, при наличии особенно благоприятных внешних и внутренних данных к самодовольству.

Если очень глубоко разбираться в том, что произошло и как оно произошло, то можно, пожалуй, увидеть в происшедшем внезапное открытие дверей иного мира, куда я полусознательно стучался все предыдущие годы; или даже как падение преграды, над разрушением которой, тоже не вполне сознательно, но усиленно трудился, не зная ни покоя, ни отдыха. Тогда можно было бы понять мое исконное чувство мистичности многих явлений, мою последующую работу над исключениями из правил, – как смутный мне зов Вечности, пробивавшийся, однако, всюду и искавший себе щелей и проходов в здании научного рационализма. В этом смысле не произошло со мною ничего непредвиденного. Действительно, это и было так. Несмотря на закупорку сообщений с моим детским раем, испарения его проходили до меня и будили глубоко затаенные переживания, пока, наконец, разрушаемая и с той и с другой стороны, эта закупорка не пала. И тогда я увидел также то, чего в детстве не сознавал или, если очень углубиться в себя, что сознавал, но когда-то совсем-совсем давно, направляя на родителей и сливая с ними в один образ.

Однако в повествовании мне кажется неправильным настаивать на сути этих внутренних поворотов и полезнее, не углубляясь в них, описать и более близкие попутные обстоятельства. Они тоже несколько закрывают разверзшуюся пропасть и в этом смысле способствуют пониманию происшедшего. Но каково бы ни было это понимание, оно не должно закрывать того главного в моем собственном самочувствии, что произошел разлом, разрыв биографии, внезапный внутренний обвал, факт внезапности которого не закроют никакие указания на то, что он подготовлялся исподволь. Когда обваливается дом, то обвал этот случается вдруг, и вдруг объявляется новый сравнительно с прежним факт: дом рухнул, тогда как раньше стоял. И трескаясь, и оседая, он был раньше домом; с некоторого определенного момента это уже не дом. В моем переживании происшедшего важнейшим было: неожиданность и катастрофичность его. Полоса жизни, самая трудовая из всех, самая безоглядно горячая, самая, как по крайней мере казалось мне, бескорыстная, вдруг пошла на слом.

О, с какой остротой тогда я почувствовал тщету дел человеческих! И как сравнительно с теми глухо прозвучали во мне разрушение России и наперед уже пережитое разрушение Европы и ее культуры. Это не потому, что там дело шло лично обо мне. Напротив, тогда я знал, может быть, даже лучше, чем сейчас, что научное миропонимание есть душа западной культуры, самое сердце Европы. И когда это сердце на моих глазах вдруг стало останавливаться, когда я увидел, что оно – не сердце, а только резинка, тогда, хотя, может быть, втайне и желая того, я сознал и все происходящее ныне в мире как имеющее произойти. В том, что случилось со мною, был пережит разрыв мировой истории. Мне вдруг стало ясно, что «время вышло из пазов своих» и что, следовательно, кончилось нечто весьма важное не только для меня, но и для истории. Это было ощущение и смертельной тоски, и жгучей боли, и невыносимого сознания, что разрушается то, что строилось величайшими усилиями, – уж не о своих я говорю, а об общих, европейских. Но в этой жгучей до крика боли вместе с тем чувствовалось и начало освобождения и воскресения, тоже не только моего, но и общего.

1923.XII.2. V. Ближайших же обстоятельств, подготовивших или, точнее, ускоривших этот внутренний обвал, было несколько.

Если принять во внимание ярость, с какою я занимался физикой, степень моей осведомленности, то условия моих занятий были малоблагоприятны, а к описываемому времени стали и просто невозможными. У меня не было ни руководителей или хотя бы приблизительно равняющихся мне по эросу и физике, с кем я мог бы чувствовать себя понятым. Не было у меня также и необходимых книг и журналов. А что касается до главного предмета моего внимания, физического опыта, то, несмотря на приобретенную мною ловкость обходить трудности и самому строить свои приборы, все доступное моим усилиям уже давно было исчерпано, и опытно решить задачи, предо мною стоявшие, не было ни денежных, ни технических средств. Мысль моя и желание росли ускорительно, тогда как возможность их осуществления почти остановилась. За неимением исходов в физике творческая энергия искала себе других путей, хотя это и было мне мучительно. Самые условия работы научили меня резиньяции в области технических знаний и тем подготовили более глубокий отказ от него. Я не мог дышать свободно, потому что грудь моя, говоря переносно, слишком уже развилась к тому времени. Но эта стесненность дыхания имела причины и более неизбежные, нежели только провинциальная скудость. В самой физике конца XIX века, несмотря на ее успехи, чувствовалось

иссякновение руководящих начал и несоответствие системы физического знания, сложившейся канонически и представлявшейся почти завершенным зданием, с физическим опытом. Круг основных понятий уже сомкнулся, возможные следствия из него были выведены или казались все выведенными, пред исследователем стояли задачи или измерительные, или формально-аналитические, те и другие одинаково трудные, как и неблагодарные, не обещающие новых горизонтов. В награду за труды исследователь мог ждать себе лишь количественного расширения знаний, а требовалось от него или экспериментальная, или формально-аналитическая виртуозность, добродетель старости – и науки, и ее работников. Тут можно получить было результаты, имея уверенность в себе, твердую руку, твердую мысль и достаточное общественное влияние; доступные же результаты лишний раз подтверждали бы внутреннюю замкнутость системы, которая и без того всеми призналась замкнутой, стала научным символом веры и о которой вопрос в сторону критики рассматривался как ересь и оскорбление величества.

Ясное дело, все, что имелось у меня и положительного, и отрицательного, шло наперекор наличному характеру физического знания и создавало во мне чувство стеснения и неудовлетворенности. У меня не было ни общественного положения, открывающего двери библиотек и лабораторий, ни опытности в точных измерениях, ни математического анализа в руках. Напротив, эрос и трепет моей мысли, критика основ, физическое предчувствие и живое ощущение грядущей катастрофы физического знания, наконец, определенная нелюбовь к немецкому духу системы, захватившему тогда большинство умов, вопреки английской непосредственности, с которой я чувствовал внутреннее сродство, – все это заставляло воспринимать современную физику, как плохо сидящую на мне чужую одежду. Я достаточно владел физикой, чтобы не сказать глупости и не попасть впросак, но ее понятия не были моими собственными понятиями, и я пользовался ими, как иностранным языком.

1923.XII.4. VI. В себе самом я имел подход к физическим явлениям, который мешал с открытою душой усвоить школьный подход того времени, его язык и его методы. Но и мой подход был еще смутен или, скорее, нерасчленен: я не имел соответственного языка, а не имел его – за отсутствием собеседника, хотя бы мысленного. Колышащийся уровень нового мировосприятия был достаточно мощен, чтобы затопить и размыть школьную физику;

но он не имел силы, а главное – времени дать четкую систему новых понятий. Я слишком близко подошел к физике, в самые источники ее созидания, чтобы не увидеть условности физики школьной с ее рационализмом и опрощенством, но выразить свое ощущение, что можно и должно подойти к той же области более глубоко, не имел сил. Может быть, последнее даже и не совсем верно: скорее, у меня не было толчков или повода попытаться делать это. Свое ощущение я глубоко таил в себе, понимая, что попытка заговорить о нем повела бы к полному разрыву со всеми окружающими и что мои невнятные слова были бы приняты за нечто бредовое. Вот с тех пор прошло более четверти века, головокружительной по быстроте, с которой надвинулась и в верхних слоях мысли прошла уже катастрофа физического знания; кое-что, из предощущавшегося мною в те времена, обнаружилось и отчасти выразилось; несомненен и совершившийся уже поворот физического знания в новую сторону, которая хотя и не есть еще та, моя тогдашняя, но значительно ближе к ней, нежели прежняя школьная физика. И однако разве сейчас можно было бы решиться сказать о **своем,** о предвидимом будущем физики, вслух, полным голосом, оставив осторожность и философские экивоки? Может быть, лишь намеки в этом роде сходят безнаказанно, но в среде художественной, которая к тому же придает таким высказываниям смысл условный и субъективный. А прямо и в упор об этом нигде не скажешь, и даже попытка такого рода не приходит в голову, а потому и выразительное слово не ищется. Это глубоко неверно, когда притязают говорить с будущими поколениями: слово мое нужно не только для собеседника моего, но прежде всего мне самому, и, следовательно, рождение слова предполагает этого собеседника. Если собеседника нет, то я не могу высказаться и не могу стать ясным себе самому, как бы ни была сильна потребность высказаться и как бы ни было властно сознание, что при благоприятных условиях мог бы сказать ясно и точно. Повторяю, и по сей день я недалек от того, что было четверть века назад. Разница, однако, в том, что тогда физика была для меня **всем,** и потому немотство в этой области обрекало на полное одиночество, да и я был серьезнее; теперь же, имея также и иные выходы, и, кроме того, став легкомысленнее, я отношусь к своей физической бессловесности как к застаревшей и уже привычной ране, почти равнодушно, а может быть – и с затаенной местью, на тему, приблизительно: «Не взяли предлагаемого – вам же хуже, ищите долгими усилиями сами». Кроме того, в те времена торжество школьной физики было велико, и меня, в провинции и при моем возрасте, тревожила мысль, не погибнет ли со мною

зародыш истинной натуральной философии (мне нравился и нравится этот английский термин); но с тех пор я научился благодушию, когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня. Ну, и самая история убеждает вдобавок, что мировоззрение уже вступило на новый путь и что потому «моему» принадлежит победа, которая будет достигнута и без меня, так что мое личное участие в этом деле есть обстоятельство третьестепенное. Немного раньше, немного позже, немного так, немного иначе – но волновавшие меня ощущения будут выражены и определят собою характер будущего знания. Теперь я в этом уверен.

Тогда же это было иначе, и я ощущал себя вышедшим в ущелье, из которого вернуться обратно было бы с моей стороны изменою всему тому, к чему я до сих пор стремился, пройти же которое у меня не хватит сил, а главное, – было бы бесполезно, потому что я был бы отрезанным, как мне казалось, ото **всего** живого, под всем же живым в данном случае я склонен был считать только причастных к физическому исследованию. И во мне подымалась тревога и чувство безысходности. Они появлялись сперва отдельными черными точками, без достаточных внешних поводов, появлялись и исчезали, разрывая сплошной трудовой день науки, каковым было тогда мое существование. Эти сравнительно краткие времена мрачности были тем более заметны, что основное состояние мое было всегда бодрым, оживленным и переливающимся через край мыслями, замыслами и интересами. Скучать мне было некогда, каждая минута была на учете, и все существование было непрерывным праздником науки, который я старался распространить и на невыносимую мне потерю времени в гимназии, обдумывая что-нибудь среди уроков, когда это допускали обстоятельства. И все-таки иногда все омрачалось. Ничто внешне не проникало в мою хорошо забронированную занятость наукою. Уверенность в себе, понимать ли ее в плохом или хорошем смысле, давала надежную защиту от неприятных впечатлений. С одной стороны, я был охранен от них условиями семьи и семейной обстановкой, а с другой – настолько предан объективному, что никогда не копался в себе и не имел к этому вкуса; что же касается до гимназии, то я смотрел на нее не только свысока, а просто как на неминуемую неприятность, которую чувство собственного достоинства запрещает замечать и как-либо учитывать. Товарищи мои, кто был потоньше и покультурней, раздражались на гимназию, злобствовали, иные пылали ненавистью и поговаривали, уж не знаю, насколько вплотную, о террористических покушениях

(через несколько лет они на Кавказе действительно начались в средних учебных заведениях) и вообще чего-то от гимназии требовали и как-то с нею считались. Что же до меня, то я, напротив, старался их успокоить, защищал наших учителей и не чувствовал к ним вражды; но причиной моего спокойствия было то, что я от гимназии ничего не ждал и ничего не предполагал, относился и к ней, и к учителям снисходительно-высокомерно и был глубоко убежден, что все это не такие предметы, на обсуждение которых стоит тратить время и внимание. Естественно поэтому, в гимназии я занимался между прочим, уроки готовил на переменах, к гимназическим неприятностям относился вполне равнодушно, тем более, что на хорошие отметки отец мой морщился с неудовольствием, по-видимому, опасаясь (он глубоко ошибался тут) их как источника тщеславия. Впрочем, учился я хорошо и в этом смысле в гимназии тоже не сталкивался.

Итак, черные точки возникали сами собой, как первые предвестники глубокого внутреннего сдвига.

VII. Еще одно обстоятельство ускорило этот сдвиг, уже личное, хотя и оно упиралось на те же интересы к науке. Это – мои отношения с Ельчаниновым. Он был в эти годы единственным, к кому я хотел подойти внутренне. С гимназическими товарищами и другими знакомыми мое соприкосновение было поверхностным, и – преднамеренно поверхностным. Мы могли болтать, ко мне относились неплохо, но занимавшее меня на самом деле, то есть физическая мысль, мною замалчивалась, как заведомо недоступная интересу и пониманию моих товарищей. В Ельчанинове же, с которым нас связывали и привычка, и теплота чувства, была талантливая рецептивность и душевная подвижность, позволявшая ему подходить с вниманием к занимавшей меня области. Так, по крайней мере, думал я о нем и он о себе тогда. Это давало мне надежду на выход из одиночества и побуждало стараться около него. Но мои, а может быть и его, усилия были тщетны, и, по мере того, как делалось невозможным закрывать глаза на их бесплодие, возникала и неловкость взаимных отношений, слишком приятельских, чтобы иметь, когда нужно, способность уклончивости, и недостаточно дружеских, чтобы разрушить все душевные средостения. Это была единственная сторона жизни, где я не двигался без толчков, и толчки эти без каких-либо явных поводов привели к разрыву, не охлаждению, а именно разрыву, имевшему все формальные свойства ссоры, но без повода к ссоре. В какой-то один день мы вдруг перешли на **вы,** затем перестали разговаривать и видеться, не кланялись на улице и не

здоровались. Повторяю, мы были слишком близки, чтобы перейти к отношениям просто вежливым и внешним; поддерживать прежние отношения сделалось невыносимым; объясниться же было не о чем, как не в чем было признать себя кому-либо виноватым, потому что ни один из нас, в смысле житейском, и не делал ничего плохого. Если же говорить о вине, то это – вина метафизическая, определенное свойство характера с его стороны, и неумение, и нежелание в моей завороженности физикою понять это и действовать далее, учтя это существенное обстоятельство. Но я слишком любил его, почти влюбленно, чтобы внутренне согласиться не искать от него подобного своему внимания к области, вне которой я не усматривал ни удовлетворения, ни (если уж говорить в упор) подлинного человеческого достоинства; а с другой стороны, – вся мысль моя и сила сознаваемой страсти были сосредоточены именно в натуральной философии, так что я не допускал себя до мысли о возможности просто привязаться к человеку, просто любить его и тем более – быть влюбленным, помимо натуральной философии, вообще помимо умственных интересов. Я хотел рассматривать и Ельчанинова и себя самого как приложение к физике, а наши с ним отношения – как служение ей; и потому я требовал от него то, чего он не имел, и вел себя в искусственном предположении, что требуемое уже заведомо есть. Когда же оказывалось обратное, я уязвлялся, оценивая это обратное как подрыв самой основы наших отношений, и видел в нем небрежность и легкомыслие.

Во всем этом вина или ошибка лежат на мне; но хорошо все-таки, что это было так, хорошо, что трещина между нами, которую я ощущал почти до видения, ежедневно ширившаяся, относилась мною за счет физики, как ни жестоки были мои страдания, в этой мысли они имели нечто смягчающее. Размышлял обо всем этом спустя много лет после того, как с Ельчаниновым мы вполне помирились, но не возобновив прежнего, я ясно вижу, что разрыв, гораздо более существенный и гораздо более мучительный, все равно произошел бы, если бы я и судил более здраво и о ценности физики, и о внутренней чуждости Ельчанинова углубленному размышлению. Попросту говоря, жизненный инстинкт побудил меня, под предлогом физики, оторваться, хотя и с величайшими мучениями, от Ельчанинова раньше, чем он успел бросить меня, уже не под каким-либо предлогом, а по метафизическому непостоянству, которое составляет и очаровательную, и духовно преступную суть его характера.

Тут было упомянуто о его талантливой рецептивности. Действительно, я, пожалуй, не встречал людей таких пластичных,

как он, – так легко и добровольно формируемых теми, с кем он встречается и кем он заинтересован. Почти исключительно его уменье и, главное, желание войти в чужие интересы, но не из доброты, а всецело, с оживлением и горячностью, проникнуться ими сильнее, чем сам заинтересованный, тонко примениться к ним, опять-таки тоньше заинтересованного, проявить огромную чуткость, нежность, внимание, – чтобы затем, через недолгое время, вполне охладеть и к этим интересам, только что бывшим его собственными, и к делу, и к человеку. Почти моментально очаровывающий и очаровываемый, даже, пожалуй, сперва очаровываемый, а потом уже, именно этой своей очарованностью очаровывающий, Ельчанинов весьма быстро насыщается, утомляется, охладевает и уходит, притом уходит почти грубо, во всяком случае – жестоко. Ему нужна постоянная смена впечатлений, иначе он чувствует себя увядшим. Даже буквально с самым приятным для него дорогим лицом, с самой интересной книгой ему трудно сидеть более получаса, он начинает непреодолимо зевать, сереет и срывается с места за новыми впечатлениями. В те описываемые годы эти свойства не сказывались еще так определенно, и лишь я угадывал что-то около них. Впоследствии же они установились бесспорно для всех, его знавших, как установилось и общее среди всех его друзей и знакомых прозвание его «мотыльком». Действительно, этот мотылек порхал с цветка на цветок, едва прикасаясь к капле нектара. Если кто знал этот существенно неустойчивый характер, можно сказать, упорный в своей неустойчивости, то отношения с Ельчаниновым были легки, приятны и очаровательны, но под непременным условием не верить ни своим чувствам, ни его объяснениям, вообще брать полчаса свидания как таковые, не распространяя этого полчаса ни в прошедшее, ни в будущее. И тогда мотылек мог многократно прилетать к одному месту, и все шло так гладко. Но стоило только неопытному сердцу вообразить, что эти полчаса есть лишь начало чего-то прочного, сообразовать свои жизненные планы и свои душевные надежды с этим началом, вообще взамен самоотдания Ельчанинова отдаться самому, как начиналась драма, драма около донжуана, и донжуанский список Ельчанинова, во всяком случае, во много раз превосходит таковой же его родоначальника. Но несомненно, без каких-либо преувеличений, что Ельчанинов есть донжуан; но это определение надо брать не грубо.

// Однако в этой негрубости скрывался главный яд: Ельчанинов ускользал от возможности осудить его поведение и в собственном своем сознании не имел достаточного материала, чтобы убедиться с очевидностью в том, что он вовсе не невинен,

во всяком случае, не так невинен, как думал он о себе сам. Он избегал близости с равными себе по летам и по силе, а тем более старших себя, и предпочитал младших, которые безответнее отдавались его ухаживаниям. Все свои способности Ельчанинов обращал, чтобы очаровать и закрепить свое очарование. Он возносил того, с кем имел дело, на престол и внушал неопытной душе сказку об ее избранничестве, исключительности, о ее праве на поклонение, а сам в это время выпивал эту душу, раскрывшуюся пред ним с доверием, какого она никогда не имела и пред собою. Все прочие отношения, дела и обязанности меркли пред нею, любовь и внимание близких начинали казаться пресными, слишком умеренными и сдержанными, душа тяготилась всем, что не было Ельчаниновым. А он, как только это произошло, соскучивался, охладевал и бросал ее, если можно – старался просто уехать и исчезнуть из вида. Он мог быть верным только, если чужая душа держалась и, несмотря на обольщение, не отдавала ему себя; тогда Ельчанинов время от времени возобновлял свои попытки, худел и мучился неуспехом. Это, однако, не было действием по рассчитанному плану, не было и самолюбием, а подвигалось каким-то непреодолимым инстинктом, очень по-женски.

Победы давались особенно легко и были наиболее сладостны, когда жертва любви была совсем еще молода, и чем моложе, тем желаннее. Подростки, еще лучше дети – на них преимущественно обращались волнения Ельчанинова. Окружающие, то есть взрослые (– до чего бывают слепы эти взрослые! –), в один голос считали Ельчанинова прирожденным педагогом. За его уроками, за его воспитанием, даже просто за педагогическими советами гонялись, как за визитами знаменитого врача. В частности, одно время пытались привлечь его в воспитании детей великого князя Петра Николаевича, но Ельчанинов отклонил это приглашение. И действительно, не имея в себе педагогической заскорузлости и нисколько не считаясь с педагогической рецептурой, Ельчанинов подходил к каждому отдельному случаю непосредственно и с интересом, забывая о занятиях как о ремесле и отдаваясь взятым на себя обязанностям, которые не были, впрочем, для него обязанностями, а скорее – очередным романом. В каждом случае он изобретал новые приемы обучения, будил мысль и интерес, волновал. У него занимались с интересом, его наставления охотно выслушивались и даже выполнялись, вообще он мог вести своих учеников в большинстве случаев куда хотел, хотя изредка бывали такие, которым он не внушал доверия и которые определенно не любили его. Программа усваивалась, и все казалось благополучным. Но на самом деле Ельчанинов вырывал

ребенка из его семьи и незаметно для себя внушал ему недоверие к близким и научал замыкаться от них; воспитанник открывал новую для себя, не то пренебрежительную, не то укорительно-осудительную точку зрения на своих родителей и всех прочих, ибо все и всё казалось ему теперь мещанским, прозаическим, мелким, а все обязанности и жизненные отношения – условными и ничтожными. Это был род хмеля, но не невинный, как хмель. Разорвав жизненные нити и уйдя, Ельчанинов оставлял в душе смуту, чувство пустоты и рану, к которой присоединялись отрава повышенной самооценки и соответственные требования от жизни.

VIII. Но все здесь рассказанное определилось в Ельчанинове с ясностью уже после нашего с ним расхождения и сюда включено ради более отчетливого понимания личности моего покойного друга. Я называю его так, потому что, переболев мучительно наше расхождение и затем, спустя некоторое время, снова установив весьма короткие отношения, я не мог и не могу ощущать его иначе, чем как ощущают умерших. Первоначально я был старшим для него (хотя годами мы были ровесники) и потому, вероятно, не отдавался ему как авторитету и не видел в нем сказочного царевича, а ему это было и тогда непереносимо. Впоследствии, когда он почувствовал, что умер для меня, он захотел любви, к тому же он почувствовал, что теперь я ничего от него не жду, искренно не думаю ни о каких обязанностях его в отношении меня и что ни внешне, ни внутренне не буду огорчен, поступит ли он так или иначе, – а основным самочувствием Ельчанинова, мне кажется, всегда был женский бунт против норм: «Брак есть могила любви». Так вот, он убедился, что никакой могилы его чувствам мной не роется, и потому стал относиться с нежностью ко мне и, время от времени, когда кончался тот или другой из его романов, более волнующих его, возвращался ко мне как к старшему. Впрочем, об этом обо всем следует говорить далее, теперь же возвращаюсь, с чего начал: несмотря на свою почти влюбленность в Ельчанинова и долгую привычку, я, без каких-либо явных мотивов, первым активно отошел от него и, задним числом, вижу в этом правильно произведенную операцию. Если бы последней не было, то я не остался бы в потребном мне одиночестве, а Ельчанинова все равно потерял бы, но только более болезненно. Разойдясь с ним, я почувствовал себя сошедшим в темный погреб. Связь с миром держалась у меня чрез посредство него, и тут она порвалась. Свет померк, я слышал, как захлопнулся надо мною спуск. Теперь, когда волнение и внешняя боль несколько утихли, я мог обратиться к себе самому и пересмотреть, в первый раз сознательно, чем я жил до сих пор.

IX. Моею первою заботой было удвоить и утроить свои

старания около науки. Я поставил ряд интересных опытов, усиленно читал; мысль моя охватывала уже обширные области, как, например, в работе «Об электрических и магнитных явлениях Земли» – работе, которая по тому возрасту удовлетворительна не только по замыслу и основным понятиям, но и достаточно полна со стороны литературных сведений. Ни одно впечатление не должно было остаться без внимания: я фотографировал, зарисовывал, записывал, и весь материал приводился к некоторому единству. Короче сказать, это был разгар деятельности.

Но вместе с тем я чувствовал тайную неудовлетворенность, и ее не заглушала непрекращающаяся работа. Это не было какое-либо определенное чувство, и сам себе я склонен был объяснить свое состояние своим одиночеством, – но ошибочно. Прежде природа приводила меня в экстаз, и сердце готово было разорваться от восторга; теперь я продолжал любить природу, но, оставаясь наедине с ней, я стал испытывать особенно острые приступы необъяснимой и беспредметной тоски. Это чувство, вообще мне не свойственное и не знакомое до того времени, переживалось особенно болезненно по его непривычности. Уже редко посещало умиление при виде цветка или камня. Продолжались мои прогулки и экскурсии, вообще озабоченность знанием, но это делалось хотя и ревностно, но, скорее, по чувству долга и привычки, чем по горячему ощущению подлинной важности этого. Я усилил свое чтение по философии, бывшее, впрочем, и ранее, но оно оставляло меня холодным и скользило, не задевая души. В моем уме философские понятия складывались в философские системы, я ощущал известное удовольствие от этих смелых умственных ходов, но они были для меня не более как виртуозностью. Между прочим, перечитывал и философствования Толстого, но мне казались они преимущественно нудными, и я не давал себе труда разбираться в них по существу. Более обратило на себя мое внимание переведенная Толстым известная статья Карпентера о науке, но и тут, скорее, придравшись к некоторым его указаниям о невыясненности понятий температуры, я стал усиленно размышлять по этому предмету и пытался построить что-то в этом направлении. Между прочим, живя летом с папой в Кутаиси, я возобновил свое чтение трудов по спиритизму и другим родственным явлениям, но и к ним отношение мое было внешнее: как и прежде, я охотно и доверчиво готов был признать самые факты, с меньшим доверием, но не враждебно выслушивал теории, но при всем том не делал ни из того, ни из другого никакого духовного применения, ибо для моей мистики – это

была область слишком близкая к лаборатории, а для моей научной складки – слишком приблизительна и неотчетлива. Итак, никакие благодетельные толчки извне не облегчали моего выхода из духовных томлений, я оставался предоставленным себе самому, и между мною и мною залегало чуждое мне, но непреодоленное, научное миропонимание.

X. Между тем голоса из глубины призывали, хотя я и не слышал их; а когда они делались настолько громкими, что не слышать их я уже не мог, все-таки и потрясенный ими я не знал, как быть далее и как направиться по ним. Теперь уж я плохо помню, когда именно что случилось, но это и неважно, потому что характеризует **одну** полосу моей жизни.

1923.XII.20. Тут мне представляется необходимым сделать одну оговорку, относящуюся как к ближайшим последующим главам, так и ко всему повествованию. А именно: от этого времени моей жизни у меня остались дневники; от других – разные современные письменные данные. Когда я делал попытку заглянуть в них, мое теперешнее сознание выталкивается чуждой их стихией, как кусок дерева водою Мертвого моря. И если бы читателю настоящих строк когда-либо попались те записи, он почувствовал бы глубокое различие их от настоящего изложения и склонен был бы видеть в нем некоторый вымысел. Но в данном случае автору принадлежит и то, и другое, а вдобавок он же есть предмет своего сочинения. Естественно, следует выслушать и его суждения о данном разногласии, причем разъяснение такое имеет смысл и вообще, потому что это излюбленная тема критиков – устанавливать вымышленность автобиографий.

Итак, прежде всего дневники, письма и записи принадлежат мне же, и было бы глубокой погрешностью опираться на них как на безусловную правду, только за их современность. Измерять ими истинность позднейших воспоминаний – это значит признавать полную мою тогдашнюю беспристрастность к себе самому и к другим и какую-то нечеловеческую мудрость, позволяющую оценивать смысл и значение событий самих по себе, помимо общих линий жизни. Современные записи по необходимости субъективнее, чем позднейший взгляд на те же события, уже обобщающий и имеющий основание выдвигать вперед или отодвигать назад то или другое частное обстоятельство. Многое, что за шумом жизни не было тогда услышано достаточно внимательно, по дальнейшему ходу событий выяснилось как самое существенное, тогда как много и очень много волновавшего прошло почти бесследно.

Я выслушиваю свои же старые дневники и проч., как

спотыкающееся чтение по плохо написанной и недоступной пониманию читающего рукописи: и знаки препинания, и логические, даже музыкальные ударения, и ритмика чтения – все нещадно перевирается, а я, безусловно, не согласен в своем позднейшем понимании собственной своей жизни руководиться этим чуждым мне старым. В записях того времени местами я просто не узнаю себя, но **знаю:** это происходит вовсе не от недостатка в памяти, а от неправильности самой записи. О важнейшем и наиболее глубоком я или не писал тогда, или писал неправильно, да и не мог писать; это были еще слишком тонкие и не доведенные до полной сознательности впечатления и внутренние движения, чтобы могли у меня в таком возрасте найтись слова для них. Теперь же, когда это тонкое вышло уже на поверхность сознания и, проросши, оттенило то, что тогда было там, – теперь оно может быть высказано. И напротив стоявшее тогда в фокусе сознания потому, вероятно, и находилось там, что было уже отсохшей старой кожей, от которой, несмотря на ее мучительность, не удавалось освободиться и которую своими сознательными усилиями все хотелось оживить и приклеить к своей душе.

Да, оглядываясь назад, я, как и всякий, не только вижу отдельные случаи жизни, рассыпающиеся и возникающие от внешних толчков, но и понимаю внутренний **смысл** их в целой жизни, то есть их место и взаимную связь в целой жизни, и оцениваю их удельный вес. Многое забылось; но когда рассматриваешь, что именно относится сюда, то делается ясною пустота и поверхностность этого забытого. Напротив, иное, по-видимому, мимолетное и тогда полузамеченное, оказалось незабвенным и даже с годами делается все более ярким среди тускнеющих образов прошлого: это – зерна будущего. Картина прошлого, как она представляется сейчас, не соответствует той, что виделась мной в самом ее переживании. Но пусть не говорят мне о настоящем моем представлении как о ретуши предвзятой и пристрастной памяти. Конечно, и теперь, не умерев, мне не рассказать о себе без пристрастия; но в одном уверен я: о тогдашних делах теперь могу говорить с большей заинтересованностью, нежели тогда, в самом кипении этих дел. И то, что скажу я сейчас, представляет тогдашнюю жизнь иначе, чем представлялась она тогда, к выгоде правдивости. Весьма вероятно, взойдя на некоторую новую ступень, я смог бы еще по-новому понять все бывшее, и тогда настоящее изложение оказалось бы в каком-то смысле ненужным и ошибочным; но не раннейшие записи должны быть противопоставляемы настоящему повествованию. В конечном счете я-то знаю ведь, что писано мной

о себе лучше и что – хуже. Думается, этим соображением нужно было бы почаще руководиться критикам автобиографий и исповедей, и тогда многое было бы написано ими иначе, чем было написано.

XI. Но возвращаюсь к прерванному.

Лето 1899 года было временем особенно быстрого внутреннего изменения и потому представляется мне чрезвычайно длинным и полным событий, не в пример предыдущим и многим последующим. Я судорожно держался физики и тому подобных наук, обуреваемый многими весьма широкими замыслами, из которых каждого хватило бы на обширную книгу. Но вместе с тем шло весьма большое по объему чтение художественное, философское, историческое. Правда, всегда и раньше читал я очень много, и притом почти одним просмотром, выхватывая из книги все то, что мне было действительно полезно, так что дальнейшее внимательное чтение той же книги редко давало еще что-нибудь питательное. Но это чтение шло своим порядком и потому как-то не замечалось, как не запомнились на дальнейшее и отдельные книги. После возраста детского каменным быком в моем сознании стоит именно лето 1899 года, а все промежуточное, хотя и помнится в подробностях, но не имеет существенного веса и аркою моста соединяет эти устои. Так и относительно книг: чтение стало тут бурным, молниеносным и весьма волнующим.

Время мое и силы были заняты до последней степени, а вдобавок преподаватели гимназии охотно накладывали на меня по нескольку бесплатных уроков, которые я вел с непомерной ревностью. Эта занятость не только не останавливала [но и не могла остановить] каких-то стремительно развивающихся событий в подсознательном, откуда доносились до меня лишь глухие гулы. Но, несомненно, там было неспокойно.

В конце весны этого года, незадолго до отъезда на дачу, помню я весьма трудную для себя ночь. Она и по сей день живо стоит в моем чувстве, однако не находится слов рассказать, в чем было дело, потому что нет никаких образов. Нет, и не было тогда, несмотря на потрясшую меня силу самого переживания. Ясно помню всю внешнюю обстановку: свою комнату во флигеле нашего дома, с белыми голыми стенами, согласно моему вкусу, высокую, с огромными окнами прямо на длинный балкон, флигель, в котором она находилась. Помню огромные стенные шкафы из необделанного ясеня, в которых находились мои личные книги, бумаги и приборы, и два громадных ясеневых стола, занимавшие своею площадью почти всю большую комнату. На них я занимался и экспериментировал, на них строил себе

приборы. К одному из столов были привинчены английские тиски с наковальней, а в ящике лежали инструменты, слесарные и столярные. Перечислить остальной инвентарь комнаты теперь уже недолго: это – деревянная тахта с моей постелью, стул и чернильница на столе. Мне была невыносима какая бы то ни была вещь в моей комнате, а в особенности – на столе, даже книга.

Так вот, я спал в этой комнате. Окна и двери были открыты настежь. Судя по тому, что мысленным взором я не вижу никого из домашних, вероятно, они уже уехали на дачу. Я спал глубоким сном, похожим на обморок, так что даже сновидений не было, или, во всяком случае, они забылись еще до пробуждения. Но соответственно сильным было чувство, правильнее сказать, мистическое переживание тьмы, небытия, заключенности. Я ощущал себя на каторге, может быть, в рудниках – не видел себя в таком состоянии, а только имел чрезвычайно существенное последствие его для внутренней жизни, – ощущал так, как если бы находился в таком руднике. Применяя термины, тогда мной еще не употреблявшиеся, я сказал бы: это безобразное и невыразимое переживание, потрясшее меня, как удар, было мистическим, и притом – в чистом виде. Я испытывал огромное страдание, которое подавляло меня, хотя тут не было каких-либо учитываемых причин сознавать свою гибель и свою смерть. Это было как самоощущение заживо погребенного, когда над ним лежат целые версты черной непроницаемой земли. Это был мрак, пред которым кажется светлою самая темная ночь, мрак густой и тяжкий, – воистину тьма египетская; она обволакивала меня и задавливала. Было ощущение, что теперь никто не поможет, никто из тех, на кого я привык рассчитывать как на нечто незыблемое и вечное, не придет ко мне, даже не узнает обо мне. Я ощущал также бессильными все свои интересы, занятия. Не то чтобы появилось какое-либо сомнение в правильности или в неправильности физики и всего прочего, даже в самой природе. Нет, все это просто осталось **по ту сторону** чего-то, мне непроходимого, стало необсуждаемым, лишенным какого бы то ни было жизненного значения, тряпками, которых не станешь ни хвалить, ни порицать при агонии. С острой, не допускающей никакого сомнения убедительностью я ощутил бессилие всего занимавшего меня до тех пор, в той, новой для меня, области мрака, куда я попал. Тут **свои** потребности, **свои** страдания. Очевидно, должны быть и свои средства и свои радости. Непосредственным чувством я искал их, но не находил, бросался к выходам, но наталкивался на стены и путался в подземельях и проходах. Мною овладело безвыходное отчаяние, и я сознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную

отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был не то незримым светом, не то – неслышанным звуком, принес имя – **Бог.** Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что или гибель, или – спасение этим именем и никаким другим. Я не знал, ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал, куда я попал и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, как и бесспорный: есть область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это было **откровением,** открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдруг проснулся, как разбуженный внешней силой, и, сам не зная для чего, но подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату: «Нет, нельзя жить без Бога!»

1923.XII.24. Так сказав, я и сам был удивлен – и звуком своего голоса, непроизвольно вырвавшегося, и самым содержанием слов: пережитое во сне было сильно, но слишком глубоко, в точном значении этого слова, и потому не имело себе никакой формулы. Когда же эта последняя сказалась, то естественно возникало чувство неожиданности, несмотря на внутреннее признание этой формулы как выражающей пережитое.

Тут мне напрашивается обобщение, которое относится к самым разным, но более глубоким деятельностям моей жизни и притом – во все времена. Это именно – появление словесных формул того, что переживалось мною, совершенно независимо от прямых намерений и, чаще всего, – вопреки предвидимым сочетаниям и выводам из формул, уже готовых. Если бы я не боялся впасть в тон Розанова, то тут наиболее уместен был бы плагиат: «Каждое мое слово есть откровение». Конечно, не в смысле притязаний на высшую духовную истинность, даже и не в смысле непременной правильности, но все-таки откровение, потому что возникли и возникают в моей формулировке, всегда выплывая или, точнее, выскакивая вполне готовыми из подсознательного и раздвигая собой, разрывая наличное содержание. Это значит: отдельные формулы в моем сознании не держатся друг за друга, чаще всего имеют между собой зияющие провалы и противоречат друг другу. Вся совокупность их образует нечто крепкое в силу связи этих словесных формул с духовными средоточиями, относительно которых я и сам не могу сказать, что они такое. Поверхностно рационалистическое мировоззрение

напоминает «фонарик» жидовской вишни; углубленно-рациональное мировоззрение можно сравнить с последовательными оболочками какого-нибудь плода, вроде, например, кокоса. А строй моей мысли имеет связи радикальные, и мне представляется образ моих с детства любимых плодов […], похожих на голубых ежей. Обыкновенно, в какой бы области я ни размышлял, мысль шла сама собой и почти без моего ведома, тогда как сознание бывало занято совсем другим, нередко обратным тому, что готовилось на большой глубине. Это была совсем не логическая мысль, а, скорее, присматривание к некоторой новой области, ощупывание ее и внутреннее к ней приспособление. Когда оно достигалось, само собой возникало и **слово** его. В качестве слова оно никак в процессе своего формирования не соотносилось с другими словами и потому не было с ними слажено; поэтому-то оно и казалось сперва и мне самому чем-то неожиданным. По корню же своему, его вырастившему, оно было родным и хорошо знакомым, подходило к строю мысли в ее целом даже лучше привычных, истершихся других слов. Оно выступало в сознании как чуждое ему и вместе с тем как заветное и защищаемое с гораздо большею искренностью, нежели все остальное, уже не вызывавшее чувства умственной неловкости. Так бывало с новой мыслью во всех областях, и потому новое меня самого одновременно и удивляло и ощущалось как давно уже свое и усвоенное.

Таким же, но обостренно таким сказалось то, приведенное выше слово – о жизни без Бога. Но бывали случаи, когда эта непроизвольность слова представлялась мне уже прямо данной извне, как восприятие явившегося во внешнем мире, который был вместе с тем и внутренним. Было ли это галлюцинацией, если к психологическому механизму этих восприятий подходить, как говорят, «по-научному»? – Не думаю. Моя психика всегда была крепко сшитой, и воздействия на нее из глубины не подавляли привычного мне и с детства вкорененного самообладания; как бы ни был я взволнован и потрясен, исследование происходящего никогда не опускалось. И относительно упоминаемых здесь случаев, как бы ни была жива глубокая уверенность в их потусторонней реальности, параллельно производится учет и той внешней среды, в которой воплощалось потустороннее.

Итак, это не было галлюцинациями; но не было, однако, и иллюзиями, если разуметь под последними ошибочное перетолкование восприятий и подмен их смысла некоторыми другими того же плана, к которому они дают повод, но которому они не могут быть признаны достаточным основанием. То, о чем говорю я, скорее, должно быть определено как сопребывание двух

различных смыслов, принадлежащих к разным планам действительности в одном и том же восприятии, причем один смысл не уничтожает другой, но оба сознаются одновременно, хотя и с различным коэффициентом ценности. Когда такое взаимопроникновение смыслов наибольшую реальность имеет со стороны низшего смысла, восприятие мы рассматриваем как символ, с окраской субъективности. Но бывают, хотя и реже, случаи обратные; тут более ценный смысл восприятия ощущается и как более реальный: это – символ объективный, видение.

1923.XII.26. Вот один из случаев, особенно запомнившийся, может быть, потому, что он лежал на главном русле моей мысли. Он относится к тому же лету и был спустя короткое время, может быть, через две-три недели после случая, описанного выше. Мне представляется теперь уже более определенно, что в доме, кроме меня и отца, никого не было. Я спал в своей комнате. Было довольно жарко, двери на балкон были открыты. Не помню никаких сновидений, и, как казалось мне и тогда, сон был очень глубок и тоже вроде провала. Но вдруг меня пробудило что-то, какой-то внутренний толчок. Это не был какой-либо образ, не была какая-либо мысль. Может быть, наиболее подходящим было бы сравнить его с электрическим ударом, однако с той существенной разницей, что электрический удар ощущается телом, а этот – к телу никакого отношения не имел. Толчок, не затрагивавший ни телесных, ни сознаваемых душевных состояний, и тем не менее принудительно-властный и резкий – какое-то духовное электричество. Это было ощущение, словно сильная воля, безмерно превосходящая мою и безмерно более моей авторитетная, действует за меня раньше, чем сам я успеваю не только выполнить ее требования, но и сообразить, почувствовать и захотеть то, что от меня ею потребовано: вероятно, так ощущает себя младенец, которого пеленают умелой рукою и он только по окончании всего сообразит, что ему кстати расплакаться. И моя самостоятельность определялась в отношении происходящего только задним числом.

Этот духовный толчок мгновенно и вполне пробудил меня, причем такое пробуждение похоже, как если бы свалиться с крыши. Таким же порядком он выбросил меня из постели во двор, и, помнится, натиск воли был так силен и решителен, что я не имел времени пройти вдоль балкона до одного из выходов, а перескочил по прямому направлению из своей двери через перила. Сказать, что я испугался, было бы совсем неправильно: у меня не было на это времени. Только когда все уже закончилось, я сообразил, что надо испугаться – таинственного и

могущественного присутствия воли, мне неведомой и, во всяком случае, вовсе не соблюдающей условий обходительности, в которой мы воспитаны. Она – как грозный, мгновенно пожирающий огонь, который не извиняется и не дает отчета в своих действиях; но в самой глубине сознания при этом ясно, что так надо и что эта необходимость мудрее и благостнее человеческих осторожных подходов.

Я стоял во дворе, залитом лунным светом. Над огромными акациями, прямо в зените, висел серебряный диск луны, совсем небольшой и до жуткости отчетливый. Казалось, он падает на голову, и от него хотелось скрыться в тень, но властная сила удерживала на месте. Мне было жутко оставаться в потоках лунного серебра, но я не смел и вернуться в комнату. Мало-помалу я стал приходить в себя. Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя: «Павел! Павел!» – и больше ничего. Это не было – ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, – в мажорном ладе, без каких-либо косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить, – призыв. Я хорошо помню и тембр его, не мужской и не женский, упруго-звонкий и очень чистый; тут не было ни малейшего привкуса гортанности, каких-либо желаний сверх того, основного, объективного, высказанного веления, которое передавалось им тут с властным бесстрастием. Так возвещаются вестниками порученные им повеления, к которым они не смеют и не хотят дополнить от себя ничего сверх сказанного, никакого оттенка помимо основной мысли. Весь этот зов звучал прямотою и простотою евангельского «ей, ей – ни, ни». Он раздирал мое сознание, знающее субъективную простоту и субъективную призрачность рационального и объективность переливающегося, бесконечно сложного и загадочно-неопределенного иррационального. Между тем и другим, разрывая их, выступило нечто совсем новое – простое и насквозь ясное, однако властно-реальное и несокрушимое, как скала. Я ударился об эту скалу, и тут было начало сознания онтологичности духовного мира. Насколько я понимаю, именно с этого момента появилось еще не выраженное в слове, но острое в своей определенности отвращение от протестантского и вообще интеллигентского субъективизма.

Я не знал и не знаю, кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он идет из горнего мира. Рассуждая же, кажется наиболее правильным по характеру его отнести его к небесному вестнику, не человеку, хотя бы и святому. Однако, при всем том и тогда, и в настоящее время, на каком-то заднем мысленном плане

был вопрос, хотя и малозанимательный, о физическом материале этого голоса. Это не значит, будто я отрицаю существование небесных внушений и голосов, лишенных физической основы. Но относительно данного случая я склонен думать, что такая основа все-таки была в виде голоса на соседнем, сзади нас находящемся дворе, за высокой кирпичной стеной, и допускаю даже, что этот голос выкрикнул мое имя, хотя относил его, конечно, не ко мне. Зачем понадобилось ему кричать так среди ночи, непонятно, и, если вообще исходить из внешних обстоятельств, то все случившееся со мной кажется непонятным. Но мое непосредственное ощущение тогда, как и мое сознание происшедшего впоследствии, исходило из обратного: первое и бесспорное в этом случае – духовная реальность голоса горнего, который и направил все внешние обстоятельства так, чтобы наиболее доступным мне образом пробить кору моего сознания. Если в самом деле кто-то и зачем-то назвал в соседнем дворе мое имя, то и он, сам не зная, чему он служит, был подвигнут на это той же силой, что разбудила и меня. **Я** не знаю, кого именно **хотел** он звать и зачем, но на самом деле – дал свое горло и свои уста **иному** голосу и звал **меня.** Весьма вероятно, мой слух был слишком груб, чтобы услышать непосредственно, без этого голосового рупора, ангельский голос; но с помощью физического посредства я слышал не его как таковое, а в нем – духовный двигатель его, голос горний, и потому тембр и выражение одухотворились и сделались неземными.

< VII. Обвал >

*1924.1.1.*I. С призывами, описанными выше и им подобными, обстояло так же, как и вообще с моим ощущением иного мира. Они принимались мною с открытою душою и совсем доверчиво; скепсис, раздвоенность в восприятии, дребезжащее ощущение бытия мне никогда не были свойственны. Мало того, они волновали меня и глубоко взрывали какие-то внутренние слои. Можно сказать, опыт этого рода утверждался в моем сознании, как нечто безусловно твердое и не встречающее себе никаких внутренних противодействий. Но… иной мир, хотя и в другом плане известный мне, мною никогда ведь не отвергался, и всегда было живо нечто гораздо более важное, чем мысль о нем: непосредственное ощущение его реальности. Иной мир в моем глубочайшем самоощущении всегда соприкасался со мною как подлинная и не внушающая ни малейшего сомнения действительность. Это ощущение касалось не только стихийных недр природы и всей ее жизни, духовного облика растений, скал и животных, но и человеческих душ, в частности – святых. В особенности же было живо постоянное ощущение присутствия покойной тети Юли, утонченной близости ее, гораздо более проникновенной, нежели при жизни. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда вместе с Бергсоном, что все бытие проходит чрез нас и нам поэтому дано в недрах, не доходящих, однако, до сознания, и сумел бы сказать все это не как научную теорию, а просто как свое самочувствие, то я живо откликнулся бы, ибо это именно и было моим самочувствием, притом самочувствием от рождения.

Так вот, было ощущение иного, чем только поверхность жизни. И однако это живое и основное мое ощущение в сознании, точнее, в связном сознательно-научном миропонимании не принимало никакого участия, разве что отрицательного, как фермент. Опыт, бесспорно подлинный и о подлинном, был сам по себе, а научная мысль, которой в каком-то душевном слое я просто не верил, – сама по себе. Это была характерная болезнь всей новой мысли, всего Возрождения; теперь, задним числом, я могу определить ее как разобщение человечности и научности. Бесчеловечная научная мысль – с одной стороны, безмысленная человечность – с другой. Пляшущая с торжеством смерти-победительницы на костях уничтоженного ею человека научная отвлеченность и забитый, прячущийся по углам человеческий дух. Все новое время страдало именно этою раздвоенностью, сначала в надежде совсем изничтожить дух, а потом, когда выяснилась несостоятельность этих надежд, в тоске и унынии:

Амиэль.

Во мне эти две стихии столкнулись с особою силою, потому что возрожденская научность была не внешним придатком и не оперением, а второю натурою, и ее истинный смысл я понимал не потому, что научился от кого-то, а знал непосредственно, как свои собственные желания. Но этому пониманию противостоял не менее сильный опыт, возрожденские замыслы в **корне** их отрицающий. Вот почему именно во мне, когда возрожденство было форсировано и доведено до последнего напряжения, произошел и взрыв всех этих замыслов. Я был взращен и рос как вполне человек нового времени; и потому ощутил себя пределом и концом нового времени; последним (конечно, не хронологически) человеком нового времени и потому первым – наступающего средневековья.

Говоря это, я достаточно отдаю себе отчет в самоуверенной окраске всех этих слов. Но такое впечатление, вероятно, почти неизбежное, было бы вполне неправильно: здесь идет речь никак не о размерах, каковые вовсе мне не кажутся значительны, а о типе духовной жизни, о строении личности, которое в данном случае ново – по качеству, и эта историческая новизна может вполне совмещаться с малыми размерами личности, ее способности и дел, так что данных повышенной самооценки в этой новизне нет еще никаких. Попросту говоря, миропонимание, которое получилось из упоминаемого взрыва, через десять, двадцать, тридцать лет станет само собою разумеющимся, и к нему будут приходить вовсе не в какой-то зависимости от **моих** размышлений, а сами собою, совершенно так же, как недавно еще своим умом доходили, что «Бога нет», что «про неправду все написано, и вообще».

II. Таким образом, прежние мои занятия шли заведенным порядком, по выработанной мной у себя дисциплине мысли, хотя непосредственное чувство нужности их было подточено. Этот образ мыслей словно отщепился от меня, так что между ними и мною стала сочиться отчуждающая струя холода. Она быстро усиливалась, с каждым днем. Но это отчуждение было непосредственным чувством и не имело за собою достаточно выразимых в слове оснований. Напротив, основания оставались все прежние, и, поскольку чувство противилось им, устойчивость мысли требовала самозащиты от этого разрушительного, но безответственного чувства. И я, сознательно, противился ему, этому чувству, и старался добросовестно продолжать прежнюю линию физики.

Если прежде я не спал ночей от волнующей мысли о предстоящем назавтра опыте, то теперь, когда опыт мог быть

действительно значительным и новым и когда мой мысленный горизонт расширился, а умственные привычки сформировались, – теперь опыт стал для меня обязанностью, наложенною чувством долга, и лишь короткими вспышками возбуждал к себе нежность. Я ощутил физику и все с нею связанное как чужую на себе одежду или какую-то слезшую с меня, уже безжизненную кожу. Но я не смел сказать себе о происшедшем и старался убедить себя во временности своего самочувствия. Эта старая кожа, которую раньше я все мысленно приспособлял к себе и переиначивал по-своему, а теперь уже оценил ее в ее настоящей мертвенности, все-таки оставалась на мне, меня стесняла и обязывала. Если бы кто-либо выразил враждебность к ней, я стал бы ее отстаивать и защищать; однако это было бы не из-за упрямства, а по ясному сознанию, что никакой другой словесной одежды нет, и что, откажись я от этой, то должен буду остаться вообще без мысли. Во мне не сложились еще другие орудия мысли, а то, что давала философия, казалось неприложимым к действительному опыту.

Таким образом, ничего не оставалось, как только усилить свое рвение в прежнем смысле. Раньше я был в своих занятиях наивно бескорыстен и всецело уходил в них, не думая о себе и не равняясь ни с кем из окружающих. Конечно, я сознавал некоторое свое превосходство в области физики и т. п., но относился к нему как к чему-то внешнему, а потому был спокоен и в своей силе, и в своей слабости. Теперь, напротив, утратилась объективность мысли, занятой лишь своим предметом. Раз появилось сознание долга, то тем самым получила вес субъективная сторона дела. Мною стало сознаваться, что **мне** должно изучать и размышлять, а потому стало важным и то, что я это делаю или, наоборот, не делаю. Отсюда необходимо шло и сравнение себя с другими, со всею вытекающею отсюда неравностью таких оценок, в зависимости от меры сравнения и наличного моего состояния в данную минуту. То мне казалось, что я как будто что-то делаю, чего-то достигаю и на что-то способен, то наоборот; прежняя спокойная уверенность в себе словно расщепилась на борющиеся с переменным успехом самоуверенность и уныние. Я ставил себе непомерные требования и огромные задачи; передо мною мерцали фосфорические светы решений, как мне казалось, огромных по своей ценности, и я начинал представляться себе самому чем-то. Но тут же выяснялось отсутствие потребной для всего этого техники; фосфорический свет не находил себе среды оплотниться, и мною овладевало гнетущее бессилие и чувство опозоренности за невыполненный долг. До сих пор я в жизни плыл в челноке по спокойному морю, а теперь понесся вскачь по камням и рытвинам.

Было бы неправильно думать, что волновался я о внешней оценке, со стороны. Дело шло в моем самосознании о чем-то гораздо более жгучем, о выполненном или невыполненном смысле жизни, и высокая оценка кого бы то ни было меня не утешила бы и не успокоила. Была слишком развита привычка к самостоятельной мысли и самостоятельной оценке ее, чтобы я сам не понимал, что я не то, чем считаю должным быть. Но если бы я и на самом деле сделал что-нибудь значительное, мое самочувствие поднялось бы на несколько минут, чтобы затем еще глубже провалиться в недовольство собою. Безмерное и стоящее за пределами сил и человека, и человечества стояло предо мною как долг и угрожало за невыполнение его; притом же не в будущем, тем более – неопределенно далеком будущем, а вот сейчас, сию минуту. И неосуществленность этой задачи вот сейчас казалась каким-то бесповоротным осуждением. Во мне утратилось сознание просто человека и просто человеческой меры. Ясное дело, одобрение **кого-то** и за **что-то** ничего не могло отнять от мрачности такой самооценки и смягчить мои скачки.

И чем менее важными и ценными ощущались мною мои занятия в глубине души, тем напряженнее цеплялось за них сознание и тем тревожнее было самочувствие.

На самом деле мною овладевала внутренняя тревога и тоска гораздо более существенные, чем это выводило в моем тогдашнем истолковании их. Я упрощал дело и цеплялся за свое упрощение, потому что втайне чувствовал разрушительность подымающихся во мне духовных состояний не только для моего сложившегося уклада мыслей, но и для мировоззрения целого культурного цикла. А вместе с тем я не смел сказать себе и не имел нужных слов о возможности другого мировоззрения, тоже разумного, тоже выразимого в слове. И я отбивался от воскресающих духов средневековья, как от смерти, хотя духи эти были самым заветным и нежным моим внутренним словом, а то, что отбивался я от них, сидело на мне чуждой и стесняющей кожей враждебного мне начала.

Но, несмотря на мои усилия, я вынужден был, наконец, сознаться в своем полном поражении.

1924.1.8. III. В начале лета я поехал с папой в Кутаис, где жил он последний год, приезжая к нам по праздникам. Там, в тиши, наедине с отцом или совсем один, я много читал и наблюдал, с интересом, который, однако, скользил по поверхности и не вынуждал меня дать тот или другой ответ. Между прочим, в Кутаисе оказался бывший мой учитель, теперь инспектор народных училищ, Владимир Егорович Воробьев. У нас не

завязалось с ним никаких близких отношений, но он снабжал меня книгами. Так я перечел за несколько лет «Мир искусства», «Русскую мысль» и т. д. Это было для меня легкое чтение, но я понимал его только умом, а более глубоко был занят другими размышлениями. В частности, я не почувствовал остроты и печатавшегося тогда исследования Мережковского[5] о Толстом и Достоевском, в противоложность до боли настороженному вниманию к тому же исследованию год спустя. В местной городской библиотеке нашлись кое-какие книги по физике и по спиритизму. Привычка заставила меня усваивать и те, и другие; но от первых я уже стал внутренне отставать, а у вторых духовная тональность была чужда мне, хотя я и не отрицал подлинности самых явлений. Более привлекательной мне показалась книга, с тех пор мною так и не виденная, Делльоуена, в которой приводятся длинные повествования о некоторых таинственных случаях – о двойничестве в остзейской гувернантке Эмилии Саже, об спинетте, принадлежавшем возлюбленной Генриха IV, и др.; автор довольно бесхитростно рассказывает, как, шаг за шагом, он пришел к вере в спиритизм.

Со мною поехал в Кутаис также брат мой Шура, которому было тогда 11 лет. Он был поручен именно мне, так как папа часто отсутствовал. Иногда на мне лежали также обязанности по хозяйству – различные распоряжения, заказ обеда, выдача денег прислуге и т. д. Меня очень стесняли преимущества власти, но нести их было необходимо. В скором же после приезда времени устроилась экскурсия по Раче, продолжавшаяся с 9-го по 16-е июля. Часть дороги сопровождал меня с братом давний наш приятель, служивший у папы, плотник Амиран, а остальную дорогу должны были проделать мы одни.

Сначала ехали по Тквибульской узкоколейной железной дороге, мимо Моцаметского и затем Гелатского монастырей. В моих записях того времени отмечены преимущественно геологические и физико-географические впечатления, и в эту же сторону направлялось неизменное при путешествии фотографирование: холодея к физике, я возвращался к детству, в обратном порядке проходя детские увлечения, и геология давала основания обратиться к природе под предлогом научности, конечно, сомнительной, как и вообще геология. За окнами вагона виднелись голубовато-серые известняки, иногда прикрытые охряною глиною. Слои здесь исковерканы, смяты, часто попадаются складки. Местами виднеются выходы изверженной породы сиенита. Около половины одиннадцатого приехали в Тквибули, главному на Кавказе месторождению каменного угля, и остановились в духане. В ожидании обеда я записал размышления

о пантеизме, в котором несколькими теоремами раскрывались спинозовские выводы, я играл ими, внутренне им враждебный, но все еще не имел силы сказать себе об этой вражде. После обеда мальчик-проводник повел нас к каменноугольным копям. Пешком пришлось идти около пяти верст. Дорога прорезывает сперва сланцы, затем юрские песчаники; в них-то и залегает пласт бурого угля. Рельсы доходят до брикетного завода, тогда не действовавшего, как заброшены были и копи, а оттуда, вверх к шахте, идет канатная дорога для перевозки угля. Мы поднялись к шахте и, захватив предохранительные лампочки Дэви, – имя, с детства волновавшее меня по близости к Фарадею, – вошли в шахту. С потолков там капает вода, обволакивающая белой корой известковых осадков потолок и стены тахты; многочисленные сталактиты висят здесь, но, пустые внутри, они очень хрупки и ломаются в руках. Внизу непролазная грязь, которая заставила нас скоро остановиться. Тут чувствуешь себя погребенным. «Я бы, скорее, согласился изнывать с голоду, но не работал бы здесь», – высказался с своей стороны Амиран. С чувством освобождения вышли мы из шахты и стали спускаться, занявшись черникой и ежевикой, которыми порос весь склон. Вершина же Пакеральского хребта с елями, торчащими, как щетина, и похожая на кабаний, заволоклась туманом. На другой день, 10-го, мы выехали верхом и по чрезвычайно крутым сокращенным дорожкам в три часа поднялись на хребет. Порою приходилось слезать с лошади и тащить ее за узду. Я зарисовал порядок напластований. После перевала характер местности резко меняется. Воздух насыщен влагою. Среди темных елей виднеются бесчисленные папоротники, похожие на большие кусты, а сквозь рододендровые поросли, по густоте их, продраться нет никакой возможности. Не замечая времени, подъехали мы к горному круглому озерку Харис-Твали, расстилающемуся, как небесное видение. Оно невелико, всего около пяти сажен в поперечнике, но глубоко: по промерам цесаревича Георгия Алекс[андровича], глубина оказалась равною 35 саженям или даже – 60-ти, как говорят другие. Озеро наполняется подземным источником; вода тут ледяная и приятна на вкус. Она тут чудесного голубого цвета, но не небесно-лазурного, переходящего на горах в фиолетовый, а зеленовато-голубого, с опалесценцией, и напоминает аквамарин. Не из ледника ли выходит питающий его ключ? Особенно красив этот естественный колодезь, когда воздушное дыхание подергивает его сверкающей рябью. Название его значит по-грузински то же, что и греческий эпитет Геры βωσμις[22]: глаз быка. Оно объясняется, вероятно, присутствием тут же, рядом другого подобного озерка, еще меньшего, но не изумляющего, впрочем,

ни глубиной, ни цветом. Таинственная синева бездонного колодца есть, конечно, следствие мельчайшей мути. Но откуда берутся эти мелкие частицы, подобные глетчерному размолу? Равным образом, как попадают сюда водящиеся здесь форели, которых мы ели за завтраком в соседнем духане? И тут напрашивается мысль о подземной реке.

Такая мысль взволновала бы меня в детстве до сильного сердцебиения, и я бы все забыл, лишь бы только увидеть своими глазами подземные реки, о которых я слышал от папы. Теперь я попал в область карстовых явлений, где на небольшом пространстве объединен ряд типичных и ярких примеров. Но я, воздавая им должное внимание, зарисовывая, и фотографируя, и по дисциплине мысли всматриваясь в этот естественный геологический музей, уже не волновался от него всем существом, хотя и сам ясно не знал, что же именно внутренне отвлекает меня.

От Харис-Твали местность делается безлесною, и довольно высокое известковое плоскогорие украшено лишь скупо растущим кустарником. Отъехав от перевала около семи верст, мы остановились у провала реки Шаоры. Эта порядочная по размерам речка стекает с Накеральского хребта и в месте, где мы остановились, вся целиком исчезает под землю в несколько известняковых трещин. Над главным отверстием поставлена мельница, а меньшая часть воды проходит сквозь плотину и исчезает намного подалее. В белых плотных известняках этого места нашлось много окаменелостей – раковины и кораллы, похожие на древесные сучья; однако выбить хорошие экземпляры не удалось.

Идем дальше. Вся поверхность изрыта провалами различных величин. Они имеют вид воронок и во время весенних разливов, когда Шаора разливается бурно и полноводно, служат подземными стоками ее воды. Такие провалы образуются ежегодно и притом, по-видимому, внезапно: очевидно, вся местность изъедена внутренними трещинами и разливами. Один из провалов, образовавшийся, по словам Амирана, в этом году и потому еще не засоренный, я рассмотрел и даже опускался в него. Это – воронка в известняке, обладающем плитообразной отдельностью. Основание воронки продолговатое и по наибольшему направлению имеет около трех саженей; глубина же воронки, насколько можно проследить, – около двух саженей. Дно провала видно, а от него расходятся в разные стороны ходы, спускающие воду. Во время осмотра этот провал был вполне сух, как и другие. В поселке Никор-Цминда имеются еще любопытные карстовые явления, которые были осмотрены, зарисованы и

сфотографированы. Пещера, называемая Ледяною, о которой я слышал от отца, представляет собою обширное подземное помещение со щелеобразным входом у поверхности земли, после которого идет крутой спуск. Форму пещеры, пожалуй, можно определить как тетраэдр, с основанием вверх. Внизу, у задней стенки, имеются два или более боковых входа, ходить по которым я не решился за неимением фонарей. Стены пещеры мокры и покрыты склизким осадком, может быть, аморфным глиноземом. Наружному воздуху и свету доступ в пещеру очень затруднителен, там царит полутьма и холод, больше, нежели обычно в пещерах, несмотря на сильные июльские жары снаружи. Еще недавно, как рассказывал мне отец, в ней круглый год держался зимний снег и лед, так что стоявшие неподалеку войска целое лето пользовались снегом. Но, вероятно, это они начисто истребили его, и при нашем посещении пещера не оправдала своего названия. Но она чрезвычайно интересна, как показывающая выход подземных рек: нет сомнения, эта пещера представляет иссякший выход какого-нибудь притока Шаоры. Неподалеку же от нее находится выход и самой Шаоры, а также небольшого притока ее.

Выход Шаоры и живописнее, и интереснее ее провала, расположен же от последнего, сколько помнится, в четырех верстах. Река выходит из огромного грота с нависшею скалою белого известняка и при выходе образует озеро изумительного глубоко-зеленого цвета; словно изумруд налит глубоким слоем, и изумруд этот светится по всей своей глубине, давая впечатление флюоресценции, но распространенной по всему объему. По окраске озеро это очень похоже на Харис-Твали, но несколько зеленее: очевидно, расположенный ниже того выход Шаоры содержит и тиндалевскую муть меньшей тонкости. Вода здесь чрезвычайно холодна, и в ней водятся многочисленные форели. Чистое и окруженное скалами, защищающими его от ветра, озеро отражает все окружающее, как прекрасно отшлифованное зеркало, а солнечные лучи, ударяясь о зеркальную поверхность, освещают полутемный каменный свод. Это отражение дает волшебную игру света, когда форель возмутит своими кругами изумрудную гладь воды. Так же получалось, когда Шура бросал в воду камень. Густота зеленой окраски так насыщенна, что и отраженное освещение на стене известкового грота – зелено. Даже тени отражаются в этом зеркале. Священная тишина охватывает в этом замкнутом пространстве, и как-то боязно сказать громкое слово. Но озеро это жутко и в прямом смысле: мелкая по выходе из него, вода Шаоры в самом озере имеет глубину, пока не бывшую доступной промеру; вероятнее всего,

Шаора напоминает огромную пещеру, вроде той, что видели мы рядом. Но стоит только отойти несколько саженей от этой изумрудной глубины, грозящей немедленной гибелью осквернителю своей чистоты, как облик пейзажа резко меняется. Мелководная Шаора журчит серебром по крутому каменистому уклону, далее поставлена небольшая мельница, мирные деревца виднеются на берегах, идиллически мирные над хрустальною холодною водою с играющими на солнце форелями.

Неподалеку имеется другой подобный же грот, из-под которого течет ручеек с замечательно холодною водою. Он тут же впадает в Шаору.

В Никор-Цминда мы переночевали. На другой день, 11 июля, я встал утром в пятом часу. Море тумана заливало долины, но скоро рассеялось. Здешний древний собор осматривал я вчера и зарисовал там одну надпись. В без четверти шесть мы вышли; дорога оказалась мало интересной. Голые холмистые горы, нигде нет тени. Идем по течению речек, а после местечка Амбрелаури, где имеется древняя сторожевая башня, – Рионом; Амбрелаури недалеко от Абастумана. Около Цесси Рион протекает сквозь узкий прорыв в пластах известняка, стоящих на головах. Это красивое место называется Хидекари, то есть по-грузински – **ворота.** Над бурлящим Рионом проложен деревянный мост, а по обеим сторонам его, в скалах, – крепости. Это – ворота к завоеванию Кавказа, и в них происходило немало сражений. Если не ошибаюсь, именно к этим скалам был, по преданию, доныне живому у туземцев, прикован Прометей. В этих местах, даже и не вдумываясь в окружающее, чувствуешь себя прикасающимся к нервным центрам истории, и природы, и богов, и людей. Пройдя мост, мы вышли на Военно-Осетинскую дорогу и приблизились к станции Цесси, а оттуда поехали в обратном направлении, но уже по правому берегу Риона – вниз по течению. После трудного и крутого подъема по жаре мы добрались до селения, где находился дом Амирана. Тут нас ждал радушный и почетный, даже до полной неловкости, прием. Семейство Амирана состоит из отца его, 82-х летнего старика, матери, брата, его жены и самого Амирана и детей. По всему видно, что они дружны и мирны, а старики полны свежести и бодрости. В жизненном укладе чувствуется древняя, может быть, уже полузабытая культурность. На Кавказе вообще обращает внимание выдержка и вежливость даже самых простых людей. Так, несмотря на любопытство, они никогда не позволят себе расспрашивать об обстоятельствах и даже об имени того, с кем встретились или кого принимают у себя в доме.

Оставив Шуру в доме Амирана, на другой день, 12-го, с

Амираном и двумя проводниками, я начал подъем в Сванетию. Это трудная дорога, и я много раз думал, как хорошо, что я не взял с собою Шуры. Впрочем, и он об этом не тужил, занявшись в саду Амирана сливами и грушами.

Мы шли пешком, но имели лошадь под вьюком, нагруженную, между прочим, бурдюками белого вина. Этими сборами распоряжался Амиран, и в дороге я убедился, что он все захватил кстати. Мы поднимаемся очень красивой и столь же крутой дорожкой вверх по течению речки Рицеули. Впрочем, правильнее назвать ее не речкой, а сплошным водопадом. Изобилие воды: ручейки, речки, источники. Пышная растительность: огромные ели и другие деревья, папоротники выше моего роста, целые леса хвощей, которые смело можно было бы снять и выдать за картину каменноугольной растительности. По дороге попалась какая-то порода с черными кристаллами, по-видимому – граната. Мы все поднимаемся [I нрзб.], преодолевая стремительное низвержение Рицеули, и с подъемом растительность заметно изменяется. По некоторым фантастическим предположениям, тяжесть происходит от непрестанно устремляющегося на землю эфирного тока. Двигаясь по плоскости или производя кратковременные подъемы, мы не чувствуем обычно тяжести; но при длительном крутом восхождении готов поверить в этот эфирный ток, словно смывающий тебя со склона, и, поднимаясь, чувствуешь себя, как в быстрой реке, течение которое приходится преодолевать непрестанным усилием. Но в этом длительном подъеме, несмотря на его трудность, есть что-то освобождающее. С таким именно чувством, в девятом часу вечера, подошел я к слиянию Рицеули с речкою Жринави, где была назначена ночная стоянка. Тут, в ущелье, среди векового елового леса, был разведен костер, и мы поужинали. Едва ли кто-либо ночевал еще здесь. Над шумящей рекою носятся светлячки, а звук водопадов сливается с всенощными потрескиваниями костра. Ночью здесь холодно, а, кроме того, без костра и опасно из-за диких зверей. Этот лес ночью пугает колыханиями длинных белых бород испанского мха, свисающих на несколько саженей с мачтовых деревьев. А к этим страхам присоединялись еще неприятные неожиданности в виде вскакивающих неожиданно на лицо кузнечиков и каких-то крупных насекомых. Эту ночь, оставившую сильное впечатление, я только продремал, дрожа от холода и ежеминутно вскакивая от испуга.

На другой день, 13-го июля, мы двинулись в путь в без четверти пять. Мы шли дремучим лесом, и, вероятно, немного бывало людей, посетивших эти места. Сперва – крутой подъем,

затем – медленный. Хвойные деревья все более преобладают, и под конец остаются лишь пихта и ель. Далее – альпийские луга и снова весьма крутой подъем. Мы восходили среди скал, обросших кое-где мхами и лишаями. Лишь изредка попадается трава. Мы дошли до линии вечных снегов. В ложбинах белеет крупнокристаллический фирновый лед, и часто приходится идти по снегу, хрустящему под ногами, как мелкий гравий. Встретился источник, который называют кислым, хотя кислота на вкус еле заметна, а лакмусовой и куркумовой бумажками вовсе не свидетельствуется.

Восхождение делается весьма трудным. Мы подвигаемся с усилием, ежеминутно останавливаясь. Сопровождающие меня смешивают в стаканчике фирновый лед с белым вином, и обжигающий холодом глоток этой смеси дает силу еще бороться с притяжением земли, которая здесь ощущается уже не как что-то само собою разумеющееся, а как особая сила, по Ньютону. Живущие внизу в тяжести своего тела видят собственное его свойство, от него неотделимое; а здесь, наверху, сознаешь с полной убедительностью, что тяжесть причиняется внешнею силою, и она кажется тогда живою, с которою требуется сознательная борьба. С нею борешься так, как отбивают наступающего врага. Но, несмотря на сознательность усилия, горная болезнь делает свое дело: апатия к восхождению; слабость – я едва подымаю ногу. Дыхание учащено, колени подгибаются, и все состояние близко к дурноте. У меня есть привычка к горным восхождениям, но так высота никогда не давала еще знать. Наконец, в четверть второго, мы поднялись на горный перевал Утини. Это – граница Рачи и Сванетии. С нее можно обозреть вид страны сванов, доступ куда только три месяца в году. Перед нами стоят сванетские горы Ганга – голый скалистый хребет с рядом пиков, во многих местах покрытый сверкающим снегом. Под ногами у нас шифер и кристаллические сланцы. Одна плита шифера поставлена вертикально и укреплена в стоячем положении. Она слывет здесь священной, и никто не смеет опрокинуть ее. На этой плите имеется система концентрических эллипсов с подходящими к ней дугами другой такой же системы. Эллипсы выступают барельефными линиями. Подобного рода изображения встречаются на древнейших памятниках доисторического Египта и на критских древностях; но, с другой стороны, такие же барельефы иногда естественно образуются на осадочных плитняковых породах вроде песчаника. Поэтому ни при зарисовке этого камня, ни до сего времени я не сумел выяснить себе происхождение этих линий.

Небо – глубоко-синее, почти черное. Ощущается достигнутая

совершенная гармония. Сознание экстатически расширено, и уже нет определенной границы между мною и внешним бытием. Так обычно бывает на большой высоте: от воздуха или от чего другого тут появляется экстатическое выхождение за пределы себя, приобщение к Великому Разуму и потому – овладение вселенской полнотою. Пронизывает струящаяся здесь неземная радость. Все мелкое, тревожное, суетливое осталось бесконечно далеко, оно уже не твое, а какой-то выметенный сор. Тут уже нет беспокойной памяти о завтрашнем дне, и все тамошние низинные недоразумения вполне исчезли за своим ничтожеством. Отложено всякое земное попечение, и внутрь тебя льется широкой струей синий эфир. Умереть и жить в этот момент одинаково благостно. Начинается ощущение легкости всего существа: тело утратило вес. Это ощущение можно сравнить разве только с полетом в сновидении, когда воля непосредственно движет телом. Не знаю, что показали бы весы, если бы в таком экстазе произвести взвешивание; никем не было произведено такого опыта, но я допускаю мысль и о подлинной левитации, об уменьшении веса, учитываемом и приемами физики; во всяком случае, такой исход опыта, если бы он кому понадобился, не показался бы мне удивительным. Тут, на горах, возникает астральное выхождение из себя, но не болезненное и не соответствующее условиям окружающей среды, как внизу, а законное и полнорадостное. Тут, несмотря на усталость, не ходишь, а летаешь, делаешь шаги, немыслимые там, внизу, словно уносимый каким-то потоком, предупредительно возникающим сообразно твоим намерениям. Тут над крутизною, между прочим, делаешь прыжок, о котором и подумать страшно внизу, даже когда некуда падать. Тут после утомительного всхода не хочешь присесть и на минуту, а носишься почти без определенной цели по скалам. Так я спустился несколько по противоположному склону Утини в нагорное плато Сванетии и осмотрел небольшое озерцо. Вода его чиста, но оно очень мелко: окружено обломками, глыбами и скалами песчаников.

Не знаю, сколько времени мог бы радоваться я здесь, но туман заволок всю окрестность; оставаться было далее незачем, да к тому же можно было опасаться дождя. В четыре часа пополудни мы начали свой спуск, который оказался сравнительно очень легким. Мы не спускались, а катились, тем более, что приходилось торопиться из-за тумана, все сгущавшегося и грозившего дождем. Однако выяснилось, что в этот день мы домой не поспеем, и потому в семь часов вечера мы остановились на ночлег в найденном нами шалаше из сучьев на границе альпийских лугов и хвойного леса из елей и пихт. В этом шалаше

можно было сидеть только скорчившись, но он отчасти защищал нас от полившего дождя. Провожавшие развели костер. Затем один из них исчез и через некоторое время удивил меня, принеся древесных грибов, по его объяснению, растущих на буках. Это – желтовато-серые и белые пластинчатые грибы, как я узнал впоследствии, по своей зарисовке их, […]. Провожавшие меня сказали, что это – наш ужин. Вероятно, шалашик был устроен ими же: они без труда разыскали под сухими листьями самодельную глиняную посуду, нечто вроде цветочных поддонников весьма грубого вида, похожих на утварь каменного века. На этих поддонниках они спекли грибы, круто посыпав их солью. Грибы оказались или показались вкусными. До тех пор я не подозревал, что древесные грибы съедобны. Мы продремали ночь в шалаше, а утром, при продолжающемся сильном тумане, стали спускаться. Путь был легок, и, выйдя в четверть седьмого, к полудню мы были в деревне Амирана.

На другой день, 15-го июля, в половине одиннадцатого, мы покинули гостеприимную семью. Доехав верхом в сопровождении Амирана до станции Чрепали, мы наняли перекладную и распростились с Амираном. Теперь я оказался предоставленным себе самому, вдобавок имея на своей ответственности Шуру. Мне было мучительно неловко давать на чаи ямщикам при перекладке лошадей, а особенно неловко отказываться от предлагаемых ими папирос, которые покупал я им на станциях по их просьбе. Едем Военно-Осетинской дорогой. Между станциями Чрепали и Алпани, около Саэрим, неожиданно встали пред нами великолепные известняковые отдельности, имеющие вид пирамид, столбов и башен. Трудно отрешиться от мысли, что это не великолепный город неведомого, но близкого к средневековому стиля, – скажу неопределенно. Местное предание признает эти скалы заколдованным городом.

Далее путь идет ущельем Риона, который все время делает крутые повороты. Местность живописна, но однообразна. Узкое ущелье. Всюду белые известняки, снаружи потемневшие, а в них – много включений, пропластов и желваков красного кремня. Весьма возможно, это – окаменелости; по крайней мере, один из кремней оказался белемнитом. Переночевали в Алпани, а на другой день, 16 июля, около часу дня въехали в Кутаис.

Вскоре после того папа уехал на несколько дней в Квишхеты, взяв с собою Шуру, а меня оставил в Кутаисе, где я прожил в общем около двух недель. Я много ходил за город, и один, и с отцом. Чаще всего по Военно-Осетинской дороге, по ущелью Риона направлялся мимо скал белого известняка, с их размывами и пещерами по откосу дороги, к развалинам Багратова собора.

Кусты диких гранатов с темно-зелеными глянцевитыми листьями и кораллово-красными цветами, дикая виноградная лоза, опутывающая высокие деревья, и вообще пышная растительность будили во мне воспоминания раннего детства. Я чувствовал соответствие со своей внутренней жизнью, когда забирался один, не без жуткости, в колоссальные развалины этого исключительно большого храма с обвалившимися сводами, бродил среди огромных камней, загромоздивших его внутренность, прыгал по исполинским капителям его колонн. Даже тогда, когда приходил сюда с отцом, он оставался сидеть у входа, смотря с высоты на течение Риона и не имея охоты прыгать вместе со мною по каменному хаосу. На камнях виднелись еще разные орнаменты и загадочные изображения. По углам четырехгранных капителей сидели какие-то птицы, вроде огромных филинов, а на самых гранях были иссечены загадочные композиции со звериными или полузвериными фигурами. Насколько умел, при своем неумении, я старался зарисовать в свой альбом эти письмена духовного мира, не понимая их, но волнуясь ими, как при касании к чему-то близкому. Иногда я влезал высоко, в окно абсиды бокового нефа, и смотрел оттуда на величественное строение. Прямо против меня высилась хорошо сохранившаяся противоположная абсида. Темный плющ, все собою в этой местности обрастающий, обвил обратную сторону стены и, добравшись до узкого окна, ворвался внутрь здания и буквально облил собою всю вогнутую сторону стены. Как-то раз, балансируя на коньке крыши и рискуя слететь со стены, я сфотографировал это плющевое покрытие. В этих развалинах ничто не напоминало мне о мировоззрении, с которым я внутренне боролся; напротив, от этих развалившихся стен исходили духовные веяния иной культуры, к которой, сам того на зная, я стремился всею душою. Эти камни жили и продолжали жить, я не мог не чувствовать духовные силы, витающие тут и говорящие сами за себя, но против физики, гораздо больше, чем сколько можно сказать философскими и богословскими рассуждениями. Мое естественно-научное воспитание послужило здесь, как служило и много раз после, службу **против** научной мысли, которую она должна была обслуживать: она заставляла считаться с непосредственно воспринимаемыми фактами более, нежели с отвлеченными понятиями. Таким фактом предо мною стояла несомненная, хотя и невместимая физикой, духовная жизнь этих развалин, гармонически объединенная с жизнью природы. К тому же я был наедине с отцом, и это вело к отношениям, похожим на детские, и к пробуждению детского восприятия мира.

Как-то мы поехали в древний монастырь, он же и крепость –

древний Гелатский монастырь, хранилище Хахульской Божьей Матери. Это – яркий уголок грузинского средневековья, возбуждающий чувство иной культуры, даже и при отсутствии понятий, направляющих внимание в эту сторону. Мое существо было слишком занято внутренним борением, а мое сознание – физическими понятиями, чтобы я был способен тогда по-настоящему рассмотреть этот памятник. Не рассмотрел я достаточно и славной иконы Хахульской Богоматери, с ее поражающими археологов финифтями по золоту и камнями. С детства имевший привычку и вкус к археологии и искусству, я, конечно, был заинтересован всем виденным; но только тончайшие испарения жизни этой древности действительно чувствовались мною, остальное же быстро забывалось. Ездили мы с папой и более далеко, когда того требовала его служба. Так, однажды папа неожиданно предложил мне поехать с ним в Батум. В десять минут собрались и поехали. Это было 21-го июля. Вот доносится шум отдаленного прибоя, от которого в сладостном волнении сжимается что-то под ложечкой. Батум показался мне еще меньше, чем я представлял себе его, но даже милее, нежели казался он мне в годы моего ухода в физику. Город был жалким и стал даже более жалким, нежели в прежнее время, но весь родной и связанный с душою каждой улицей и каждым домиком. Насколько Тифлис всегда оставался мне чужд и я враждебно выталкивался из него и выталкивал его из себя, настолько же в Батум я въезжаю, как в свое тело, и заранее готовлю ему нежную встречу. Ходил здесь по городу, сидел на бульваре, купался в море. Были мы с папой также в инженерном доме, даже несколько раз, где когда-то жили Новомейские. По-прежнему стоял этот двухэтажный дом, притаившись под защитою батареи возле угла бульвара, с тем же прежним широким балконом, с которого батумское высшее общество когда-то смотрело на государя Александра III, когда он всходил на батарею. Помнится, как тогда, за долгим ожиданием, я оголодал, и необыкновенно вкусным показался ломтик французской булки со швейцарским сыром. Этот дом был для меня в свое время волшебным приютом муз и граций. Там жила Мария Сергеевна Новомейская, бывшая в моих глазах очаровательным существом, почти что соперницей колибри. Миниатюрная, с голубыми глазами и белокурая, она любила одеваться и нравиться и умела быть одетой изысканно и еще более очаровывать любезностью, отполированной в польской среде, где она вращалась с детства. Ко мне она была расположена, так что держала в состоянии постоянного восхищения. И все кругом нее казалось сказочно очаровательным и великолепным. Стеклянную горку с фарфором и безделушками

рассматривал я, как сокровищницу, человеку почти недоступную, хотя мне не было неизвестно, что некоторые вещи, в том числе и ваза с пальмовым стволом и листьями, пленявшая мое воображение, были подарены нами. Но общая атмосфера очарования около Марии Сергеевны была так велика в моих глазах, что, если бы попал к ней и простой булыжник, он показался бы исполненным изящества и значительности. Особенно же привлекала меня ее нервность – свидетельство неземной утонченности, приближавшая ее почти что к принцессам и феям. Всегда с удовлетворением вслушивался я в разговоры старших о том, что Марии Сергеевне опять стало дурно при том или другом неприятном впечатлении. Наиболее же удовольствия доставил мне случай, когда Мария Сергеевна, купая маленькую дочь Еву, уколола ее золотой брошкой, отчего та лишилась чувств. Тогда Мария Сергеевна, при виде капли крови, тоже «упала в обморок», как с восторгом сообщал я направо и налево, и, наконец, завершил полноту изысканных чувств маленький сын Феликс, вышеупомянутым же способом. Кажется, что муж ее Северин Феликсович застал всю свою семью лежащей без чувств. В нашем доме такого рода изящество считалось предосудительным; у нас тон был более строгий, отчасти в английском духе. У Новомейских же, вероятно, через посредство Польши, пробивались струйки дореволюционной Франции, и во взаимных отношениях и укладе жизни было нечто от стиля Louis XVI[23]. У нас была сериозность и культ правдивости, дом же Новомейских стремился к изящной постановочности и легкой игре в жизнь, причем истинные чувства скрывались за любезностью и блеском. Мое влечение двоилось между тем и другим. Вот почему дом Новомейских пленял меня и казался несоизмеримым с тем, что видел я у себя; мне нравилась его иррациональность, он мне казался беспредельно большим и полным значительности и изящества, причем все известное мне и виденное мною представлялось небольшим отрывком огромного невидимого целого, а все изящности, мне доступные, – только малым, например, из того, что еще содержится в нем. Этот дом, и в особенности Мария Сергеевна, сделался центром кристаллизации и точкою приложения всех моих стремлений к изяществу. С замиранием сердца входил я туда, с тайным восхищением встречался каждый раз с Марией Сергеевной и потом провожал ее долгим взглядом, смотря на ее туго обтянутую лайковой перчаткой руку с изысканными и как-то по-необыкновенному сложенными пальцами.

В этот-то дом, на углу бульвара и возле батареи, прошел я теперь, спустя более десяти лет после былого очарования; папа –

по какому-то делу и, если не ошибаюсь, некоторым начальником, а я отчасти по его указанию (меня хотел видеть инженер, живший в нем, наш старый знакомый, фамилии которого я никак не могу вспомнить), отчасти и по своей воле: мне хотелось возобновить впечатления детства. Там нас ждал радушный прием, а меня, кроме того, – и глубокое разочарование. Вместо бесконечных анфилад огромных зал, украшенных со всею возможною роскошью, я попал в самую обыкновенную, приличную, но небольшую квартиру с самой обыкновенной обстановкой. Батарея, представлявшаяся мне горным хребтом, оказалась невысокою земляною насыпью. Ничего ни сказочно-изящного, ни сказочно-таинственного. Как бывает в снах, этот дом представлялся мне рембрандтовской картиной, где освещенные плоскости переднего плана кажутся выступающими из бесконечной, неисследимо таинственной тени, скрывающей в себе бесчисленные тайны. Но случилось то же, что случается при дальнейшем ознакомлении с Рембрандтами: зовущая тень оказывается обманом, покиванием на тайну и, при попытке углубиться в нее, вместо бесконечности мы тут же, через аршин или два, наталкиваемся на забор или стену. Так и таинственные многоточия, которыми обрывалась доступная мне часть дома, сказались рембрандтовскими тенями, содержащими не более коридоров и людской. Мне было неприятно видеть это прибежище поэзии опустелым и облезшим. Я постарался уйти из него поскорее, несмотря на приглашение радушного хозяина, и не пошел уже туда вторично.

А все-таки, находясь там и после, я думал и продолжаю думать, что настоящею правдою было мое первое, детское впечатление, по моей большей тогдашней способности прикасаться к живой поэзии и по присутствию в этих стенах оживлявшей их души дома – Марии Сергеевны. Я уверен, атмосфера этого дома была в самом деле тогда иною, нежели теперь. И чувство огромности и неведомости всего помещения, думается, было верною душевною окраскою какой-то внутренней значительности атмосферы дома и несоизмеримости ее с моим пониманием. Не так ли рембрандтовская тень, скрывающая в себе несколько аршин глубины и стену, ничуть не непонятную, все-таки есть и остается таинственною и, изобличенная, тем не менее продолжает быть непроницаемою анализом. Не так ли небольшая, насквозь нам известная комната при полной темноте получает таинственную бездонность, и чувство этой бесконечности не рассеет тогда ни припоминание виденного нами в ней при свете, ни осязание стен и находящихся предметов?

// Как и прежде, я не отрицал тайны внешнего мира, но

теперь, с надвигающимся кризисом, уже мало чувствовал ее непосредственно: внутренняя боль перенесла почти все внимание к другой тайне, или, точнее, тайне в другом виде, еще не родившейся, но уже дававшей знать о себе.

Словно прощаясь, осматривал я Батум, да и в самом деле это посещение вышло прощальным, потому что два-три другие раза, когда я бывал еще здесь, мне было не до прошлого, и Батум не доходил до моего сознания.

Но действительно прощально сходил я с папой в любимое Аджарис-Цхали и после того уже не бывал там. Да и не буду, по крайней мере, в том, моем Аджарнс-Цхали: судя по известиям, реки там запружены и на них поставлены электрические станции, снабжающие энергией Батум.

В этот последний приезд Аджарис-Цхали оказалось уже изменившимся. Возле моста через Чорох расположился поселок; сторожка заросла орехами, когда-то посаженными нами в виде жалких тростинок. Большой сад, насаженный когда-то папой, частию разросся и одичал, слившись с окружающей растительностью, частью же – погиб. Там были неизвестные мне люди, и только Ахмет, сильно постаревший, узнал отца и приветствовал его с радостью, на меня же удивился, запомнив меня таким, какого он переносил на руках через воду. Аджарис-Цхали потускнело, отчасти захватанное людьми, отчасти же вследствие изменения моего взора.

Вернувшись в Кутаис, я хотел было ехать к маме, но папа уговорил меня остаться и поехать с ним в Поти. Бедный папа скучал один, но не решался просто высказать свое желание и от избытка деликатности только давал его почувствовать.

Так попал я в первый раз в своей жизни в Поти, снова проделав по дороге все то, что мне так нравилось в раннем детстве: на станции Самтреди, название которой в детстве казалось мне чем-то французским – Santredit, были куплены неизменные вареные раки, на станции Рион – грозди винограда изабелла, связанные в длинные гирлянды, и еще где-то – тоже неизменные на этой станции низанные на нитку каштаны, отваренные в соленой воде. Приехав в Поти, мы были встречены жандармом, отряженным на этот предмет городским головою. Папа, не терпевший знаков почета, весь вспыхнул и объявил жандарму, что он не нуждается в проводах в кутузку. Жандарм стал смущенно объяснять, что ему приказано проводить отца в гостиницу, но что, если он не нужен, он может уйти. Папа отвалил ему какой-то неожиданно большой, ошеломивший жандарма «на чай» и избавился от его услуг.

Мы поехали в гостиницу. Это было в середине лета. Несмотря

на вечернюю пору, потийский воздух напоминал парное отделение бани.

Жалкие улицы были пустынны, но зато из многочисленных, вечно стоящих тут луж раздавались концерты лягушек. На другой день папа принимал каких-то почетных посетителей, а я ушел в ботанический сад; больше тут, впрочем, и нечего осматривать. Самое замечательное, что увидел я, – это огромные магнолии, в несколькоэтажные дома; блестящие крупные листья и еще более крупные цветы архаически простого сложения, вообще весь стиль дерева, изысканно простого, будят чувства полузабытых первобытных времен и открытой тайны природы. Эти белые цветы держались на ветвях, как курильницы, и дерево представляется священным, но из культа какой-то иной, более древней расы. С детства мне особенно нравились в нем стебли, светлокоричневые и шерстистые, как рога оленей, но гораздо более четкие. Усладивши свои чувства магнолиевой рощей и пожевав эвкалиптовых листьев, я вернулся в гостиницу.

Однако находиться в этом городе-болоте невыносимо. Все тело покрыто какою-то липкой влагой, словно жирно смазанное глицерином, днем и ночью; и от этой липкости не помогает умыванье, потому что полотенце в этом воздухе само так влажно, что не способно принять в себя воду с лица, и, умывшись, остаешься мокрым.

1924.1.9. Папа приехал в Поти, между прочим, для совещания о работах по проложению нового русла реки Риона в области его устья. Сейчас я не помню подробностей, каковые выгоды ожидались от этих работ; но зато отчеканенно ясно стоит перед моими глазами картина всей местности, замечательной и географически, и исторически. Нас привез вниз по течению реки Капарчи небольшой пароходик. Река эта вытекает из озера Палеостома, расположенного среди торфяных болот черноморского берега. Название этого озера указывает на него, как на древнее устье το παλαιου στομα какой-то реки, очевидно, Риона, древнего Фазиса. По карте нетрудно видеть, что именно сюда первоначально направлялось русло реки, но мало-помалу выход из него в море был занесен песками, а русло переместилось по торфяным низинам несколько к северу. Река Капарча, достаточно многоводная, чтобы допустить движение небольшого парохода, течет совершенно изумительно: сперва она направляется к северу, в направлении нынешнего устья Риона, но затем резко поворачивает к югу и протекает параллельно озеру и морю несколько верст, будучи отделена от того и другого параллельными друг другу узкими песчаными косами, ширина

которых – того же порядка, что и ширина самой реки. Морская коса быстро удлиняется, а вместе с тем удлиняется и русло реки. Образование этой косы понятно: при своем весьма малом падении воды Палеостома легко осаждают от морского прибоя песок и прочие примеси. Вследствие этого коса удлиняется, а тогда падение становится еще меньшим, что в свой черед ускоряет рост косы. Нетрудно убедиться, что так именно образовалась и первая внутренняя коса. И в самом деле, песок ее тождествен с песком внешней, а на глубине около полутора метра содержит раковины как раз те же, что лежат и на нынешнем морском берегу. Отсюда нетрудно и возможное предвидение, что в дальнейшем Капарча снова повернет к северу, осаждая третью параллельную косу, тогда как теперешняя внешняя станет внутренней.

В этой местности легко осаждаются не только минеральные частицы, но и замирающая жизнь народов. Кого только не перебывало здесь, у преддверия Колхиды! Египтяне-колхи, давшие самое имя местности, при Сезострисе образовали здесь свою колонию из части войска; до сих пор они сохраняют древнее название и некоторые обычаи Египта, например обрезание. Тут были затем неоднократные притоки разных греческих народов, и самое название Палеостом свидетельствует об эллинах. Затем римские походы и многочисленные остатки римских укреплений и мостов. В частности, название речки Молтаквы, впадающей у устья Капарчи, достаточно прозрачно говорит о римлянах: Молтаква есть испорченное Multa aqua – многоводная, большая вода. Далее идут остатки венецианцев, затем – турок, грузин, и, наконец, последнее наслоение – русской культуры. Находясь здесь, чувствуешь себя перелистывающим летопись, из каждой страницы подымаются свои испарения, а прошлое представляется живее, и ближе, и несравненно полновеснее настоящего. Тут принудительность и властность физического мировоззрения и вообще всей новой культуры сама собою бледнеет, а встает и наливается жизнью иная культура и иная, общечеловеческая реальность.

30-го июля, рано утром, мы с отцом уехали из Поти в Кутаис. Вечером от 8-ми до 11-ти сидели с папой на балконе, разговаривая. Проносилось по небу множество метеоров. Они исходили из северной стороны небосвода и при своем длинном пролете, иногда более половины неба, оставляли светящиеся следы. Зрелище было удивительное. Особенно ярок был один метеор, значительно превосходивший по яркости все светила, даже Юпитера. Метеоры пролетали так долго и движение их казалось до того медленным, что сначала я принимал их за ночных белых птиц, порхающих за деревьями и освещаемых

каким-нибудь фонарем. Это мое замечание вызвало рассказ папы о предании какого-то кавказского народа, говорящем о существовании светящихся птиц. Папа говорил, что какой-то естественник поверил этому преданию и убедился в его истинности.

На другой день, 31-го июля, выехали мы с папой в селение Квишхеты, где находились мама, Ремсо тетя и все дети. Приехали под вечер; обычная острая радость после разлуки.

1925.VIII.23. Теперь предстоит рассказ об одном из важнейших изломов моей внутренней жизни. Это время с исключительною выпуклостью представляется мне и по сей день, словно оттиск тех внутренних событий был обожжен и сделался навеки неизменяемым. Удовольствие бесследно исчезает из памяти; радости памятуются, но как бледные, бескровные тени; только глубокие страдания по-настоящему формуют нашу личность и оставляют на ней существенные изменения, всегда впоследствии ощущаемые как неизменное «теперь». И таковыми, по преимуществу, бывают страдания внутренние.

Итак, мне слишком памятен весь описываемый перелом и обстоятельства, его сопровождавшие. Однако, заглядывая в подробные дневники того времени, я нахожу там множество тщательно записанных мелочей, преимущественно естественно-научных наблюдений, сведения о прочитанных книгах, заметки о товарищах и знакомых, наконец, многочисленные записи чувств, тогда волновавших меня и мучивших, но все это – как поверхность жизни, в значительной мере – сор и накипь другого, более глубокого; самое же важное, истинный источник боли и то, что на самом деле было руслом внутренней жизни, в дневниках почти не упоминается, во всяком случае, не засвидетельствовано внятно для другого. Просматриваю дневники и не отрицаю фактичности там изложенного; но удивляюсь, насколько несоответственно расставлены здесь акценты важности, как невдумчиво выдвинуты и распределены душевные массы. Знаю, что дневник точен, как протокол. Но в нем не узнаю целостного образа событий. Это – как фотографический снимок отдаленных гор; он был снят ради гор, и только ради них, и, однако, вся поверхность снимка занята какой-то травой, грязью дороги или каким-нибудь забором и невесть чем, а горы представлены еле видными серыми дугами. Так и в тогдашних дневниках я почти не нахожу подлинно важного, что определило всю дальнейшую жизнь.

Конечно, тогда я и не мог бы написать иначе, чем написал, не впадая в отвлеченные рассуждения: происходившее со мною, или,

точнее, происходившее во мне, несмотря на мучительность и силу, коренилось в полусознательной области и не имело для себя внятных слов и, следовательно, – и подходящих форм мысли. Это были удары из глубокого центра и потому, несмотря на свою силу, глухие. Лишь ряд их расшатал крепко сложенную кору сознания, и тогда новая сила вышла наружу. Задним числом я теперь вижу и понимаю то наиболее существенное из внутренних процессов, что неясно видел и чего почти не понимал тогда.

По внешнему учету, все мое время было сплошь занято, пожалуй, даже полнее, чем в прежние годы. Все было предметом интереса и наблюдения. Меня занимали соотношения цветов растительности; приводило в энтузиазм фосфоресцирующее свечение чинаровых дров, сложенных у нас во дворе на даче, и вожделенное мною с тех пор, как я себя помню; я делал наблюдения над струями течения Куры, нужные мне для моих размышлений над электрическим током; я обследовал строение гор, искал минералов и нашел толстую жилу красивой голубовато-зеленой яшмы; мерил температуру источников, наблюдал процессы выветривания; жадно всматривался каждый вечер в тона поднимающейся тени земли.

Целыми днями я лазил по горам, фотографируя, делая зарисовки, записывая свои наблюдения, а по вечерам приводил все это в порядок. Остаться без дела хотя бы на четверть часа мне претило и еще более – утомляло меня: и ранее, и по настоящий день ничего не делать мне так же утомительно, как и медленно идти, потому что большое усилие тратится на задержку движения, внутреннего или внешнего. Но все эти наблюдения природы не были научным импрессионизмом, разрозненными и пассивными толчками от случайных встреч с природой. В каком-то смысле я очень определенно **знал,** чего хочу, и направлял внимание на явления природы, внутренне очень определенные. Несмотря на разнообразие своих интересов, я не мог и не хотел заниматься чем попало, хотя бы и значительным само по себе, по моему сознанию. У меня не было отвлеченной логической схемы, объединяющей предметы моего внимания, и таковая отталкивала мой ум. Тем не менее мои интересы органически срастались в единую картину мира, и в смутном предчувствии мне виделся новый Космос, однако более организованный и более пронизанный сознанием единой таинственной жизни природы, чем Гумбольдтов. Это художественно-целостное представление о мире сопровождалось на другом плане теоретической мыслью. Во время своих хождений по горам я непрестанно думал о вопросах физики и отчасти – математики. Особенно усиленно вертелась в голове попытка дать определение температуры как величины,

причем в своих рассуждениях я отчасти пользовался одною мыслью около этого же вопроса М. Н. Городенского. Эти размышления о температуре были вызваны очень оцарапавшим меня замечанием Карпентера в его статье о науке, что физики сами не знают, что такое температура и как ее логически определить. Наряду с этими размышлениями я дорабатывал статью об электрическом токе, писал разные заметки по математике, довольно много времени посвящал письменному переводу Тита Ливия и чтению по философии, истории литературы и штудировал «Историю индуктивных наук» Уэвелля, писал письма и дневники.

И все-таки, на каком-то из более глубоких планов, я томился, как незанятый, а ниже – страдал. Прежняя спокойная и наивная по своей безоглядочности работа теперь стала сопровождаться резкими колебаниями самооценки и проходила то под знаком обширных замыслов, то в сознании невыполненное™ ничего существенного и потому недоказанности, что эти замыслы вообще будут осуществлены когда-нибудь. Эти колебания постепенно произвели две сосуществующих друг другу самооценки и соответственную раздвоенность самочувствия. Появилось почти никогда не оставлявшее меня ощущение какой-то неопределенной болезни, хотя ничего осязательного уловить я не мог, да и жаловаться на какие-либо физические симптомы не было основания. Я пытался приурочить это тяжелое самочувствие к различным внешним обстоятельствам, но сам же чувствовал, что дело не в них. И тем крепче я цеплялся за научные наблюдения, тогда единственное надежное и крепкое пристанище. Но в один день или, точнее, в один миг этого пристанища не стало.

Хорошо помню, как в жаркий полдень я укрылся в лес на склоне горы по ту сторону Куры. Это был довольно крутой склон, и можно было соскользнуть вниз к реке. Я пытался собраться с мыслями, чтобы продумать какой-то научный вопрос; но мысль была вялою и расплывалась. Вдруг из-под этого рыхлого покрова выставилась, как острие кинжала, иная мысль, совсем неожиданная и некстати: «Это – вздор. Этот вопрос – вздор, и совсем он не нужен». Тогда я спросил в удивлении и в испуге у этой, другой, чем мне привычная, **моя** мысль, как же это может быть вздором, когда оно тесно сцепляется с такими-то и такими-то вопросами, уже явно признанными. И через несколько секунд получил ответ, что и они, эти вопросы, тоже вздор и тоже ни для чего не нужны. Тогда я снова поставил вопрос о всех подобных вопросах, своею связанностью и взаимной обусловленностью образующих ткань научного мировоззрения. И опять тот же ответ,

что и все научное мировоззрение – труха и условность, не имеющая никакого отношения к истине, как жизни и основе жизни, и что все оно ничуть не нужно. Эти ответы **другой** мысли звучали все жестче, определеннее и беспощаднее. Я хорошо помню почти физическое ощущение от них, как от холодного лезвия, без усилия вонзающегося в мое душевное тело и разрезающего меня, как что-то рыхлое и не имеющее сил сопротивляться. Чем шире ставились мои вопросы, тем менее сил было у меня защищать свои ценности и тем опустошительнее выступало каждый раз это лезвие. И, наконец, последний вопрос, о всем знании. Он был подрезан, как и все предыдущие.

В какую-нибудь минуту было подрезано и обесценено все, чем жил я, по крайней мере, как это принималось в сознании. Все возражения против научной мысли, которые я когда-либо слышал или читал, вдруг перевернулись в сознании и из условных, легко отразимых при желании и искусственно придуманных придирок вдруг стали грозным укреплением **той,** новой мысли, вдруг получили силу ударить в самое сердце научного мировоззрения. В какую-нибудь минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в труху, как от подземного удара, и вдруг обнаружилось, что материал его – не ценные камни, а щепки, картон и штукатурка. Когда я встал со склона, на котором сидел, то мне нечего было взять даже из обломков всего построения научной мысли, в которое я верил и над которым или около которого сам трудился, не щадя сил. Не только опустошенный, но и с полным отвращением убежал я от этого мусора.

1925.VIII.30. В момент происшедшего обвала, когда мне казалось, что треснул и рушится небесный свод, я не узнал ничего нового для себя. Но коренным образом переворотилось направление воли. В том самом знании, которое было у меня за минуту до этого события, переставились все смысловые ударения. Если раньше всего pro научного мировоззрения я выдвигал и поддерживал надеждою на их лучшее будущее, дорисовывая своею убежденное-тью в них вялые и несуществующие линии связи, а к contra не прислушивался, тоже в надежде – на их худшее будущее, то теперь **pro** и **contra,** помимо моего желания, обменялись своими местами. Все **pro** повяли, словно побитые морозом, и вдруг потеряли силу убедительного звучания. Напротив, все **contra,** также вдруг, подняли голову и стали победоносны, хотя я вовсе не сказал им **да.** Одни из них никогда так и не получили себе этого **да,** другие получили его, но не скоро, и, однако, уж теперь я почувствовал в них хозяев положения. Произошел глубинный сдвиг **воли,** и с этого момента

смысл умственной деятельности изменил знак.

Началось разоблачение знания, сперва только научного, затем и вообще. В свое время я много читал Маха и, несмотря на несогласие в сознании, в каком-то смысле все-таки принимал его. Теперь воспринятое стало разрастаться буйно. Отрицание знания в самых корнях его доставляло мне радость, в которой удовольствие было от наибольшей степени внутреннего страдания. Я чувствовал себя разбившимся при падении в пропасть, и хотелось, по крайней мере, закрепить это свое новое место, чтобы иметь хотя бы какое-либо место.

Особенно много я читал по философии, но удовлетворяло меня лишь подрывавшее возможность знания; напротив, положительные построения оценивались догматическими, до смешного бездоказательными и лишенными твердой почвы. Не то или другое утверждение мне казалось странным, а самая возможность для автора говорить так произвольно.

«Истина недоступна» и «невозможно жить без истины» – эти два равно сильных убеждения раздирали душу и ввергали в душевную агонию. Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною. Правда, внешним образом я вел жизнь, полную труда. Своим порядком шли усиленные занятия в гимназии; по просьбе некоторых учителей я репетировал некоторых своих товарищей и давал другие уроки, муштруя своих учеников и перенагруженный сам от предельного усердия, так как все эти уроки были бесплатными. По праздничным дням занимался чтением с младшими учениками, тоже по поручению инспектора И. Е. Гамкрелидзе. Со всеми этими занятиями время было занято буквально сплошь до позднего вечера. Но за всем тем я много читал, занимался математикой, геологией, писал и даже продолжал, хотя и в меньшей мере, чем раньше, свои физические опыты. Тогда время обладало совсем иною емкостью, чем теперь: умещалось в день и то, и другое, и третье, а все-таки был простор продумать и прочувствовать более глубокую внутреннюю жизнь. И вот тут я ощущал и сознавал в себе метафизическую пустоту и происходящую отсюда смерть. Кант и Шопенгауэр со стороны своего отрицания подходили к моему тогдашнему самочувствию, но казались дешевыми и поверхностными в своих положительных построениях. Гораздо ближе было страдание Толстого, о его моральных и общественных взглядах я тогда не думал вовсе. В связи с карпентеровской и толстовской критикой научного мировоззрения я столкнулся, когда писал об этом реферат для устроенного нами совместного с Г. Н. Гехтманом научного кружка, – столкнулся с рукописной «Исповедью» Толстого и даже переписал ее, а через Толстого – с «Экклезиастом». То и другое

пришлось по мне вместе с некоторыми буддийскими писаниями. Эти книги углубляли и расширяли мой внутренний провал и дали возможность ускорить оформление того, что происходило со мною. До них я чувствовал себя одиноким в своем отношении к научному мировоззрению; в самое сомнение навеевались порою окружающими сомнения, правда, поверхностные, но тем не менее требовавшие к себе внимания. С Толстым, Соломоном и Буддою я ощущал надежность своей безнадежности, и это давало удовлетворение и какой-то род спокойствия.

// С ними томление пустоты уже явно было не психологизмом, а существенным следствием каких-то, мне неведомых, законов самого бытия. Сознание этого ввергало в безнадежность, но зато самой безнадежности было свойственно мрачное успокоение, поскольку далее падать уже было некуда. Это состояние точно изображено Толстым в «Исповеди», и потому распространяться о нем нет надобности.

Но, однако, пережитое мною по душевной тональности было отлично от описанного Толстым. В последнем преобладало **чувство,** и Толстой ощущал себя умирающим потому, что иссякли в нем источники жизни: а **жизнь** была в его сознании чем-то очень близким к органическому самочувствию, к ощущению гармонической цельности тела, взятой очень глубоко, но тем не менее по определенной линии. Может быть, это было связано у Толстого, кроме его личного склада, с его возрастом и образом жизни. Мое же умирание шло по линии, скорее, интеллектуальной. Я задыхался от неимения истины. Во всем человеческом познании не находилось ни одной надежной точки, а истина и смысл жизни были для меня понятны и тождественны.

Постепенно, однако, отчасти с помощью Толстого, мне стало делаться ясным, что истина, если она есть, не может быть внешнею по отношению ко мне и что она есть источник жизни. Самая жизнь есть истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во **мне,** хотя я могу к ней прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену, затем все более внятно стал ощущать я какое-то веяние из этой глубины. Но эти живительные веяния, несомненные и подлинные более, чем что-либо другое, были, однако, в моем сознании вполне нерасчлененными, вполне лишенными какой бы то ни было словесно логической формы. Я ощущал их живительность и сознавал как единственно подлинно реальное; но я ничего не мог бы сказать об этом реальном, кроме того, что оно есть; я не имел слова назвать его и соотнести с тем, что я называл. А то, что я называл и умел называть, от этих животворных веяний окончательно съежилось и стало держаться в сознании, как засохший цветочный венчик на ягодах крыжовника.

Это было томительное висенье между знанием, которое есть, но не нужно, и знанием нужным, которого нет: ведь несказанные прикосновения к источнику истины не могли оцениваться как знание, и с ними, по их оторванности, делать было нечего. Правда, они подавали смутную надежду на возможность знания; но это была именно надежда, которую подтвердить я не мог бы и самому себе. Но самочувствие мое уже выправлялось на бодрое: еще не было ясно, что можно построить свою мысль и тем менее – как ее строить, однако внутренняя уверенность уже твердила об этой возможности, и томление по мысли было деятельным и боевым.

Мне была ясною необходимость строить мысль, и толстовская аморфность представлялась смазыванием собственным рукавом только что набросанного рисунка. Однако даже приблизительно я не мог себе представить, по какому направлению должна вестись работа и откуда начинать ее; все же наличное мне известное казалось не имеющим никакого отношения к этой работе.

Между тем решение пришло, откуда его не ждал. Источником же его стал тот скепсис в отношении человеческих учений и убеждений, которым был проникнут мой отец и который был впитан с детства мною.

«Истина – жизнь, – много раз в день говорил себе я. – Без истины жить нельзя. Без истины **нет** человеческого существования». Это было ясно до ослепительности; но на этих и подобных утверждениях мысль останавливалась, натыкаясь каждый раз на какое-то непреодолимое препятствие.

В какой-то из дней вдруг, сам собою, задался во мне вопрос: **«А** как же **они?» И** этим вопросом стена была пробита. «Как же они, как все, кто сейчас существует на свете, кто жил до меня? Они, крестьяне, дикари, мои предки, вообще все человечество – неужели были и суть **без** истины? Осмелюсь ли я сказать, что все люди не имели и не имеют истины и, стало быть, не живы и даже не люди?»

Дополнения

Из первоначальных замыслов и планов

ВОЗРАСТЫ

I. До Батума: мистика повседневная.

II. Батум: природа.

III. Тифлис до окончания] гимназии: наука.

IV. Окончание гимназии: кризис.

V. Университет: открытие человека как начала познавательного.

VI. Конец У[ниверсите]та: кризис: открытие религии.

VII. Профессура: кризис фарисейства: открытие рода.

ДЛЯ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

1918.111.27. Серг[иев] Пос[ад]

1) Смерть папы моего.

2) Смерть тети Юли.

3) Батум: Сандро-туннели. Саженный снег – туннели. Приезд тети Сони из заграницы. Музыка тети Сони. Пристань. Бульвар. Море («зовущий запах и ритм прибоя»). Буря. Городской сад. Последний полудевичий костюм мой. Букет мамы. Удочки. Лягушка. Буря морская. Рыба-игла. Чилим. Палочки. Камешки. Вопрос

о пене морской. Медузы. Моль. Флорины. Червоточины. Няня София Романова. «Бука».

4) Уроки: Дом Орловских. Коля. Учительница французского] языка. Нерсес. Лакомство. Пожар дома. Рисование мое. Папа, занятия с ним. Кровь.

5) [1] Религиозные воззрения и религиозный характер моих родителей. 5) [2] Крестины детей. Бегство к Пассекам. Знакомство с богословием.

6) «Просфора».

7) [1] Евангелие тети Юли.

7)[2] Суеверия. Примеры. 4-хлистный клевер.

8) Изобилие. Крыштафовичи. Поездка тети Сони. Мифы о силе растительности. Позднейший бред папы во время болезни (игра): Чердаки, закоулки… Машина, <….>. Болт в голове; лихорадка; страшные сны (сон о матери тонущей).

9) Бесо, смерть его.

10) Учителя мои.

11) Чтение; особенно лето в Хапагяе. Шекспир. «Сон в лет[нюю] ночь». «Буря». «Фауст» Гёте; Вальтер Скотт. Потом – Жюль Верн.

12) Детская моя любовь к животным и растениям; культ цветов (и цвета); пантеизм. Поездки в Аджарисцхали и по Батумо-Ахалкац-кой дороге, до Хуло. Жизнь природы. Ветер. Ветви. Колибри (см. 15, 18).

13) Новомейские: Северин Феликсович и Мария Сергеевна, «Феля» и Ева (Феликс).

Приезд Государя Александра III.

14) Венецианская лавочка; креветки в гостиной] «Франция», подарки. Моя кукла и Люсина кровать. Страстность моих стремлений – **весь** я в желании и в ожидании.

15) Книга Висковатого о растениях (см. 13). (См. 13, 15).

16) Увлечение моряками; «Моряк Шарло»; игры в путешествия (ящик из-под цемента). Живость воображения – игра более, чем игра.

17) Фейерверк, стремление к нему – звездочки, искорки.

18) Духи и запахи (см. 13, 15).

19) Я – «девочка»; первый мой полумальчий костюм «охотничий» как переход к мальчьему.

20) Поездки в Тифлис. С папой в гостинице при свете. Эйфелева башня и «клубника». – Другая поездка. Я заболел ветр[яной] оспой. Поход на Давидовскую гору. Мое недоумение, можно ли простудиться с холода на тепло. Орлиное перо.

21) Дни имянин и рождений.

22) Мое отношение к нарушению слова старшими («<…>» – тетя Юля).

23) Интерес к фокусам как явлениям таинственным. Роб[ерт] Ленц.

24) Влечение к театру как виду магии. Чтение афиш.

25) Отношение к родителям в раннейшем детстве.

РАННЕЕ ДЕТСТВО

1) Вид папы.

2) Пение мамы.

3) Тень.

4) Тетя.

5) Как я катился в реку и что из этого вышло.

Что я любил и чего **не любил:** грубость без

<…>, резкость, слишком б[олыная] впечатлительность], ее резкость. Мягкие переливающиеся полутоны, скользящее. Боязнь мужчин – их грубости. Тифлис. Поражающая меня молния.

В главу о папин[ых] <…> вставить о комарах: «Папе видны комары».

Гр<убые> черты, <зловещие>. Стаховский. В Словаре найти «Стаховский».

Поездка к Лизе тете 1-я и 2-я.

Французский язык.

<…> глосс[алогия].

<…>: рассказы тети о детстве. Рассказы папы

о детстве. Сказки. Фокусы. Цит[ата] из Гоф[мана]. Черт[и]. Тетр[адь] № 97.

<…> Леман. Цит[ата] об <…>. Эхо. Факт. Фокус – почти чудо. Тень. Выход. Наука. Театр. Ручьи. Колебание ветвей. <…> Первые научные опыты. Спир[итизм]. Рум<…>. Купорос («яд – Янкель»). Фейерверки <…>. 1) <…> Маги. 2) <…> Театр. Переодевания. Преображения. 3) Электрический свет, как «павлиний хвост». Цари, ф[еи], цветы… Тетя Юля. Мария Серг[еевна] Новомейская. Колибри. <…> фей. Тетя Соня. Колебания ветвей. Цветы, ручьи. Мертвецы. Страхи. Асбверисен. Кот Мурлыка. <…> гонец и страшная месть. Религия. Богословие. Евангелие.

Догм[ат] Троицы. Богохульства.

Глоссалогия: Помпея, Геркуланум. Любовь к словам. Стихи. Поэзия.

Книга первая «Моряк Шарло». «Проводы друга». Вальтер Скотт «Людовик XIV».

Пресс и отпечатки разные.

Форма как сущность.

Рождение братцев. Я ничего не думал.

Занятия. Первые уроки. Рассеянность. Непригодность к <…>.

Поездка. Аджарисцхали. «Моя точка». Ветер. Ветви.

Отношение к людям.

Пение; музыка.

1) Фейерверк – звездочка.

2) <…>

3) Духи.

4) Цветы (и цвет).

5) Игры в путешествия <…>.

Чилим. Палки. <…> Моряки. Моряк Шар-ло. Червоточины. Бука. Венецианская лавочка. Креветки. Книга Висковатого. Ботанический сад. Я – девочка.

АВТОБИОГРАФИЯ

1) Интерес к чердакам, погребам, подпольям, закоулкам.

2) Кончина тети Юли.

3) Первый эксперимент с <…>.

I

Мой интерес к червоточинам, отверстиям – интерес к пещерам. Не есть ли это интерес к утробе, к матери? Бабочки.

II

Первоначальные воспоминания теряются в [смутных], но определенных ощущениях крови, близости с **Родителями,** теплоты родительской, где я не отделяю себя – от них и я в них.

АВТОБИОГРАФИЯ

1) Мой интерес к кружевам не <…>.

2) У тети – черные и проч.

3) Мое желание лететь и уверенность, что вот-вот полечу.

Полеты с зонтом, махание руками – почти лечу.

1) Моя финиковая пальма.

2) Большая финиковая пальма – от Пассеков.

3) <…> медведи.

4) Марганцевая черная гора, 36 стр. (?), см. 35 об.

5) С. 40 – о минералах поправить – расширить и дополнить чувства.

6) 40 об. наука (потеря направления).

7) О сне: «<…> рая».

8) Об аджарцах справиться и дополнить.

9) Тарантулы в Аджарисцхали.

10) Рождественская роза – зеленая. <…>

11) Крабы в Аджарисцхали, форель.

12) «Наталка-Полтавка». Тифлис. Театр.

13) Направления [?].

14) Апатиты [?]. <…>

15) Рисование цветов.

16) Моя фамилия.

ЦВЕТЫ

1) Наперстянка.

Шпажник (королевск[ая] шпора). Бересклет.

Вороний глаз.

Аконит.

Дур[иан].

Белена.
Пастушья сумка.
Львиная пасть.
Гвоздики.
Папоротники.
Мхи.
2) В Батуме (на прогулках).
Пассифлора.
Евкалипты («И у нас евкалипт» – вверх в начало главы).
<…>
Пальмы.
Бананы.
3) Изобилие. Чаква. Хризостомы.

1) Подснежники Palanthus novalis. Трицветный лист.
2) Meuscari (Peri Hyatinthe).
3) <…> – Scilla amiene.
4) Барвинок Vinca minor.
5) Олеандр Nerium oleander.
6) Примулы.
7) Рододендроны и азалии.
8) Ирисы.
Nies <…> – Helliborius viridos.

ОСОБЕННОЕ

Детство. Таинствен[ный] красн[ый] свет при закрывай[ии] глаз и красн[ый] цвет пальцев на свет.

Игрушки. Куклы. Портные. Шитье.

В ТИФЛИСЕ

1) Болезнь тети Юли; смерть ее. Минералогический] ящик. Микроскоп Лейнца. Уроки у Худадова, латинским – занимался Михайлов [ский].

2) Испуг.

3) Болезнь Люси и молитва к Николаю Чудотворцу].

Поступление в гимназию. Кипиани Вахтанг. Вл. Френ. А[лексан]др Ельчанинов. М. Асатиани. А[лексан]др Кизебов [?]. Вл. Эрн. Яков и Моисей Розенштейны.

К главе I «Раннее детство»

1

Мамина семья в сам[ом] ран[нем] ее детстве жила в Сигнахе, за 100 в[ерст] от Тифлиса. Переехали в Тифлис, когда маме было менее 5-ти лет. Мама не помнит, как это было, а сигнахский дом помнит очень смутно.

2

Мама поехала в Петербург в 1878 или в 1879 г. Ехала от Владикавказа по ж[елезной] д[ороге].

Лекции слушала на частных курсах естественного] характера. Немного занималась еще в Медицинской Академии анатомией. Все это было случайно, без системы, все эти занятия. Слушала немножко Сеченова и др[угих]. Училась и рисованию у Штиглица.

Вышла замуж 20-го августа 1880 года.

Папа кончил институт в тот же год, в 1880-м году.

3

Отсюда поехал папа в Евлах. Потом мама, не скоро, поехала прямо в Евлах. Туда приезжала Лиза тетя погостить. Ее имение «Карачинар» недалеко от Евлаха. Отца Сергея дяди звали Теймураз Фридонович. Тогда он был еще жив. Он был под конец жизни культурнее Сергея дяди, интересовался политикой. Он был военным, полковник в отставке, держал себя с достоинством.

4

В Евлахе мы прожили года 11/2. Одну зиму, лето и еще зиму. Я уехал оттуда, когда мне было лишь неск[олько] месяцев. С Лизой тетей приезжала и Ремсо тетя, ей было лет 17.

В Евлахе мы жили в специально для нас выстроен [ном] бараке, деревян[ном], внутри обитом войлоком. Барак был из трех комнаток и отдельная постройка – кухня.

Юля тетя приехала в том же 80-м году, в конце или в начале, в январе 81-го.

О МУГАНСКОЙ СТЕПИ

См. на стр. 313–316 в книге: Путешествие по Дагестану и Закавказью И. Березина. Казань, 1849.

Еще там же стр. 126–132.

Стр. **126 –** 0 назван **[ии] Кура.**

Стр. **130** – о названии **Муган.**

Сенковский. Собр[ание] соч[инений]. Т. IV, стр. 509–510.

Фессалия, Пинские болота древлян <?>, **Му-ганская** степь за Кавказом славятся множеством змей, муравьев и колдунов.

(«Одиссея» и ее перевод)

Серашевский.
Евлахович.
Дьяченко.

К автобиографии моей:
знаменательная этимология слова Евлах (EG…)

К главе II «Пристань и бульвар (Батум)»

1916.III. 18.

В раннем-раннем детстве я сочинял стихи с Соней Андросовой. Помню, была у меня тетрадь для стихов. Часть стихов моих потом вошла в № […] нашего журнала, который создавали мы с Сатаровыми. Вот кое-что из стихов, что осталось у меня в памяти.

1) Пещера есть одна над морем,
Царица фей в ней всех живет,
Не посещаемая горем,
Целый день она поет.
Раз на берегу она сидела,
На море синее глядела,
Море вдруг заколыхалось,
Море сильно волновалось.

Дальше не помню. Было что-то романтическое:

И на поверхности его
Живое тело очутилось.

Тогда:

Царица фей
Бросилася в море…

И т. д.

Или вот еще:

2) Мой друг спросил меня однажды,
Не знаю ли я,
Где живет девица,
Шемаханская царица…

Дальше не помню.
Или еще, каким мы дразнили Люсю и Ваню Андросова:

3) Люся, Ваня, кошка, кот
обвенчались в день же тот
и на свадьбе пировали,
лишь усы все потеряли,
и на том же пиру
куклы съели всю свинью.

Дальше не помню.

Мое **любимое:** зеленоватые листья; огни в сумерках – особ[енно].

К главе III «Природа»

1918.IV.6 Серг[иев] Пос[ад]. Ночь

КОЛИБРИ

Все экзотическое влекло меня с тех <пор>, как помню себя. Маленькое, изящное, благовонное, колоритное, пропорциональное – не просто нравилось мне, а почти мучительно волновало, вызывая влечение страстное, всепоглощающее, проходящее сквозь все существо: сердце билось – быстро-быстро при одной мысли о подобном, я себя не помнил. Никогда не умел я быть увлеченным, заинтересованным; нет, всею душою я всасывался в то, что меня заняло, почти до экстаза, до самозабвения. Или полное равнодушие, незамечание, полная холодность – или всепоглощающая страсть, взасос, насквозь, огненно меня охватывавшая. Эмоций я почти не знал, ибо в душе моей внезапно вспыхивал эрос. Я, Павел-Савел, т. е. Эрос, всегда был эротиком.

Предметом эроса были птицы, маленькие в частности, и в особенности, как птицы, по преимуществу – колибри. И слово и вид колибри меня приводили в дрожание восторга. Увидеть на дамской шляпе колибри мне казалось верхом счастья, волнуясь и холодея, смотрел я на птицу-муху.

О колибри я старался выспросить, что могли мне сказать. Знал названия их разновидностей, и среди них «эльф» с хохолком казался мне прекраснейшим на свете созданием, таинственным, неядущим, близким к эльфам-духам существом. В душе я почти молился ему – во всяком случае, боготворил. И предельной мечтой моих желаний было видеть колибри у себя в доме, на шляпе у тети Юли или мамы, близко к себе, гладить иногда и целовать. Долго мечтал я. Вдруг как-то раз тетя Юля объявляет мне, что она делает себе новую шляпу и, чтобы доставить мне удовольствие, прикрепит к ней колибри. Радости моей не было конца, нетерпения же – тем более.

Вот в одно «после обеда» тетя Юля зовет меня в магазин – если не ошибаюсь, Богдасарова, это было в Батуме, где-то возле аптекарского магазина Триандопуло – выбирать на шляпу колибри.

Пошли. Было уже сумеречно. Колибри выбрали, я выбрал самую маленькую и самую изящно-блестящую птичку (она стоила дорого, но, видя мои умоляющие глаза, тетя решила взять ее) и не смел дышать от радости, не смел дышать – от боязни испортить ее. Птичка была завернута в белую папиросную бумагу,

и тетя хотела взять ее себе, чтобы я не смял как-нибудь. Но я не решался доверить драгоценность даже тете Юле и обещал, что не сомну. Тогда в магазине мне показали, как надо взять пакетик – за верхний край, но не весь в руку. Пошли. Крепко-прекрепко сжимал я верхний край. На улице темнело. Проходим полдороги к дому, тетя спрашивает, не смял ли я колибри. Показываю ей пакетик. И видим ужас: нижний край развернулся, и птичка выскочила по дороге.

Замер от отчаяния и смущения. Пошли обратно, смотря под ноги, оглядывая весь тротуар, но птичка не находилась. Так и не нашли колибри. С холодом свершившегося непоправимого вернулись домой. Тетя была огорчена не менее моего, кажется, но, видя мое глубокое горе, не только не попрекала меня, но, напротив, утешала. Однако на новую покупку уж не было средств, и шляпа так и осталась без колибри.

Что мне нравилось в колибри (вставить).

Шляпа Орловской. Альбом колибри.

Мать моя пела:

Шуберт: 1) «Лесн[ой] царь».
2) Серенада «И песнь моя летит с
мольбою».
3) «Форель».
Глинка: «Я помню чудное мгновенье».
Еще чье-то: «О Матерь Святая,
возьми Ты меня,
все счастье земное
изведала я».

Мое впечатление синтетическое:

Отец – доброта, внимание, защита <…>.

Мать – величие, недоступность, сидит в своей комнате с маленьк[ими], как царица в улье. К ней нельзя то потому, то по другому – кормит, одевает и т. д. Я ее почти не вижу, но слышу ее чистый голос: она поет, и дом наполнен свежими звуками ее пения. Она сдержанна, умышленно холодновата, даже не любит, когда мы часто лезем целоваться. Но в болезнь нашу изливается ее любовь и жалость, тогда она не сдерживает себя и ласкает гораздо горячее и папы, и тети.

Тетя – ласкова, внимательна, всегда доступна, св[оя], детская, психология, всегда свой брат.

К главе IV «Религия»

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С «БОГОСЛОВИЕМ»

1916.X. 17. Ночь

В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем я не говорил на темы религиозные, я не знал даже, как креститься. Втайне я этим всем очень интересовался. Я чувствовал, что есть целая область жизни, интересная, таинственная, охраняющая от страха. Но я не знал ее и не смел спросить о ней. Я не смел спросить о ней, приблизительно так же, как не смеет девушка спросить родителей о брачных отношениях. Но я украдкою подглядывал, что мог, и тайком старался применить свои наблюдения, опять-таки, как мог. Я видел, что люди как-то крестятся; но я не успевал подметить, или точнее, не смел «бесстыдно» вглядываться, крестятся ли одним пальцем, двумя, тремя или пятью и сжатыми в одну точку. Я колебался между двумя и пятью, тайком крестился на ночь, то так, то этак – крестился, натянув па голову одеяло и в почти темной спальне. Когда в Боржоме я шел по улицам – к Андросовым, я крестился, боясь собак, и, снимая шапку, я взывал к Господу, Которого не знал, и мое детское сердце было полно страха, тоски и надежды на чудесную помощь. И в душе я тогда уже отлично знал, что Господь слышит меня и не оставит меня. Однажды тетя Юля предложила мне дать почитать свое Евангелие. Она достала из комода Св[ятую] Книгу. Но вид маленькой черненькой книжки испугал меня, и я, с еле удерживаемым желанием взять книгу из ее рук, отказался. Мне казалось, что взять ее и стыдно – мучительно стыдно – и страшно. Тетя ушла, оставив комод открытым. Я моментально подбежал к комоду, достал Евангелие и прочитал несколько стихов Ев[ангелия] от Матф[ея]. Родословие мне показалось до того странным, что, когда тетя пришла, я, с натянутым смехом и испугом, стал ей говорить о прочитанном. Но тон мой показался ей несоответствующим предмету, и она взяла у меня Ев[ангелие] с замечанием, что читать – так читать как следует, а мне, видно, рано.

Но время шло, я не знал ни одной молитвы, не видал в глаза Св[ятое] Евангелие и никогда не причащался, – мало того, не знал, что причащаются. Между тем мне минуло 7 лет. Приближалось поступление в гимназию. Моя отдаленность от Церкви могла бы вызвать и неприятности. А м[ожет] б[ыть], родители и устыдились держать меня в таком отдалении, тем

более, что пыл юношеского отрицания Церкви уже прошел. Как бы то ни было, но решено было меня сколько-нибудь подготовить к исповеди или, точнее, к возможному экзамену на исповеди и причастию. За это дело взялась тетя Юля; кажется, она же и настояла на необходимости сделать все это. И вот, помню, одно утро она подзывает меня к себе, когда мы были одни с ней в комнате, и сообщает, стараясь сначала подойти издалека, состоявшееся решение о занятиях со мною законом Божиим, а потом – и о причащении. Весть эта ошеломила меня. Я не знаю, был ли я более – рад или испуган; вероятно, последнее. Но заинтересован я был до крайности. Приблизительно с неделю или две учили мы с нею первые молитвы, заповеди, затем стали ходить в церковь – (это было в Батуме) – в Вел[иком] Посту. Наконец – причастились с нею. Помню, была давка, множество народа… Впервые покушал я просфору. До того раз, впрочем, мы с папой шли мимо церкви и встретились с местн[ым] священником. Папа с ним остановился поговорить, а батюшка из кармана дал мне 2 служебные просфоры. Я боялся взять их. Тогда папа взял, принес домой, но я не смел их <…> и они <…>.

ПРЕГРЕШЕНИЯ И НЕЛОВКОСТИ

1921. VIII. 7. Серг[иев] Пос[ад]

Некоторые детские прегрешения, м[ожет] б[ыть], движения злой воли, грубости моей, врезались особенно в сознание, равно как первые неловкости. Позднейшие грехи, по внешности гораздо более значительные, не так сохранились в моей памяти, а то и вовсе исчезли из памяти, а эти – не только помнятся, но и до сих пор жгут мою совесть, и с тоскою взываю я ко Господу, ища очищения их. Несколько случаев:

«Жидовка» – на кв[артире] Айвазовых.

«Пряники» – у Андросовых (осуждал в присутствии подаривших эти пряники детей и смеялся над ними – преступная неделикатность).

Столкнул с лестницы Васеньку – своего двоюродн[ого] братца, бедного сиротку, и без того загнанного, когда мать лежала полумертвая в туберкулезе, – мы водили игры, тут я в азарте и обнаглел. А потом, видя мрачное осуждение папы, воспользовался случаем – <…> старш <…> и стал плакать и капризничать…

Обижал Люсю – в этом как-то мало каюсь.

Вильям Фрей (Владимир Константинович Гейнс, 1834; ~ 1868; f 5 ноября 1888 г. н. ст. в Лондоне).

О нем:

Н. В. Рейнгардт. Необыкновенная личность. Казань, 1889.

М. Гершензон. Русские Пропилеи. М., 1915. Изд. М. и С. Сабашниковых. Т. 1 (ц. 3 р. 50 к.), XI, стр. 276–362: «Вильям Фрей». На стр. 278 библиография.

А. И. Фаресов. Семидесятники. СПб., 1905, стр. 304–323.

К главе V «Особенное»

1916.X. 15

Все особенное, необыкновенное, таинственное, мне неведомое приковывало мою мысль и, вернее, мое воображение. Цари и царицы, а в особенности царевны, «принцессы» и «принцы» казались мне единственными людьми, достойными внимания. А еще более таинственными казались мне загадочные существа, о которых у нас в доме было не принято говорить, почитавшиеся как бы неприличными «глупостями», – это невесты. Смерть и траур, опять-таки не допускавшиеся к обсуждению, влекли к себе. Соединение же всех этих таинственностей в одном лице казалось верхом изысканности, интересности и пленительности. Это был любимый сюжет моего искусства – принцесса-невеста, читающая письмо о смерти своего жениха. Я постоянно рисовал ее, с короной и фатой, с траурным письмом в руках. По щекам ее катились слезы не мельче голубиного яйца или волошского ореха…

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КАВКАЗСКОГО МУЗЕЯ

1916.XII.6 — 7. *Ночь. Серг[иев] Пос[ад]*

Сильно врезалось в мою память первое посещение Кавказского музея, хотя я не могу припомнить в точности, сколько лет было мне тогда. Кажется, что детей до 7-ми лет туда не пускают, – так гласит объявление. А мне тогда было именно столько лет, что не хватало, кажется, более года до 7-ми. Мне ясно помнится, как сторож при входе сопротивлялся пропуску меня, и лишь уговоры его и, вероятно, «на чай» сделали его более сговорчивым. Хорошо помню я также, что со мною была тетя Юля и еще кто-то, но кто, не могу вспомнить; вероятно, тетя

Лиза. Помню и то, что прошли мы в Музей в одну из поездок в Тифлис из Батума.

К главе VI «Наука»

1917.11.27

МАТЕРИАЛЫ К МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Мои учителя:

1) Сперва занимался с Юлей тетей и с мамой. Трудности занятий с мамой.

2) Потом – в Хапагяе – с Маргаритой, главным образом французским яз[ыком] по учебнику Марго.

3) Потом инспектор Батумского народного (4-х классного) училища **Воробьев.** Он со мною, кроме обычных предметов, занимался **ботаникой.** Писал я при нем описания своих поездок.

4) Потом, когда я занимался с Колей Орловым, в кв[артире] Орловских в инженерном доме, нас учил **Бурлюк,** акцизный чиновник. Mademoiselle – гувернантка Орловских. Сын Бурлюка – рисовал. Потом Бурлюк был переведен в Баку – тут процветало рисование.

Бурлюк был женат 2-й раз, и было два выводка детей. Семья была какая-то заброшенная, дегенеративная. Отец пил, пили, кажется, и сыновья. Один из них был моим товарищем – длинный, нескладный, лицо красное, в веснушках. Он жил своим миром, учился плохо. Был по-гимназически неразвит. Мне думается, что нашумевшие Бурлюки – футуристы – та самая семья, а Давид Д. Бурлюк – мой товарищ.

4') Два брата Михайловские. Под их руководством занимался я с Володей Худадовым, а иногда к нам присоединялся Вахтанг Кипиани.

5) В Тифлисе я занимался с **Барсуковым** (Андрей Николаевич]? Родственник] Семенниковых, двоюродн[ые] братья). Семенникова (Варвара Николаевна), родственница профессора] Миллера в Москве.

Он был реалист, потом учился в Технологическом. Со мною предпринимал, по просьбе папы, длинные прогулки и занимался **геологией и минералогией.** От него я впервые услыхал об истинах веры – убежденные и твердые ответы. Особенно поразил он меня рассказом о благодатном Иерусалимском огне.

Барсукову я многим обязан. Помню, как сейчас, его спокойствие, его выдержку и простоту, его редкую бородку и некоторую неуклюжесть в манерах.

Барсуков был родственником Семенниковых.

6) Но Барсуков реалист, он не знал латинского языка. Поэтому учил меня латинскому гимназист Михайловский, сперва

один брат, а потом другой, родственники Барсукова. Я ходил заниматься латинским вместе с Володей Худадовым.

Смерть тети, тетя Юля f 1894 г. мая 20.

7) **Лункевич** Владимир Валерианович, довольно известный популяризатор естествознания, полунемец, полуармянин. Он познакомил меня с химией. Ему принадлежит, между прочим, «Наука о жизни. Общедоступная физиология человека». Изд. Ф. Павленкова (220 стр. с 91 рис.), ц. 1 р. 1894, о которой было много одобрительных отзывов, напр[имер] в «Научн-[ом] обозр[ении]», 1894, № 6, столб. 187–188. – Во время уроков со мною Лункевичу было предложено Павленковым заняться составлением популярной биологии. Тогда он отказался от уроков и уехал в Петербург, если не ошибаюсь. Но «Популярная биология» вышла менее удачной, чем «Физиология», и в ней найдены были важные ошибки. – Потом Лункевич уехал за границу, в Париж и еще где-то занимался биологией, возился с эмигрантами. По приезде в Тифлис я был однажды у него с В. Худ адовым и видел на полке всего Ренана по-французски]; Лункевич дал мне «Vie de Jesus», и я частями проглядел эту книгу, но доволен ею отнюдь не остался. Это было в период моего увлечения сочинениями Толстого.

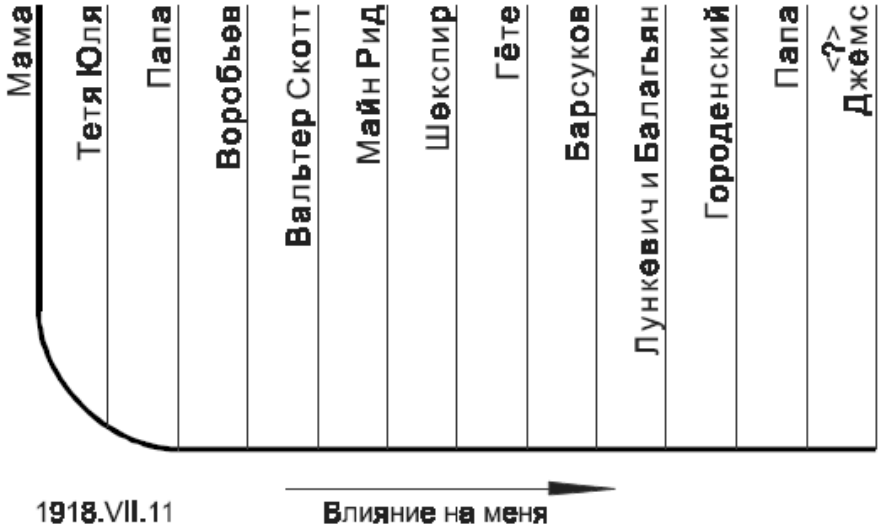
8) **Бала(у?)гьян** Самуил Агаевич, учитель в Сельскохозяйственной школе, армянин. Очень добрый, мягкий. Он учил меня, кроме предметов обязательных, химии. О нем я сохранил самые хорошие воспоминания. Посещал его на дому и после, он был какой-то вялый, больной, что ли.

9) Михаил Николаевич **Городенский** – он репетировал меня, когда я поступил в гимназию и сразу получил 2 переэкзаменовки. Лето в Коджорах. Поездка в Армению. Экскурсии. **Физика.**

Валя бегала за Мих[аилом] Никол[аевичем] Городенским и требовала: **«Учитель, застегните панталоны».**

МОИ УЧИТЕЛЯ

1) Воробьев.
2) Бурлюк.
3) Барсуков.
4) Самуил Агаевич Балагьян.
5) Городенский.
6) Лункевич В.



ЛЕТО 1892-го ГОДА

Лето 189[2]-го года я провел в имении тети Лизы, или, точнее, ее мужа Сергея Теймуразовича Мелик-Беглярова, которого мы звали Сергей дядя или даже Сергейдядя – в одно слово. Находится это имение в Джеванширском у[езде] Елизавета[ольской] губернии и представляет собою обширную равнину по правому берегу реки Инчй, окаймленную сходящимися гребнями невысоких гор. Почти в самом углу этого имения, на возвышенности, построен был владельцем имения – Сергеем дядею – дом, обнесенный каменной, почти замковой стеной с башенками по углам и наглухо запиравшимися воротами. Впрочем, все это было необходимо, равно как и злые собаки, для ограждения себя и безопасности от татар. Будущее (я разумею 1905 г[од]) показало, что все эти полувоенные сооружения оказались весьма полезными. Самый дом и стены строились по плану моего отца. Но когда мы жили там, он не был доступен. Сад. Водоем. Канава. Огород. Двор. Собаки. Мои хождения. Сад – яблоки. Холера. Угощение. Саперы. Мои занятия. Маргарита. Рускер Сергея дяди.

<…>

Семья Флоренских уехала из Батуми в Тбилиси в 1893—5 гг. по поводу назначения начальником Кавказского округа путей сообщения – главный инженер Кавказа.

1) Папин товарищ Станислав **Стаховский,** художник, и брат его химик в Шелководческом стане в Муштабе [?].

2) Мой товарищ Розенфельд (Каменев), известный впоследствии большевик.

Товарищ мой

Сережа (Сергей Николаевич) **Френ.** Брат его Володя, старше его (Владимир Николаевич]). Френ – инженер-техник, служил на Казанском вокзале в Москве. Он был внуком академика Френа.

К главе VII «Обвал»

ПИСЬМО И А. ФЛОРЕНСКОГО Л. К ТОЛСТОМУ

№ 21.18/X 99. Тифл[ис]. Л. Н. Толстому

Лев Николаевич! Я прочел Ваши сочинения и пришел к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь. Я кончаю гимназию, и мне предстоит продолжение жизни на чужой счет; я думаю, что избегнуть этого можно только при исполнении Ваших советов; но, для того, чтобы применить их на практике, мне надо разрешить предварительно некоторые вопросы: можно ли пользоваться деньгами? Как добыть землю? Можно ли ее достать у правительства и каким образом? Каким образом удовлетворять умственные потребности? Откуда брать книги, журналы, если нельзя пользоваться деньгами или если физическим трудом можно только прокормиться? Может ли остаться время на умственный труд (самообразование)?

П. А. Флоренский.
Мой адрес

1916.X.4. Серг[иев] Пос[ад]

Вглядываюсь в себя и в свою жизнь. И я вижу, что не было у меня ни минуты, когда бы я чистосердечно и от души сказал, почувствовал или подумал: «отчасти», «отчасти так, отчасти этак». Но всегда было всецело «всецело так», или «всецело этак», или «всецело так и всецело этак, зараз». Слово «отчасти» я не понимал и не понимаю… Моя палитра внутренней жизни никогда не имела красок смешанных, а в особенности серых. Каждое душевное движение всегда бывало определенным. Но при этом в самой глубине души всегда же стояло ограничение, восполнение. И вот в самой страстной определенности, в самом одностороннем напоре у меня никогда не было страстности, потому что в глубине души делалась объективная оценка. Но эта-то объективность придавала душевному*

1916.X.4. Серг[иев] Пос[ад]

Вглядываюсь в свою жизнь – и вижу, что всегда я шел до конца и в*

КРИЗИС

1920. VII. 16

Пока перед глазами было много **исключений,** дышалось дов[ольно] свободно, ум волновался и кипел. Но по мере того как область законов ширилась в сознании – делалось душно, нечем становилось дышать. Спирало дыхание. Делалось скучно и тоскливо в бескр[айних] ледяных пространствах, охваченных одними и теми же законами. Меня давило единообразие законов природы, повсюдное одно и то же. Развивался сплин, <…>, а потому и <…>: ибо вся жизнь моя состояла в науке. Но это отнюдь не было собственно научн[ым] убеждением, а скорее эмоциональным состоянием подавленности, раздавленности общественным] внушением, общественной верою в однообразие природы. Каждый шаг в область научного мировосприятия обнаруживал необыкновенные явления, их делалось все больше. **Это** я отлично понимал. Но вместе с тем возрастало и давление, внушение, гипноз со стороны книг и окружающих, что все объяснимо. И я, думая на сам[ом] деле обратно, воспринял внушение, да, внушение. Постепенно укоренившись, оно стало теснить и томить мою душу. Но цепко вцепилось. Произошла борьба за любезную мне непонятность, кризис. Статья Карпентера… попала на уже вполне подготовленную почву. Сюда еще присоединилось влияние кантовского и миллевского феноменализма. Я не усвоил их с положительной] стороны, но воспользовался как средством полемики, чтобы скинуть ненавистное иго.

Примечания

ДЕТЯМ МОИМ. ВОСПОМИНАНИЯ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ.

«Воспоминанья прошлых дней» были написаны П. А. Флоренским в период между 1916 и 1926 гг. Работа представляет несомненный интерес, так как дает возможность проследить за формированием личности будущего ученого-философа. Однако при жизни Флоренского она не печаталась.

Текст публикуется по: *Флоренский Павел.* Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М.: Московский рабочий, 1992.

1. Природа творящая, созидающая *(лат.)* в отличие от natura naturata – природа творимая, созданная.

2. Струя, текущая по рукам, миновать как сможет Данаю? *(лат.)*

3. Клясться словами учителя *(лат.)*.

4. Стыдливость *(франц.)*.

5. «Надо дать ему стакан сладкой воды» *(франц.)*.

6. «Бедняга, он очень нервен» *(франц.)*.

7. Нежные цветы *(франц.)*.

8. «Тот, кто вне математики произносит слово «невозможно», не считается с благоразумием».

9. Полнота жизни *(лат.)*.

10. Холодная вежливость *(лат.)*.

11. Почитание предков *(лат.)*.

12. Благочестивый, праведный *(лат.)*.

13. Почитание детей *(лат.)*.

14. «Безверие будущего» или «Иррелигиозность будущего».

15. «Оставь его» *(франц.)*.

16. «Оставь ее» *(франц.)*.

17. Прафеномен *(нем.),* первоявление.

18. Извне, с внешней стороны *(лат.)*.

19. Чудотворчество *(греч.)*.

20. Аксиомы, или законы движения Ньютона *(лат.)*.

21. За и против *(лат.)*.

22. Волоокая *(греч.)*.

23. Людовик XVI *(франц.,* 1754–1793).

notes

Примечания

1

Если бы эти наброски, по переработке, были напечатаны, то их так и следуют озаглавить: «Детям моим». (Здесь и далее в сносках примеч. П. А. Флоренского, кроме оговоренных составителями.)

2

В Большой Энциклопедии, по Мейеру составленной, в т. 14, после стр. 228. табл. 1. помещен, кажется, тот самый рисунок оранг-утанга, с которого рисовал папа, но только он пририсовал сюда и туловище, сколько помню.